

Новый Журнал

70

THE NEW
REVIEW

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly (March, June, Sept., Dec.) 4 issue at New York, N. Y., for October 1, 1962.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was:

(This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issuance). 1160.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 17th day of September, 1962, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Commission Expires March 30, 1963.

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал



Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать первый год издания

КН. 70

НЬЮ ИОРК

1962

РЕДАКЦИЯ:

P. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

*NEW REVIEW, December 1962
Quarterly, No. 70
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price \$9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

<i>Из архива И. А. Бунина</i>	5
<i>Николай Моршен — Стихи</i>	7
<i>Вл. Корвин-Пиотровский — Стихи</i>	8
<i>Екатерина Таубер — Чужие</i>	9
<i>Иван Елагин — Семь стихотворений</i>	30
<i>Харрисон Солсбери — Дело Северной Пальмиры</i>	35
<i>Ирина Одоевцева — Стихи</i>	73
<i>Ольга Анстей — Три стихотворения</i>	76
<i>К. Н. Давыдов — Тетеревиный ток</i>	78
<i>Олег Ильинский — Пять стихотворений</i>	88
<i>Алексис Раннит — Рильке и славянское искусство</i>	92
<i>Вера Булич — Восемь стихотворений</i>	109
<i>Артур Адсон — Об эстонской прозе</i>	114
<i>М. Волин — Стихи</i>	126
<i>Владимир Варшавский — «Встречи» Федора Степуна</i>	127
<i>Стихи из СССР</i>	135
 ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>К. Вендзягольский — Савинков</i>	142
<i>А. Белобородов — Работа во дворце кн. Ф. Юсупова</i>	184
 ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Г. В. Вернадский — Усть-Цилемские рукописные сборники</i>	201
<i>П. А. Берлин — Русские мыслители и евреи</i>	223
 ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>Проф. С. Верховской — о. Василий Зеньковский</i>	271
<i>Милица Зернова — Г. Г. Кульман</i>	286
<i>Л. и Д. Ивановы — Вячеслав Иванов в Баку (письмо в редакцию)</i>	291
 УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ «Н. Ж.» от кн. 59-й до кн. 70-й	295

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.

ИЗ АРХИВА И. А. БУНИНА *

КОРЕННОЙ

Вечер на постоялом дворе, — страшные рассказы на нарах:

— Въехали они в этот лес, ночь их обуяла темная, лес черный... Доезжают до дуба косматого, а под ним — жар-птичье перо лежит, огнем переливается...

— Нет, это что — перо! — говорит другой. — Вот жил так-то кузнец на глухом столбовом пути и принесись к нему раз ночью тройка ямская... Лошади все в мыле, храпят, как львы, глаза ярые, ноздри раскалились, насквозь светятся... Соскочил молодец ямщик:

— «Куй коренного скорей, задние подковы сшиб!» Раздул кузнец мех, разжег струмент, хвать этого коренного за ногу, а нога-то человечья, голая, белая!

1930 г.

* Эти рукописи из архива И. А. Бунина присланы нам Л. Ф. Зуровым. РЕД.

Л Е В *

Масленица, уездный город. Гимназист первоклассник, — чистое, нежное отрочество, вся прелесть, вся телесная и душевная новизна его, ангельский цвет личика, как бы девичьего, красота той породы, когда еще нет различия полов; синие ангельские глаза, на все глядящие с вопросительным вниманием, неопределенность тихих мыслей и чувств; новенький синий картузик, новая шинелька хорошего серого сукна с серебряными пуговицами. И вот, в первый раз в жизни в зверинце, только вчера прибывшем в город, но уже успевшем там устроиться, точно он весь век существовал в городе, и так натопить железными печками свой громадный шатер с железными клетками и деревянными загородками, что горит лицо. Тропический жар и какая-то сказочно пьянящая вонь всех тех разнообразных тварей, что наполняли все эти клетки и загородки и так разно поражают то возней, визгом, криком, хрюканьем, то мрачным спокойствием, то зловещей сонливостью: обезьяны, попугай, морские свинки, муравьеды, утконосы, еноты, ремнисто-полосатые зебры, брезгливо прищуривающаяся черная пантера, мерзкая груда свившегося в толстые глянцевитые кольца удава, качающийся, волшебно страшный своей чернобурой массой медведь... И самое страшное и самое грозное: грязно желтый с выцветшей гривой, особенно мощный в поднятых плечах, мягко шагающий по клетке и гибко поводящий тугим, голым хвостом с маxром на конце, лев. Замирая, подошел к железным прутьям — и вдруг он, гася глаза, всей утробой вытолкнул вонючий дых и весь зверинец потряс тяжким раскатом рыка... Смолк и опять вытолкнул, точно его рвало, тощнило...

* Рассказ «Лев» написан И. А. Буниным в тридцатых годах. В 1930 году Иван Алексеевич показал мне парижский зверинец. Мы видели обезьян, муравьедов, утконосов, черную пантеру, удава, чернобурого качающегося медведя и старого льва, который оглушил нас своим рыком ...

Л. Зуров

НОЧЬ НА ВЗМОРЬЕ

Развивается цепь соразмерных причин,
Увлеченных единою целью.

Блещет небо всей мощью подвижных пучин,
Ворожа над морской колыбелью.

Отразилась луна на приливной волне,
Порожденной ее притяженьем,
Хоть не знает вода ничего о луне,
Ни луна о своем отраженье.

И волна за волной, и звезда за звездой
Набухают в просторах вселенной,
И в латунные дюны швыряет прибой
Залпы грохота, соли и пены.

Этой звездносоленою смесью дыша
И колебля пытливое пламя,
Вдаль уходит, уходит, уходит душа,
Как свеча меж двумя зеркалами.

Николай Моршен

**
*

A. Г. Воронцовой-Дашковой

Все реже всплески водяные
И скрип уключины сухой,
Лишь осень в заводе глухой
Полощет пальцы ледяные.

Двоится эхо над рекой —
Протяжный голос повторений,
Ряд музыкальных ударений
Еще не связанных строкой.

И в небе мертвое крыло,
Как некий образ стихотворный,
Роняет капли крови черной
На замедленное весло, —

И над пустынным островком
(пример падений иль парений)
Колеблемые ветерком
Летят обрывки оперений
В таком безмолвии, в таком, —

Весь мир заполнен тишиной
И шорохом и сожаленьем,
Души тревожным изумленьем,
И высотой, и глубиной.

Вл. Корвин-Пиотровский

Ч У Ж И Е

*Меняются названья городов
И больше нет свидетелей событий
И нас никто не знает — мы чужие!*

Анна Ахматова

I

— Последние русские старики хоронят своих мертвых, — подумал Юрий Владимирович Алчевский, входя в почти пустую церковь. Состарившийся (вместе со своим приходом) священник хочет еще служить бодро, но нет уже прежнего властного возгласа, да и плечи стали сгибаться под бременем — скольких напутствовал и погребал за эти годы.

Просторно, светло в церкви. Родные и близкие покойной княгини Поклонской стоят пристойно, безмолвно — не плачут: каждому свой черед, ждать им тоже осталось недолго. «Но страшно будет тому, кто последним придет в церковь проводить последнего близкого друга», — думает Юрий Владимирович, рассеянно слушая пение и всё возвращаясь мыслью к одному и тому же: угасает последний отблеск былой России, уходят те, которые еще видели, помнили... А там что? Непроницаемость? Молчание? Чужое? Или только кажется чужим?

И все присутствующие тоже думают о «своем», понуро, покорно.

Но вот, как вздох облегчения прошел по церкви. Запели: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», словно человек отряс от себя личное, себялюбивое и весь отдался потоку словесия.

А на дворе поздняя весна. Золотое кружево цветов у гроба напоминает те кружева, в которые когда-то на придворных

балах рядилась покойница. По дороге, мимо церкви, идут чужие люди иного века, иной страны. Они затолчат последние обломки великой катастрофы, даже не зная об этом.

Когда вынесли гроб из церкви и могильщики с непристойной неистовой торопливостью деловых людей втиснули его в черный автомобиль, в толпе провожающих зашевелились. Юрий Владимирович заметил скучные старческие слезы, да ту бережную нежность, с которой некоторые прощались с усопшей, словно боялись потревожить последний, еще тонкий сон, слишком бурными чувствами. Только покрасневшие скулы, только тихий почтительный говор. Он обменялся безмолвным рукопожатием со знакомыми, перекрестился и вышел за ограду.

К покойной Софье Борисовне Поклонской заходил он обычно к чаю. Ему открывала дверь быстрая старушка в сиром платьице, напоминавшем чудом уцелевшее платье институтской пепиньерки.

— А вот и мой молодой друг, — говорила она ему неизменно при встрече, радостно глядя на него снизу вверх и протягивая легкую ручку для поцелуя.

— Помилуйте, княгиня, какой же я молодой! Мне уже сорок. Это только ваше поколение не стареет.

Ему нравилось бывать у княгини. Жилище ее было хранилищем прошлого. Ошибиться было невозможно: здесь еще самовластно царила Россия. Она глядела с поблекших фотографий, дремала в вышитых подушках, утоляла жажду из тонкой фарфоровой чашки с золотым ободком. «Чашка татал», говорила Софья Борисовна, «сама не знаю, как уцелела! Пить из нее особенно приятно!»

Иногда к чаю приходил высокий сухощавый старик. Во время первой мировой войны он работал с княгиней в Красном Кресте, был ее подчиненным. В неизменном его внимании к ней — то он делал за нее покупки на базаре, то приносил пожелавшие русские книги из Церковной Библиотеки, то доставал откуда-то цветы, — чудилось Юрию Владимировичу нечто большее, чем только старая дружба. Ему было приятно

мысленно рисовать их давний роман, его трогало и восхищало, что они прощали друг другу свою старость, беспомощность, некрасивость. Вероятно, они всё еще видели себя молодыми и прекрасными в исчезнувшем мире и эти их общие неувядающие воспоминания были тем фоном, на котором они двигались, говорили, любили друг друга, не замечая, что всё это было только прошлое. И Юрий Владимирович, случайный свидетель этой призрачной жизни, порою думал, что они счастливее его неприкаянного поколения. Для них живо минувшее, они всё еще в его лоне, а сверстники Юрия Владимира-вича, лишенные былого, ограблены настоящим и вычеркнуты из будущего.

Поражало его и то, с какой благородной простотою и естественностью приняли эти люди бедность и непривычный труд, будто всю жизнь гуляли с чужими детьми или служили ночными сторожами на отдаленных виллах. Ни ропота, ни возмущения, ни уязвленной гордости. Было богатство, знатность, положение в обществе, и всё это прошло, и Бог с ним! Вечное же осталось. Радоваться ему можно и здесь, под чужим небом.

И он вспомнил, как Софья Борисовна, которую он однажды катал в своем автомобиле по Провансу, села так же легко и естественно, словно ей было семнадцать лет, в высокую майскую траву у дороги и стала разбирать цветы собранного ею полевого букета.

— Вот мятта, колокольчики, цикорий, ромашки, — говорила она восхищенно, перебирая цветы сухою маленькою ручкой. — Нет ничего прекраснее полевых цветов. И сколько их было в России!

Он шел, думая о княгине, стараясь, как можно ярче восстановить этот, уже навеки ускользающий образ и очутился у дома, где жили Звонникovy.

— Зайду, пожалуй. Давно у них не был. А там всегда толчая, встретишь людей, рассеешься.

Еще на лестнице услышал говор, смех и притворно каркасный, под французса, голос Николая Александровича Звон-

никовая. Дверь заперта не была и он, на правах «своего человека», вошел в тесную, заставленную шкафами, прихожую. Тамара Дмитриевна Звонникова пробегала из кухни в столовую с подносом, уставленным дешевыми апперитивами и чуть не уронила его от неожиданности. На ее торопливо раскрашенном, скуластом лице изобразилась радость. Полнеющая талия была крепко-накрепко перетянута широким кожаным кушаком.

— Куда же вы пропали, Юрий Владимирович? Тут у нас последнее время такие события, такой ералаш, — сказала она скороговоркой.

— Ералаш у вас, Тамара Дмитриевна, вещь привычная, — ответил он, улыбаясь, и поцеловал ее оттопыренный мизинец.

Его всегда забавляла ее праздничная праздность. Тамара была вечно полна фантастических планов как бы весело прожить, не работая, повеселиться на чужой счет, кутнуть, блеснуть, похорохориться. «Все работают, ну, и дураки, а я и без работы весело проживу», говорили ее смешливо-беззаботные глаза. И она всем доверчиво рассказывала о связи мужа с американкой. А когда приятельницы жаловались ей на измены мужей, она неизменно отвечала: «А ты поплюй!» и ее лукавые глаза смеялись.

В гостиной Юрий Владимирович увидел прежде всего залезанную, как бы покрытую черным блестящим лаком голову Звонникова, которая неизменно переносила его в детство к китайским лакированным коробочкам из папье-маше. «Что-то в нем действительно бумажное, смять и ничего не останется», подумал он рассеянно.

Николай Александрович как раз «бавардировал» — это было его выражение — с французско-русской четой Вьялей.

Юрий Владимирович давно знал Вьяля, смиренного пожилого француза, врача, врача, как месяц около солнца, вокруг своей предприимчивой русской жены, навек ослепленный ее красотой, знатностью и презрением к неизбранным.

— Здравствуйте, здравствуйте, — закричали ему Звонников и Лиза Вьяль. — Идите сюда скорее.

Но он подошел к старушке Елене Михайловне, матери Тамары, и целуя ее большую, загрубевшую от черной работы руку, неожиданно согрелся и отошел от мыслей о смерти. Ему нравилась ее крупная, коротко, почти по-мужски, остриженная голова, жесткие волосы, басок, определенность. Роговые очки делали ее слегка похожей на сову, глаза смотрели умно и твердо. Решительная повадка приводила зятя в отчаянье. В ней еще было что-то несгибающееся, крепкое.

Но его обычное место около кресла Елены Михайловны оказалось сегодня занято незнакомой молодой женщиной. Всё отличало ее от окружающих: сурово сдвинутые густые брови, простая, почти бедная одежда, а главное гордое, словно чем-то оскорбленное лицо.

— Кто эта самофракийская победа? — спросил он шутливо Звонникова, отведя его в сторону.

Тот поморщился.

— И не спрашивайте. Племянница моей благословенной тещи. Прибыла сюда на нашу голову из страны-сателлита или что-то в этом роде в отпуск. Не знаем, что с нею делать? Думали к хозяйству приспособить. Тамарочка так занята, так занята. («Все ночи напролет в бридж играет», — подумал, улыбаясь, Юрий Владимирович.) Но, увы. Ей, видите ли, хочется юг посмотреть, на солнце погреться. А сама по-французски ни слова. Нас с Тамарой или дома нет или гости. Некому с ней возиться. Давно хотели за вами послать. Сделайте милость, займитесь ею. Долго страдать не придется. Через неделю виза кончается.

— Идите сюда, Юра, — позвала его Елена Михайловна. — И познакомьтесь с Ольгой. Она здесь, как потерянная овечка.

Сравнение строгой, неулыбающейся и как бы отсутствующей в этом дешевом обществе женщины с «овечкой» было так смешно, что Юрий Владимирович расхохотался. Засмеялась и Ольга. И сказала с неожиданным упрямым озорством:

— И совсем не «овечка», а бывшая колхозница, отлич-

ница и всё прочее. Землю на волах пахала, в посевной бригаде была, с шахтами познакомилась, вагонетки возила, а как война кончилась, меня, как чужую, назад в славянскую страну, по мести рождания, вернули.

Думая, что она шутит и поддеваясь под ее насмешливово-вызывающий тон, Юрий Владимирович ответил:

— А я — летописец. Помните у Пушкина: «Еще одно последнее сказанье — И летопись окончена моя.»

— Ну, на Пимена вы мало похожи.

Он показал на свои седеющие виски. Улыбнулся.

Она осмотрела его внимательно, почти неучтиво.

Да, он непохож на людей, которых она встречала у Тамары. В глазах ум, грусть, сосредоточенность. Смуглые руки лежат неподвижно, даже как будто небрежно на коленях, но пожатие надежное, честное. Черный костюм, надетый по случаю похорон, кажется чопорным и выделяется среди общего разгульдайства.

— Перед тобой, Ольга, действительно литератор, — пояснила подошедшая Тамара. — Смотри внимательно на такого редкого, я чуть было по ошибке не сказала «зверя», и трепещи. Захочет и украдет нас с тобою в какой-нибудь расказ, да еще как украдет!

— Тамара Дмитриевна преувеличивает. Описывать своих знакомых неинтересно и хлопотливо. Да и занимаюсь я теперь главным образом переводами русских классиков на французский. Это моя посильная служба России, чтобы о ней не окончательно забыли. А в остальном свободен. Хожу, наблюдаю и прячу написанное. В этом я, действительно, отчасти летописец. Коплю для будущего. А вот, что касается вшего колхоза, то позвольте не поверить.

Что-то вдруг дрогнуло в суровом лице Ольги. И он понял, что сказала она правду. А она поняла, что он ей не только поверил, но и почувствовал это так, как никто еще не чувствовал.

— Так вы оттуда? — сказал он дрогнувшим голосом, вглядываясь в нее со всем жаром давно стосковавшегося и

всё же не примирившегося с разлукой человека. — Вы сами видели... Он не кончил фразы, не посмел спросить того, что уже много раз, с тех пор, как она переехала французскую границу, ее спрашивали равнодушные, недоверчивые и самодовольные люди.

И она ответила на безмолвный вопрос:

— Русские люди остались русскими людьми: последним поделятся.

И по облегченному вздоху, по благодарному долгому взгляду поняла, что не ошиблась: сказала то, что нужно сказать и тому, кому это, действительно нужно.

— И это говоришь ты, у которой большевики старика отца расстреляли и которую несколько лет продержали в колхозе? А еще вчера рассказывала, как на тебя заведующий орал: «Не вспашешь, проклятая девка, до вечера этой полосы, увидишь, что с тобой сделаю. А если вол сдохнет, не жить тебе больше на свете!» — возмущенно вмешалась Тамара и даже ее полная грудь заколыхалась от негодования.

— Ничего ты не понимаешь, — оборвала ее сухо Ольга.

— Одно дело начальство, да и оно разное бывало, есть и такое, что воровство голодных покрывало, а другое — те же девчата и парни, с которыми вместе на голой земле, на тулупах спали и куском хлеба делились. Впрочем, вам разве понять отсюда? — прибавила она вызывающе.

— Пренеприятная особа, — шепнула Юрию Владимировичу по-французски Лиза Вьяль, глядя в упор на Ольгу и даже не скрывая, что говорит о ней. — Не знаешь, с какого боку к ней подойти. Не успела приехать, как сразу же обиделась на Тамару и Николая Александровича. Видите ли, мы там так страдали! А мы тут не страдали? — спросила она, играя концами модного шарфа.

Юрий Владимирович ничего не ответил. Он уже давно привык никого не оспаривать. Знал по опыту: молчание — страшная сила. А ему именно хотелось сейчас заставить бывшую русскую, забывшую давно, что она русская, сжаться. Он смотрел на нее холодным, невидящим взглядом, смотрел

с оскорбительно-учтивой улыбкой. И под этим взглядом она съежилась. Тогда он притворно зевнул и отошел.

Ольга не поняла ни слова из того, что они говорили, но она знала, что разговор шел о ней и что этот незнакомый человек «отстоял» ее в чужой и враждебной среде. Она даже хотела сказать ему это сразу на чистоту, но тут к Юрию Владимировичу подошла Тамара.

— Не судите нас строго, — сказала она ему, мягко поблескивая глазами. — И так мы тут все из-за Ольги с мамой перессорились. Мама мне говорит: «Эгоистка! Не понимаешь, что она вынесла. Ты теперь большие не Осипова, а Звонникова. Заразилась от мужа». — Но что же мне делать, если я не люблю себе портить жизнь? Хочу веселиться и веселюсь, пока меня еще самое в колхоз не потащили. А страдать, сочувствовать — это не мое дело. Да и давно известно, что все тёщи зятьев не одобряют.

Всё это Тамара выпалила залпом, красная от напряжения. Юрий Владимирович улыбнулся.

— Да чего вы, Тамара Дмитриевна, беспокоитесь и меня судьей делаете? За ваше здоровье! — Он выпил залпом апперитив, поцеловал на прощанье ее руку и решительно пошел к Ольге.

— Вы здесь остаетесь недолго. А здешние места посмотреть стоит. У меня есть автомобиль, много свободного времени и горячее желание быть вам полезным. Может быть разрешите заехать завтра за вами?

Ольга смутилась и одновременно как-то по-детски обрадовалась.

— Спасибо, Юра, хоть вы не подвели, — крикнула ему в след Елена Михайловна.

**
*

И вот он в своей одинокой, внезапно опротившей комнате. Дом стоит на окраине. В окно дружески заглядывает олива. Юрий Владимирович хорошо помнит сложный изгиб неповторимо узловатого ствола, любит, когда ветер путает,

выворачивает и срывает узкие серебристые листья и они падают на письменный стол. А на столе рукописи, томик Пушкина. Неизменно, по утрам, он читает Пушкина. Это настраивает на труд упорный и суровый. Он любит в минуты тоски повторять:

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море,
Но не хочу, о други, умирать!

Он часто думает, что весь смысл, вся сила стихотворения именно в этом упрямом «но». Оно как перелом, преодоление, даже вызов.

Да, так и надо. И не только во времена Пушкина, но и теперь, и всегда. Не будь этого, трудно бы было уцелеть. Пусть Пушкин дальше говорит: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», а Юрий Владимирович обречен быть только свидетелем жизни. Но ведь и «свидетель» может «мыслить и страдать».

Кроме Пушкина есть еще старинные русские песни. Их пели вечерами в курных избах, при лучине или летом в полях. Теперь их перенесли на пластинки, разноплотили, оторвали от родной почвы, но они всё же несут тебя над жизнью и обещают. Что сказала эта незнакомая женщина? — «Русские люди остались русскими: последним поделятся». И это после колхоза, окриков, может-быть побоев! Одной этой фразой она разбудила давно дремавшее, протянула руку среди враждебного друг другу мира. Пусть годы меняют людей самовластно, но во дни Пушкина было и неизменное: верность и братство. Великодушие. А в наши дни! Куда всё это ушло из мира? Ужели чужая радость — кровное оскорбление и надо ее поскорей затоптать? Ужели надо действовать по заповеди: падающего толкни, да покрепче, а то, не дай Бог, встанет! И кому сейчас придет в голову вспоминать сентиментальные годовщины, первые неопытные строфы и тот восторг, которым они сопровождались? Всё захлестнула, унесла жизнь. А Пушкин сохранил и великая ему благодарность за это.

Неожиданная встреча настраивала элегически. И он вспомнил давно зачеркнутое, увидел себя юношой: курчавый, простодушно-восторженный молодой человек. И словно кому-то другому, вернее другой, стал он рассказывать несложную повесть своей юности:

«Ходил я тогда по городу всегда без шляпы, с летящим по ветру галстуком и толстой сучковатой палкой. Почему не мог я расстаться с нею? Была ли она символом посоха, странничества, несвязанности? Нужна ли была для устрашения неугодивших критиков или чтобы отбиваться от несуществующих в столице собак? Я и сам не знал. Был наивен, вероятно, смешон. И очень счастлив. Стремительная легкость сближений, жажда дружбы меня обуревали. Я умудрялся подбирать ее даже на улице, как бродяги подбирают окурки. Ее тема доминировала над темой любви: я еще не успел по-настоящему влюбиться. Зато влюблялся в стихи каждого свежеиспеченного поэта, бегал с восторгом по чужим литературным делам — служение русской литературе! Вот с каким великим человеком судьба свела! А великие люди писали посредственные стихи, свысока разглядывали чужое и хвалили только «своих». То узнавали при встрече, а то и не узнавали, смотря по настроению. Но энтузиазм, желание общения с людьми, разделения дум и чувств еще владели мною. Вечером не мог усидеть дома. Прочитав новую книгу, мчался в кафе узнать мнение других, обогатиться. Думаю, что этот молодой интерес ко всему и был причиной того, что с одной стороны меня все любили, а с другой безбожно мною пользовались. Ведь даже тогда, когда читались вслух письма с похвалами адресату, не думал я о хвастливом духе рекламы. Когда жаловались, что «погибают от семейного счастья», казалось, что поиски иных путей и есть настоящее счастье.

А потом внезапно всё это кончилось: лунатик свалился с карниза. Увидел людей такими, какими они всегда были и всегда будут. Русские люди почти все максималисты — я не исключение. А химическая реакция на страдание у каждой души своя.

Уехать в те дни не было никакой возможности. Но когда что-либо очень нужно — это случается. Один мало знакомый мне человек ехал на юг в автомобиле и предложил ехать с ним. Француз-издатель, дававший изредка переводы с русского на французский, дал неожиданно большой заказ. И вот я очутился в незнакомом мне городе со всеми своими новыми мыслями, негодованием, отвращением. Постепенно всё улеглось. Но молодость кончилась. Из доверчивого юноши стал сдержаным замкнутым человеком. Пусть стихи — лучшее, что у нас есть. Но жить можно только с большими поэтами, вернее с их книгами. А от иного подальше».

— Да кому же я всё это сейчас рассказываю? — перебил он сам себя с удивлением. — И почему нынче так разболтался, словно опять в юношах хожу и нужно перед кем-то распахнуться?

Ответа не было. Была только смутная радость или предвестие радости.

II

Автомобиль шел быстро в гору по крутой извилистой дороге. Вот появились остроконечные, деревянные, потемневшие от дождей, словно траурные крыши горной деревушки, с грубыми заплатками из толя, с высокими трубами. А за ними по крутой, лысой горе кое-где торчащие темные елочки. Запахло полынью, растущей на этих высотах, лиственницами, елями. На повороте повстречался воз, нагруженный такою громадною копною сена, что он загородил всё шоссе. Автомобиль, прижатый к обрыву, еле протиснулся, и в открытое окно, на мгновенье, обожгли Ольгину руку сухие и жесткие травы. Сладостно запахло сенокосом.

Мгновенье — и всё исчезло. И вот уже острая, выветрившаяся скала нависла над дорогой. А на ее вершине — развалины какого-то жилья. Если подняться туда по головокружительной тропке, какой горизонт откроется! А из-под ног побегут во все стороны золотистые, быстрые ящерицы, вспорхнет испуганная птица. Но никогда не подняться на эту кру-

чу. Автомобиль набирает ходу. Обняли взглядом и уже «прощай».

Навстречу проехал запыленный велосипедист с заплечным мешком. А на заднем багажнике смирно сидит рыжая охотничья собака с обвислыми ушами. Ольга высунулась из автомобиля, но всё уже ушло, растворилось. Захлестнули кусты, закрыла скала.

— Как всё это чудесно и как быстро проносится мимо, вздохнула она.

Он посмотрел на нее внимательно, понимающе.

— Не думаете ли вы, что вся жизнь — только цепь прощаний? Вот так же, как мелькнула эта альпийская деревня, или охотничья собака на велосипеде, так промелькнули и детство, и близкие люди, и города, где мы жили когда-то. В наши дни ощущение, что всё несется мимо, особенно остро. Я часто думаю о том, что мы только толчемся около жизни или летим, нигде не останавливаясь, ни к чему не прилепляясь.

— Я знаю это, — сказала она, — особенно теперь по возвращении в славянский город, где родилась. Как часто чувствую себя там только призраком, который бродит по знакомым и всё же неузнаваемым местам. Меня продержали в Советском Союзе только пять лет, но за эти пять лет ничего не осталось от мира, в котором мы жили с отцом. Понимаете ли вы это? Идти мимо знакомых домов, где жили раньше подруги или русские профессора-эмигранты, товарищи отца, помнить каждого из них, их характерные русские лица, учёные разговоры, груды книг без переплетов на незанавешенных полках, бесконечные чаепития, и знать: никого уже нет и не будет! Проходить мимо здания бывшей русской гимназии, где училась. Думать: вот встречу Катю, Мару, Мишу, и вдруг вспомнить, что все они далеко: уехали, умерли, или изменили нашему общему прошлому. Нет прежних уютных садиков или проходных дворов с кустами сирени и бузины, домов, выпятивших окна второго этажа, словно они надули губы, чтобы скучающей, подглядывающей кумушке было

лучше видно, что делается на улице. А на окнах уже не красуются стеклянные банки с фаршированным перцем, которые так смешно назывались «зимница» и были гордостью каждой самолюбивой хозяйки. Не свисают со стен гирлянды нанизанных мелких красных паприк, один вид которых уже обжигает горло. В русской маленькой церкви на заброшенном кладбище почти ни одного знакомого лица. Я молода еще, а ощущение, что вся жизнь прошла, остались воспоминания, да молчаливые свидетели недавнего: две обнявшихся реки, лес на холмах за городом, куда нас возил красный облупленный трамвай и где мы весной собирали фиалки.

А там? Вы ведь сами сказали... — начал он неуверенно.

Я и не отрекаюсь. Русские люди остались русскими. Но ведь такие, как я, для них чужие. Нас не понимают или жалеют. А в вашей стране, куда я ехала с такими надеждами... «Всякая услуга должна быть оплачена», — сказал мне вчера мой милый кузен. Но я так не могу. Или от всего сердца и никакой платы, или пошли вы к лешему.

— Забудьте хоть на сегодня о Звонникове. Смотрите, вам кивает рябина. Здесь она растет только на больших высотах.

Ольга высунулась в окно. Но автомобиль уже пронесся мимо. Поклонилась рябине издали. И вот уже мостик из посевших бревен. Низкорослая смоковница прижалась к скалам, ища защиты от ветра. До нее не доберешься. Кто же соберет ее плоды осенью?

Потом хлынул косой дождь, частый гость на высотах. Автомобиль несется, виляя на поворотах. И вдруг, какая-то черная птица, растопырив крылья, бросилась ему навстречу, словно хотела остановить. Руль дрогнул в руках Юрия Владимировича, автомобиль шатнуло в сторону, и что-то тяжело шлепнулось о правую фару. Юрий Владимирович затормозил, выскочил из автомобиля, Ольга за ним. Птицы не было, не было и металлического обода фары.

— Убилась! — горестно воскликнула Ольга и оба они пошли назад, волнуясь, ища. Птица лежала у обочины шоссе. Безжизненно болталась ее отливавшая чернью головка. Крылья были опущены. Ольга взяла ее бережно на руки, погладила легкое крыло, заплакала. Потом положила под дерево, в высокую траву. Пристыженные, молчаливые вернулись они к автомобилю.

— Вот так всегда. Пока нет людей, мир живет, радуется. Сколько лет бы еще летала эта птица над горными кручами, не несись мы праздно и бездумно на вашей механической игрушке. Не довольно нам городов, нужны и выси. И некуда уже податься птице, зверю.

— Ну, хотите, я спущу автомобиль под откос, туда ему и дорога, — сказал он. — Вернемся домой пешком.

Она улыбнулась.

Больше о птице не говорили, но какое-то черное облачко провожало их долго и обоим думалось: «Вот так и мы когда-то разбились».

**
**

Стали спускаться. Побежали вниз террасы с однообразно подстриженными апельсиновыми деревьями. Дальше пошли огорода.

— Сколько труда положили люди, — сказала Ольга, глядя на узкие, старательно возделанные террасы. — Верно, землю возили издалека, гнули спину.

Ей легко стать на их место, мысленно полоть, поливать, дождаться или не дождаться скучного урожая. Живы еще в памяти недавние советские годы. Воображение работает, тket по знакомой канве.

Юрий Владимирович, никогда не думавший об этих огородах, смотрел на нее с восхищением. Вот приоткрыла еще одну дверь, обогатила неведомым. Трудно поверить, что только вчера увидел он этот четкий, упрямый профиль, глубоко сидящие темные глаза и над ними густые растрепанные брови. Платочек она завязала туго под подбородком, чтобы не растре-

пались волосы, чтобы ничто не нарушало строгого облика. Темное платье в горошек слегка открывает тронутые загаром шею и руки. На плечах небрежно накинута вязаная зеленая шаль, которую она то распахивает широко на груди, как бы желая завернуть, запеленать в нее по-матерински весь этот меняющийся, вырастающий, исчезающий мир, то зябко кутается в нее от ветра, отгораживается, как-бы прячется в одиночество.

Давно утраченная доверчивость вернулась к нему с новой силой. Молодость! Райское блаженство простодушности, словно хочется об руку с ней пройти всю страну драгоценных воспоминаний, ничего не забыть, ко всему еще раз прикоснуться.

— Как странно: сегодня, с вами, я снова чувствую себя доверчивым юношей, — сказал он.

Она посмотрела внимательно, чуть удивленно.

— А вы забыли: «Ты — Царь. Живи один.» Летописцу нельзя иначе.

— Слова эти были сказаны в запальчивости, негодовании. Да и сказать их имел право только он один. Не упрекайте меня моим ремеслом. В нем горечи тоже не мало. А сегодня хочется иного.

**

Деревенская харчевня понравилась им тем, что во всю стену ее был нарисован ушастый бегущий заяц. Его наивная морда искупала кумачевые неудобные стулья и зонтики с пестрой бахромой. И потом над этой убогой дешевкой милостиво склонялись пятнистые платаны и спокойное небо. Даже унылое здание мэрии с выцветшим трехцветным флагом и плотно прикрытыми ставнями не нагоняло тоски. Флаг неторопливо колыхался. Платаны бросали легкие тени на запрудившие деревенскую площадь автомобили. Собака-нахлебница обходила столики, заглядывала в глаза, притворяясь голодной. А в общей зале, где они сели, сквозь малое решетчатое окошко падает золотистый столб света, озаряет за со-

седним столиком худую морщинистую щеку и черную шаль на плече высокой склонившейся женщины. Рядом молоденькая девчонка ест форель. Круто закрученные мелкие локоны напоминают черную барашковую шапку. И словно запахло снегом.

Ольга долго смотрела темными внимательными глазами на громадный закопченный камин, где еще лежали обрубки оливковых корней, на букет голубых колючих бессмертников в вазе на камине. Они, как клочек южного неба. И даже тут, никому не нужные, о нем напоминают.

Видны ей, сквозь другое большое окно, домики старого города. Черепичные крыши спускаются уступами по горе: на них в беспорядке набросаны камни. А черепица розовая, бурая, серая, золотистая, порою покрытая ярко желтыми мхами. В ее нежной гамме преобладает розовое, осеннее, сентябрьское. Городок плывет над обрывом со своими арками, лестницами, каменными туничками прямо через виноградники к морю.

— Как всё это непохоже на город, где я выросла. Правда, это был тоже южный город, где было много щедрого солица, а еще больше ветра. А здесь, как декорация итальянской оперы, даже не верится, что всё это настоящее.

— Вам не нравится?

— Очень нравится.

— Хотите, я отвезу вас завтра в один из таких городков, где у меня есть старая русская приятельница, чудачка вроде меня, купившая себе полуразвалившийся дом только потому, что ей понравилось романтическое название городка. Хотите, я буду возить вас по всему Провансу, пока вы не полюбите его, пока не захотите остаться здесь навеки?

**
*

И снова было всё то же беспрерывное, то ускоряющееся, то замедляющееся движение. Счет дням был давно потерян. Никто не помнил, было ли это на третий, четвертый или седь-

мой день непрекращающегося разговора в тесном кочующем прибежище. Казалось, этот разговор начался задолго до встречи. А сама встреча была неизбежна и не могло быть сомнения в том, что она будет.

И снова говорила Ольга:

— Знаете, что я чаще всего теперь вспоминаю? Утра! Наши утра с отцом! Жили мы на окраине, у ремесленника, выделявшего ярко разрисованные деревянные телеги, на которых лихо раскатывают зажиточные крестьяне, особенно осенью, когда собран урожай и можно покрасоваться. А через улицу был дом с русским мальчиком «Иди сюда!» и «Перестань!». Целыми днями надрывался озабоченный материнский голос, то с мольбой, то с угрозой повторяя эти три слова. И на этот зов появлялся безымянный растрепанный мальчик, чтобы снова исчезнуть на пустыре, в котором терялась улица.

По утрам я просыпалась от шарканьяочных туфель в спальню отца. И сразу же бежала в кухню растопить плиту. Отец выходил из спальни в синей вязаной безрукавке, поденной ему каким-то благотворительным учреждением в первые годы эмиграции, в старых брюках и шлепанцах. В руке у него были полуботинки, которые он нес чистить.

«Что ты поднялась так рано?» притворно выговаривал он мне, но я знала, как ценил он эти наши утренние задушевые разговоры. У него была очаровательная манера говорить с людьми: какая-то старинная смесь учтивости и благодушной шутки. Власть его надо мной была безгранична, но я никогда не чувствовала нажима. Мне было легко и хорошо с ним.

Шумел и фыркал примус — лар беженского очага. Мы пили кофе с неизменной яичницей и отец уходил одеваться. Через четверть часа выходил подтянутый, помолодевший, с портфелем и палочкой. Иногда я провожала его до университета, иногда оставалась дома. А по вечерам гуляли в городском саду, разбитом там, где когда-то была старинная турецкая крепость. Времена тогда еще были мирные, но уже по-

явился в небе первый зловещий вестник: прожектор, ловящий пролетающие аэропланы и как-то мистически-жутко оплетающий их лучами-щупальцами. И вот, видя это непривычно-зловещее небо, отец всегда сердился: «Всё равно страну не втянут в войну. Она хранит мудрый нейтралитет.» Тогда я еще не понимала, что это была самозащита после пережитых крушений, инстинктивное желание отгородиться, забыть. Вообще в это предвоенное лето отец стал бояться перемен и не любил говорить о них, чтобы не потерять равновесия духа. Но когда началась война, бомбардировки, аресты, он сказал мне: «Происходят в мире такие события, против которых человек бессилен. А если чего-нибудь нельзя избежать, нужно это принять по-возможности спокойно.» И когда за ним пришли, он был бодр, мужествен.

Ольга отвернулась. В глазах ее стояли слезы.

Они долго молчали, как бы боясь что-то нарушить неосторожным словом.

А серый Ситроэн вез их куда-то по мирной цветущей стране.

И словно завороженная предвоенными, давно отодвинувшимися днями, снова и снова возвращалась она в затонувшее царство:

— Как я любила папиных друзей, их разговоры, городское знойное лето. У отца было много преданных друзей. Но дружба этих стариков не походила на дружбу моего поколения: они не выворачивали друг перед другом душу, говорили всегда только о самых безразличных вещах. Только порою во взгляде, в интонации, в каком-нибудь обращенном ко мне: «Ваш папочка, Оленька...» чувствовалось, чем был для них отец.

В последнее наше мирное лето ко всем обычным разговорам прибавилась новая тема: война. О ней говорили как о чем-то прискорбном, но нас совершенно не касающемся. И только мрачные пессимисты твердили, что рано или поздно, но и у нас будет то же самое.

И вот, будто предчувствуя, что всё это мирное благолепие в последний раз, я особенно наслаждалась летними месяцами этого года. Помню густо набитые трамваи, принаряженную воскресную толпу, столики кафе, высыпавшие на улицу, продавцов бубликов, июльскую городскую духоту, изобилие и скуку загородных ресторанов, где во всякое время вас накормят пересушенной курицей или поросенком. Цыганский оркестр играет безнадежно-восторженную восточную мелодию, шумят деревья, блестит зеленая лента реки.

Всё еще было как всегда этим последним тихим летом, и всё же что-то как-будто стало на глазах меняться. Еще в марте по всей стране небо было красным, как от пожара. Быть-может это было предзнаменованием тех дней, которые наступили через год. А потом... — Она махнула рукой. — Нет сил вспоминать! Скажу только одно: когда, после того, что я видела, пережила, я встретила тут, у вас, эту жажду комфорта во что бы то ни стало, эту избалованность матерью-яльным, мне всё больше кажется благословенной благородная простота, с которой поколение отцов приняло бедность, лишения.

— Как странно, в тот день, когда мы познакомились, я был на похоронах одной старой приятельницы и, возвращаясь из церкви, думал почти теми же словами, словно мы выросли вместе.

— Или срослись за эти дни, — сказала она.

**
*

Так доехали они до Форсенеза. Пшеница цвета светлой меди раскинулась по косогорам, жадно и жарко дыша. А на крутой заносчивой скале — башня и крепостные стены Форсенеза. Автомобиль они бросили на шоссе и почти взбежали по щербатой каменной лестнице. Каштаны при входе в городок, уже были по-летнему будничны, темно-зелены. Ничего не осталось от их весенней нарядности, но еще было далеко до осеннего мрачного великолепия. Низкорослые, черно-

белые коровы тили воду из фонтана. Вода текла по их мордам, стекала на землю. За ними стоял коренастый крестьянин с дубинкой. Из под шапки виднелась плешка. Всё было скромно-буднично. Но в том таинственном ликовании, которое пробудило в них это чудом уцелевшее средневековье, каждая мелочь была значительна. Вот крохотная площадь у древней башни. Там играют дети, склоняются над вечным вязаньем старухи. А высокая башня сложена из мельчайших камешков благородного серого цвета. К ней незаконно и робко льнет избушка; принарядилась, как могла; в консервной банке на подоконнике вздымаются огненные языки герани; на окнах трепыхается пестрое рваное белье и есть в этом что-то легкое, кочевое, словно домик возьмет и понесется в большую бирюзу реки.

По штопорообразной уличке с горделивым названием «Carriero doau Pountis» подошли они к дому Надежды Ивановны, постучались стукалкой в виде руки в дубовую резную дверь. Стояли, ждали и Ольга смущенно спросила:

— А она милая?

— Бывшая красавица, для которой память о прежней красоте и победах — утешение в старости и одиночестве. Живет прошлым, пишет воспоминания. И никому не завидует, ни о ком не злословит. Разве этого мало?

— И даже очень много, — послышался насмешливый женский голос из окна второго этажа. — Ай, да Юра! Какую мне характеристику подготовил. Ну, ничего, входите. И держитесь: воспоминаниями замучаю.

Со смехом вошли они в темноватую с узкими окнами столовую, и Юрий Владимирович представил Ольгу. Объяснить Надежде Ивановне было нечего. Она только мельком взглянула на обоих, улыбнулась умной понимающей улыбкой и сразу же ушла в кухню поставить чай.

Ольга оглянулась. Чем-то успокоительным, давним повеяло от керосиновой лампы на круглом столе, от свечи в вы-

соком подсвечнике около дивана, где лежала забытая книга. Открыла ее наугад и прочла:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Он читал, стоя за нею. Выше ее почти на голову, стройный, неподвижный, медленно скандировал глуховатым голосом эти, тысячи и тысячи раз, разными устами, в разное время, повторенные строки. Но ему и ей казалось, что они написаны только для них, что это они «замыслили побег в обитель дальнюю» и что эта «обитель» здесь.

— Так что же? Останемся тут, в Форсенезе... навсегда? — спросил он ее внезапно, как будто бы всё уже было решено и сказано.

Она нашла его руку. Сжала. Потом подошла к окну. Незаметно темнело. Через улицу виднелась черепичная продавленная крыша необитаемого дома с заколоченными ставнями. И над нею, в угольном небе, — звезды.

Екатерина Таубер

Приморские Альпы, 1962 г.

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

*

Восклицанья вороны
Повторяет воздух со всех сторон.
Ах, какое одностороннее
Образование у ворон.

Еще минута и листик закружится,
А мы сидим и медлим и ждем,
А на асфальте зеркальце-лужица,
Забытое здесь вчерашним дождем.

И смотрит в него березка застенчиво
Сама собою удивлена,
Хоть и березка, а все-таки женщина,
И даже кудри красит она.

Ах, какая на всем ирония!
Года за уроном наносят урон.
Восклицанья вороны
Повторяют воздух со всех сторон.

*

Ворвáлся джета звук протяжный
И зашипело всё кругом,
Как будто бы по ночи влажной
Прошли горячим утюгом.

Разбужен, я вскочил с кровати,
Встал у открытого окна.
Как драгоценный камень в вате,
Блистал в облаке луна.

Там возвышались, темно-сини,
Сооружения небес,
А джета не было в помине —
Он оглушительно исчез.

Но всей тоской моей подкоjkной
Я знал, что где-то там, вдали
Он мчится с противоположной,
С обратной стороны земли.

И там в скрежещущем раскате,
Там в грохотании сплошном
Поднялся человек с кровати
И встал, как я, перед окном.

*

Лиле

По -ученому не говори:
Пусть наивностью речь твоя дышит.
Будешь много читать словари —
О тебе в словарях не напишут.

Бойся благоустроенных слов:
 Слов-чиновников, слов-бюрократов,
 Слов без выступов, слов без углов,
 Гладко-выбранных, щеголеватых,

Чтобы стих по-степному был дик,
 Как душа, был широких размахов —
 Напусти в него слов-забулдыг,
 Слов-отверженцев, слов-вертопрахов;

И в словах оставляй сквозняки.
 Если схватит читатель простуду —
 Значит, ветер качает стихи,
 И стихи уподобились чуду.

Сочиняй с разумением в лад,
 Никогда не гоняйся за звуком;
 Сочиняй, как хозяйка салат:
 Чтоб запахло укропом и луком.

Чтобы каждый предмет норовил
 Озаряться свеченьем глубинным,
 Чтобы в листьях сквозил хлорофил,
 Чтобы кровь была с гемоглобином.

И стихи за стихами пиши,
 Сочиняй и некстати, и кстати,
 Для души или не для души,
 Для печати и не для печати.

*

Другим пусть кажется завидным
 Спешить всю жизнь из края в край,
 А мне сидеть бы дома сиднем —
 Где вырос, там и помирай.

С тех пор, как журавлиной тягой
 Несет по тысяче дорог,
 Душа горюет доходягой
 За темной проволокой строк.

С тех пор, как птичьим вспокошением
 Куда-то вечно тянет в путь,
 Живу крылатою мишенью,
 Пока подстрелит кто-нибудь.

*

Я помню чайку над заливом,
 Почти припавшую к волне,
 И дерево, зеленым взрывом
 В глаза ударившее мне.

Года, вы с грохотом идёте,
 И где-то падаете все,
 А я все там, на повороте
 Того бессмертного шоссе.

Стою навеки удивленный.
 А крымский берег надо мной
 Все машет мне листвой зеленою,
 Все машет синею волной.

*

Знаю, не убьет меня злодей,
 Где-нибудь в потьмах подкарауля
 А во имя чых-нибудь идей
 Мне затылок проломает пуля.

И расправу учинят, и суд
 Надо мной какие-нибудь дяди, —
 И не просто схватят и убьют,
 А прикончат идеалов ради.

Еще буду в луже я лежать,
 Камни придорожные обнюхав,
 А уже наступит благодать,
 Благорастворение возду́хов,

Изобилье всех плодов земных,
 Благоденствие и справедливость —
 То, чему я, будучи в живых,
 Помешал, отчаянно противясь.

И тогда по музе мой собрат,
 Что о правде сокрушаться любит,
 Вспомнит и про щепки, что летят,
 Вспомнит и про лес, который рубят.

*

Тут волна ко мне подходит вкрадчивая,
 Камушки у ног переворачивая,

Тут волна ко мне подходит палевая,
 Легкой, легкой пеной заваливая,

Тут волна ко мне подходит ласковая,
 За собою водоросли втаскивая.

Поутру вода тут малахитовая,
 И песок вздыхает, воду впитывая;

Вечерами тут вода агатовая
 Набегает, брызгами окатывая.

Мне отсюда уходить не хочется;
 Берег — как большое одиночество.

Иван Елагин

ДЕЛО СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ*

ГЛАВА 1

Георгий Александрович Морозов сидел неподвижно на стуле, обитом поблекшей темно-красной материей, прямая спинка которого была украшена какой-то сложной резьбой. Сразу за его головой резьба образовывала треугольник, в центре которого была львиная пасть. Всегда, когда он неосторожно откидывал голову, маленькие, чуть выступающие зубы львиной пасти задевали его затылок. И если его секретарша Людмила замечала это, на ее обычно строгом лице появлялась улыбка.

— Товарищ директор, — говорила она, — почему вы не оставите этот стул для посетителей, а себе не возьмете хорошее кожаное кресло?

— Как же я могу? — отвечал он. — Это седалище говорит о моей власти. А лев — это мой страж и покровитель. Он всегда напоминает мне, как гляжко бывает голове сидящего на троне. Так это есть. И так должно быть.

Но сегодня опасности столкновения головы с пастью льва не было. Морозов сидел склонясь вперед, опервшись локтями о стол и зажав свое длинное изможденное лицо меж ладонями. Его мысли, вызванные сегодняшним неожиданным посетителем, уходили в такую даль, что крепкий чай, принесенный ему Людмилой после ухода молодого Михаила Галина — так он себя называл — стоял нетронутым на столе.

В самом деле, неожиданное появление Галина и всё рассказанное им нанесли Морозову один из тех ненарочных, но смертельных ударов, которые в жизни бывают также случайны, как ударивший вас камень, вылетевший из-под колес про

* С любезного разрешения автора мы печатаем, в переводе Т. Петровской, отрывки из романа известного американского журналиста Харрисона Солсбери, который долгое время жил в СССР. Роман недавно вышел в Нью Йорке. РЕД.

The Northern Palmyra Affair by Harrison E. Salisbury. Harper and Brothers Publishers. N. Y. 1962.

ехавшего экипажа. У Морозова еще не было достаточно времени, чтобы как следует обдумать значение этого удара, но он уже инстинктивно знал, что полученная рана не из тех, которые легко залечиваются.

Его рука было потянулась к стакану но она не закончила движения, он не взял стакан. Ложечка всё еще стояла в стакане, два больших куска сахара лежали на голубом фарфоровом блюдце, а блестящий шлем богатыря на его серебряном немецком подстаканнике, отражал в миниатюре профиль Морозова. Это был костиистый профиль с ввалившимися щеками, слегка горбатым носом и широким лбом, редеющие волосы, всё еще черные, но уже в легкой седине. В сумраке комнаты можно было только предположить синеву глаз. Он был средних лет, тонкий, с налетом военной выпрявки в линии плеч. Одет в серовато-оливковую военную гимнастерку, без знаков отличия, темно-синие военные брюки и мягкие, сильно поношенные, но хорошо начищенные сапоги.

Так минут пятнадцать Морозов смотрел невидящими глазами в пространство. Обитая войлоком дверь кабинета слегка приоткрылась, его секретарша хотела было войти, но увидев его неподвижную фигуру, тихо исчезла. Морозов, казалось, не заметил ее появления, но пожалуй подсознательно всё же воспринял его, потому что очнулся от задумчивости, глубоко вздохнул, встал, подошел к высокому окну выходившему на улицу Герцена, и задернул тяжелые бархатные занавеси.

Январский мороз расписал и внешние и внутренние стекла. Уличные фонари казались окружеными сиянием, лучи которого, проходя через сложные геометрические линии морозных разводов, уничтожали перспективу и преломлялись в каких-то странных призмах.

И всё-таки, когда бы Морозов ни стоял у окна, любуясь этим зимним видом, туманным и искаженным в ледяных кристаллах, он ясно различал все подробности видимого. Искажение не мешало ему воспринимать двойные желтые фары троллейбусов, когда они проходили по улице, отбрасывая на снег слоноподобные тени. Он знал, что искрящийся синий

след на стекле — троллейбус, вынырнувший из-за угла. Алые завитки, за которыми шли оранжевые, а потом зеленые, это — угловые семафоры, и смена их цветов была такой же постоянной и успокаивающей, как волны, бьющие в гранитную набережную Невы. Морозов не мог видеть прохожих, шедших по тротуарам, с поднятыми воротниками, придерживая шляпы под ветром — вереницу этих черных жуков, снующих на белом снегу, который шел и шел, устилая город кусками белого бархата. И конечно он не мог различить ничего за тусклым мерцающим отблеском замерзших окон на противоположной стороне улицы. Но давно уже его глаз научился схватывать каждую деталь, каждый карниз, точное разделение каждого окна оконными рамами, каждое украшение окон второго этажа (более витиеватое, чем простые карнизы третьего и четвертого этажей). В самом деле, он по памяти с легкостью мог бы нарисовать каждое надтреснутое стекло в окне, каждую форточку, каждую банку с маринованной селедкой, каждый завернутый в газету пакет между двойными рамами окон. И это не была игра памяти, или какая-то болезненная восприимчивость. Морозов был инженер и архитектор, и глаз у него был наметан на всякую деталь.

Если кто-нибудь, застав его за этим занятием, спросил бы: а что же вы видите там за окном? Он наверно бы вздрогнул, а потом ответил своим спокойным голосом: «Ничего особенного... просто вечернее движение на улице... автобусы... прохожие...» И может-быть добавил бы: «а знаете, снег-то всё еще идет...»

И всё-таки это не было бы точным ответом, потому что даже если Морозов и смотрел на улицу и на качающиеся под ветром фонари, он всё равно в тот момент не видел того, что было за окном в этот январский вечер 1949-го года. Конечно же, он смотрел на улицу Герцена. Но это была другая зимняя ночь, зимняя ночь далекого прошлого. О, как давно это было! Прошлое вдруг захлестнуло его, как внезапный удар. Ведь не отдаешь себе отчета, как идут годы, пока вот в такой вечер, когда несколько прерывистых слов, произнесенных нервным

молодым человеком с обгрызенными ногтями, с глубоко под лоб загнанными глазами, пока вдруг эти слова не заставят тебя в полной мере осознать их предательскую силу. Как будто он неожиданно был захвачен морским водоворотом. Он вспомнил вдруг лето, проведенное на Балтийском море недалеко от Ревеля. Ему тогда было не то одиннадцать, не то двенадцать лет. Он любил волны, их соленый вкус, их мощь, когда они разбивались о его тонкие ноги, и тягу уходящей назад волны, уносившей песок из-под его ступней. Он любил брести в открытую синеву моря, сопротивляясь течению. Когда накатывалась большая волна, он подскакивал, с силой ударяясь о нее грудью и держа голову высоко позволяя ей нести себя назад. Иногда волны сбивали его с ног, но он быстро выбивался из водоворота, из уходящей назад в море волны. Потом он научился по гребню волны узнавать ее время и нырял в нее головой как раз в тот момент, когда она должна была рассыпаться, и выплывал гладкий как тюлень в тихой заводи позади волны. Он помнил, что это была непрерывная борьба, в которой его выносливое тело боролось с подавляющей стихией моря.

— Видишь, Жорж, — сказал однажды его отец. Отец всегда предпочитал французскую форму его имени. — Видишь, как физическая ловкость и ум дают возможность побеждать силы природы. Море в миллиарды раз сильнее тебя, и всё-таки — пользуясь умом и слабыми мускулами, при правильном расчете времени и верной оценке положения — ты его побеждаешь.

Жорж знал, что отец любил такого рода философию. И ведь это — правда. Но один раз он ошибся в расчете. Может быть прыжок вперед был не достаточно силен. Может быть он не заметил перемены прилива. Он нырнул в набегающую волну. Но в следующий же миг волна осилила его, и закрутила в синевато-зеленом мраке в разных направлениях. Его голова сильно ударилась о песок. Вода вокруг него неслась и рвала. Он хватался и боролся, но он не знал, где низ, где — верх, куда — к земле, куда — в море. Потом также внезапно,

как он был брошен на песок и ползал там, как краб, поток выкинул его на поверхность.

— Ну, как, Жорж? Ничего? — Это был его отец.

А позже, когда они шли к купальне, отец говорил:

— Видишь, это очень хорошо. Это немного напугало тебя, Жорж. Но это-то и было хорошо потому, что теперь ты будешь помнить о настоящей мощи моря, будешь знать и свои возможности и возможности моря. Это — тигр. Ты можешь его приручить. Но берегись, — один удар лапы... и конец.

Проходили годы, Морозов не вспоминал об этом, не вспоминал о словах отца. Но иногда они приходили ему на память. Они возвращались в моменты вроде сегодняшнего, когда он чувствовал как бы захватывающий его прилив, когда ощущал всю его силу...

— Не забывай, Жорж, — сказал отец, — что прилив меняется. Иногда он с тобой, иногда — против тебя. Опасен именно его поворот.

Опасен поворот. Да, это то, чему научила его жизнь. Иногда поворот бывал быстрым и неожиданным — ноябрь 1917 или июнь 1941, а иногда поворот был медленным и неощутимым, поворот происходил так медленно, так постепенно, что долгое время нельзя было сообразить, куда же идет течение? Этому все научаются в России, научаются опознавать течения и страшиться их. Долгое время о них не думаешь, или воображаешь, что овладел уже ими. Или может быть просто выключаешь все мысли до тех пор, пока... пока не придет ночь, как эта. Морозов чуть подернул плечами. Теперь-то уж он не забудет. Течение поворачивалось. Оно уже повернулось, и теперь потянет его за собой. Как это всё произойдет, сколько времени ему осталось — он не знает. Время? Скоро. Очень скоро. Фантастически скоро. В лучшем случае нескользко дней. Может-быть даже часов.

Он прожил долгую жизнь, полную опасностей, но так и не выучился, как избавляться от страха. Он отдернул оконные занавеси и взглянул на улицу. Одно из стекол почти не

замерзло, он мог видеть сияние вокруг уличного фонаря и молодую парочку, спешившую мимо. Они держались за руки и свет фонаря бросил большую двойную тень от их голов и плеч, когда они поровнялись с фонарем: двое любящих, спешащих домой в этот снежный вечер.

ГЛАВА 4

В ту масленичную ночь, когда Ирина вернулась в Петроград, они шли по улице Герцена. Конечно, в те дни она еще не называлась улицей Герцена. Тогда это была Большая Морская, и Морозов так и не привык к этой перемене названий. Они шли по этой улице, прошли под этим самым окном, и пересекли улицу, направляясь к площади, к Исакиевскому собору. Собор стоял темный, грузный, упираясь в черное снежное небо. И всё это время они не сказали ни слова, да и не могли говорить, потому что целовались, целовались с тех пор, как вошли в темноту, спускаясь по лестнице. И тогда он не видел ничего кроме Ирины, да может быть еще снежинок вокруг ее лица.

На Мариинской площади часовой с любопытством взглянул на них из своей будки. Наконец, они замедлили шаги у Мойки, и Морозов с изумлением заметил, что почти дошли до Поцелуйного моста и теперь поворачивали к площади перед оперой.

— Так мы никогда не прекратим этого, — сказала Ирина. — Никогда, никогда, никогда.

— Нет, — ответил он. — Никогда.

Так это и было.

ГЛАВА 5

Казалось — снег переставал, когда его машина повернула за Адмиралтейством и пошла к Дворцовой площади. Морозов мог видеть Адмиралтейскую иглу, высокую и золотую, и серо-зеленую громаду Зимнего Дворца, неясно вырисовывавшегося на снежном небе.

Машина неслась через широкую площадь, и как всегда, он почувствовал величие и таинственность города Петра. Эти огромные здания, грандиозные архитектурные ансамбли, которые он любил со страстью художника; эти гранитные колонны, ввинченные в болотистые берега Невы; эти дворцы, памятники, орнаменты, — всё это выплывало из тумана и снега, как фантастический бред. Титанические карнатиды, держащие на могучих плечах портал Эрмитажа на Миллионной. Шпиль Петропавловской крепости на фоне серого неба, который он с трудом различал за ледяными полями Невы. И сам Великий Петр на бронзовом коне, вознесшийся над городом? Острые, опасные шпоры вонзены в бока вздыбленного коня, как будто Петр задержался на момент, предоставляя народу с трепетом гадать, куда теперь ударит железное копыто. Этот Петербург — разве он только каменный город? Разве у него нет души и сердца? Или душа его действительно в когтях демона, как сказал Блок? Может быть Петербург — это город Апокалипсиса?

Морозов не был суеверен, но понимал, что странный город на Неве вызывал в нем чувства, об источнике которых он даже не хотел знать. Другое дело — красота города. Где еще в мире, — спрашивал он себя в тысячный раз, пока машина шла по набережной (это не было самым прямым и кратким путем в Смольный, но почему-то он надеялся, что Андрей возьмет именно этот путь) — где в мире есть второй город такой ужасной и трагической красоты, как Ленинград? Северная Пальмира... Как хорошо подходило ему это имя. Обаяние востока, прошлых дней, тайн, заговоров.

Но он любил все это: сфинксов и львов, стороживших набережную; огромных коней Клодта на Аничковом мосту; милые аллеи Летнего сада, детскую фантастичность Инженерного Замка. Город красоты, страсти, таинственности. Он невольно вспомнил старого Ильина. Может быть он и не был блестящим архитектором, но любил этот город. Он вспомнил встречу с ним в тот январский день, как раз в разгар блокады. Это были самые страшные дни. Он и теперь еще ощущал ка-

кой-то твердый комок в желудке, когда вспоминал то время. Был организован какой-то митинг. Бог знает, кто были его организаторы, во всяком случае Ирина была среди них. Может быть это был комитет художников? Партийная организация Института? Или городской совет? По сути дела, было всё равно, чья была идея. Настоящая цель митинга была — поддержать дух, дать людям ощущение, что они всё-таки что-то еще делают. Хоть что-то. Показать друг другу, что они еще живы, всё еще достаточно сильны. Могут хотя бы пройти по улице.

Это был ясный морозный день — один из тех редких ленинградских дней, когда золотой диск солнца висит в голубом небе и мороз так силен, что снег скрипит под подошвами. Морозов был в городе. В те дни он постоянно ездил между городом и укреплениями под Пулковом. Он пришел рано. Митинг был в красивой маленькой академической капелле у Певческого моста. Солнце превратило снег в алмазы и горело на окнах, слепых, заколоченных досками и заставленных мешками с песком. В зале было сумрачно, холодно. Красные бархатные стулья превратились как будто в льдины, а бархатные драпировки казались саванами. В сумраке он увидел Ирину. У нее губы были синие, но глаза горели каким-то непонятным огнем. Он сел рядом с ней.

— Слава Богу, слава Богу, — сказала она, кладя свою руку без варежки на его руку. Рука ее была тоже синяя и холодная.

— Да, — сказал он. — Мы еще живы.

— И будем жить, — сказала она. — Будем жить, будем. — Они замолчали и их дыхание стояло, как облачко пара. Он наблюдал, как наполнялся зал, как мужчины и женщины входили медленно, осторожно, экономя каждое усилие. Они осторожно поднимали ноги в валенках, не шаркая, но и не идя свободно. Они озабоченно садились, глядя прямо перед собой, и поворачивая голову лишь настолько, чтобы видеть хотя бы под углом, начинали осматривать зал. Но не все так делали. Морозов видел, как старый Зоскин, писатель-

сатирик, автор известной неопубликованной пьесы «Народ и власть», рухнул в свое кресло, его голова мотнулась вперед и упала на грудь. Казалось — он в обмороке. А Ольга Каргова, биологичка, муж которой был руководителем Ботанического Института, почти упала, когда садилась. Грубый коричневый шерстяной шарф закрывавший ее лицо, весь занедевел. Она наверно прошла несколько километров. Щеки были отморожены, покрыты белыми пятнами. Все лица людей в зале были словно обтянуты кожей малинового, желтого и зеленого цвета, свинцовые глаза ввалились (за исключением некоторых, у которых, как у Ирины, глаза горели лихорадочно). Они сидели молча, собранно, кутаясь так, чтобы не потерять ни капли телесного тепла, сдерживая изнуряющую дрожь.

Митинг начался поздно. Худая фигурка маленького человека в черном пальто с каракулевым воротником, аккуратной академической бородкой и тонкими аристократическими чертами лица, прошла к эстраде. Он почти не поднимал ноги, когда шел. Но он стоял прямо, и его голубые глаза за стеклами пенснэ в золотой оправе были ясны, хотя слезы и текли из покрасневших век. Он поднялся по четырем ступенькам эстрады с осторожностью канатного плясуня, медленно подошел к кафедре и схватился за нее обеими руками в варежках. Целых пять минут — они показались Морозову вечностью — он стоял неподвижно. Его крохотная, прямая фигурка семидесятилетнего человека казалась такой легкой и хрупкой, что хотелось вскочить и поддержать его, но холодный огонь его глаз вас удерживал. Он стоял, держась за края кафедры, и ожидая, пока восстановится истощившийся запас его сил.

Наконец, он заговорил.

— Товарищи, — сказал он, говоря медленно и отчетливо. — Я должен извиниться за опоздание. Но я не мог прийти раньше.

На лицах некоторых слушателей появилось выражение сочувствия.

— Нет, — продолжал Ильин. — Не потому, что я стар, и не потому, что мои силы слабы. Нет, товарищи. Я не мог

придти раньше потому, что я не мог оторваться от улиц Ленинграда этим утром, не мог оторваться от вида этого прекрасного города озаренного солнцем.

Ильин говорил о том, что он вышел из дома загодя. Правда, ему пришлось идти больше трех километров, но он попал бы сюда во-время, если бы не город!

— Я не мог идти быстрее, — сказал он. — Я не мог оторваться от красоты нашего города — от арок, соборов, золотых шпилей. Ах, я знаю, что они закамуфлированы в серое и зеленое. Но для меня они всё равно золотые.

Рука Ирины, лежавшая как каменная перчатка на руке Морозова, начала дрожать. Он обернулся к ней, их глаза встретились. Поэзия слов старого человека, красота и благородство его мыслей казалось осветили весь зал. Люди выпрямились, даже старый Струмкин — «Толстый», как его прозвали в академических кругах. Он давно уже толстым не был. Кожа на лице его висела желтыми складками, и пальто болталось вокруг его пропавшего живота и сузившихся плеч, как потерявшая натяжку палатка. Даже этот остаток человека как-то заразился словами Ильина. Его лицо потеряло умирающее выражение.

Голос Ильина, надтреснутый и прерывистый в начале, стал глубже, сильнее.

— Признаюсь, — сказал он, — я люблю этот город. Люблю серые камни, из которых он построен. Не могу без сердцебиения пройти по Невскому. Я не могу обойти его прекрасные площади, мои глаза не могут без слез налюбоваться совершенной красотой его вьющихся каналов, роскошными фасадами его дворцов. Если это слабость — я признаюсь в ней.

Когда Ильин говорил, и его аккуратно подстриженная бородка медленно двигалась в такт речи, Морозову показалось, что замороженный зал начал оттаивать, что свет начинал проникать в мрачные углы. Через месяц, когда Морозов услышал, что Ильин был убит шальнойным осколком серебристой стали прямо в сердце, когда он шел по своему любимому Невскому — Морозов не опечалился. Он был уверен, что Ильин

умер именно так, как хотел, на самой величественной улице этого величественного города.

— Немцы пытаются разрушить наш город, — говорил Ильин. — Они пытались превратить Зимний Дворец в кучу развалин. Их бомбы вырыли ямы в Летнем Саду. Их снаряды избороздили фасад Эрмитажа. Мы должны были зарыть глубоко в землю драгоценности Аничкова. Они убивают нас. Сожгли наши дома. Наши дети умирают от голода в школах и замерзают на улицах. Но они не сломили дух города Петра. И не сломят. Это они будут умирать на серых камнях города. Северная Пальмира переживет их. Настоящее трагично, но будущее принадлежит нам.

Ильин сошел со ступенек, как монарх сходит с трона. Слабые руки аудитории выбивали легкую дробь аплодисментов и с губ Ирины сорвалось горячее «браво», так поразившее ее, что она спрятала лицо на плече у Жоржа.

Другие выступавшие говорили о планах, составляемых для нового Ленинграда, который подымется после войны. Один из выступавших был майор. Он прочел послание партсекретаря Жданова. Выступал и Морозов, так как его конструкторское бюро было специально занято планами реконструкции города. Он показал некоторые из этих планов. Один из них был планом красивого парка, где будут разбросаны жилые дома. Предполагалось разбить этот парк недалеко от Нарвской Заставы в том самом районе, который был превращен сейчас в пустырь нацистскими бомбардировками. Со-автором этого плана был профессор Сланский, близкий друг Морозова. За день до этого этот тихий пожилой человек скончался в отделении скорой помощи, куда был доставлен в последней степени дистрофии.

— Город Петра подымется в новой славе, — сказал тогда Морозов. — Нацистам не удалось сломить наш дух. Они укрепили его. Мы поднимемся после этих дней искушенными и окрепшими. Наш город был построен великим императором, как столица великой страны. Традиция Ленинграда — это имперская традиция, сплавленная с революционной. Из пепла

войны восстанет Северная Пальмира — более сильной, более славной, более имперской и более революционной чем когда-либо.

Все жали ему руки. Майор («товарищ Жданов будет рад вашим словам, Георгий Александрович»), генерал Орлов («город и армия едины, Георгий Александрович»), секретарь Иванов («Ленинград — это горн, где куется советская сталь, товарищ Морозов») и даже Дмитрий Чайковский, начальник отдела Госбезопасности, человек с холодными глазами, единственный из всех присутствовавших не потерявший своих свиных щек («Я никогда не забуду ваши слова насчет Северной Пальмиры»). И наконец — Ирина, просто сказавшая: «Ленинград спасет Россию, Георгий Александрович. И мы спасем ее».

Они вышли из холодного зала в хрустальный мир залитого солнцем ледяного города. Улицы были заметены сугробами в рост человека, и они шли, будто пересекали ледник в Антарктике, вниз и вверх по ухабам, в обход ледяных расselин.

На Неве мужчины и женщины опускали ведра в дымящуюся прорубь и осторожно ставили ведра на детские санки. Вода расплескивалась и попадала на одежду, превращая ее в ломкую броню. Две девочки, тянувшие санки, шли им навстречу. Старый человек, закутанный в женскую шубу и пуховый шарф сидел на санках. Он сгибался так, что голова почти касалась колен, глаза были широко раскрыты, но пусты. Санки раскатывались и его тело раскачивалось в такт и валилось с санок. И так повторялось каждые несколько шагов. Когда Морозов и Ирина приблизились к ним, одна из девочек с трудом поднимала маленькую фигурку человека на санки.

— Дедушка, — говорила она таким усталым голосом, что слова казались свинцовыми. — Дедушка, пожалуйста, держись за санки. Мне не поднять тебя больше. Мне очень жаль, но если ты опять свалишься, ты попадешь на кладбище, а не в больницу.

Девочки медленно прошли мимо них и стариек больше не валился с саней, а сидел прямо, как чучело надетое на связанные крестом палки.

Ирина повернулась к Морозову со странным сиянием в глазах.

— Георгий Александрович, — сказала она, выталкивая слова, как камни. — Георгий Александрович, когда эта война кончится... когда мы разобьем... нацистов... что, конечно, будет... тогда начнется новая война... война против войны. Понимаете? Война против войны!

Он погладил ее по плечу так, как он это сделал много лет тому назад в маленькой комнатке у Сенного Рынка в ночь ее возвращения из Парижа.

— Я серьезно, Жорж, — сказала она, держа его руку железной хваткой. Я знаю, что говорю. И я вложу все мои силы в эту войну. Только в эту. И если я умру — ну, хорошо, вы можете поставить мне маленький надгробный памятник с надписью: «Здесь лежит Ирина Галина. Она пережила войну, но умерла в борьбе с ней».

Теперь машина подъезжала к Смольному. Морозов различал уже большие ворота и будки часовых. И когда его машина подкатила к подъезду, и когда он сунул руку в карман шубы, чтобы достать свой в красной обложке внутренний пропуск и партбилет — он всё еще слышал слова Ирины, звучавшие в его ушах. Он видел искры золотого огня в ее глубоких зеленых глазах и чувствовал стальной зажим ее пальцев на своей руке.

— Это мое решение, Жорж, — сказала она. — Я говорю это вполне серьезно. Скажи, что и ты будешь бороться.

Она не шутила. Это не было игрой. Он знал это. Ирина никогда не шутила серьезными вещами. Он дал ей слово, и завтра, как он сказал ее сыну, молодому Михаилу Галину всего час тому назад, — он выполнит свое обещание.

Часовой у ворот вернул документы, отступил назад и отдал честь. Шофер включил скорость и машина двинулась по круглому подъезду наверх ко входу. Морозов сунул под

мышку свой красновато-коричневый портфель с бумагами своего проекта реконструкции города у Нарвской Заставы и вошел в здание. «Это будет, — подумал он, — последний раз, что он приходит в Смольный и последний митинг в его карьере».

ГЛАВА 20

Михаил Галин шел по темной улице между двумя рядами жилых домов, которые, казалось, сжимали плохо освещенную и запущенную мостовую. По обеим сторонам были высокие сугробы и поэтому он шел по середине, по обледеневшей тропинке, натоптанной многими ногами. Было холодно, снег шел непрестанно, но он вряд ли даже замечал все это. Он думал об ударе, только что нанесенном ему и о дрожащей от гнева женщине, которую он только что оставил. Что это была за женщина!

«Она держала его на руках еще младенцем». Он никогда не мог забыть этих слов матери, сказанных о Катерине Кузьминой, которую его мать называла «символом русской женщины». Сила русской женщины. Сила духа русской женщины. Терпение русской женщины. Все эти качества Ирина Галина нашла в широкоплечей крутобедрой Катерине, которую встретила совершенно случайно во время ледяной блокады. Ирина — так она рассказывала Михаилу — пошла как-то в Эрмитаж. Конечно, все произведения искусства были эвакуированы, то-есть все, что можно было эвакуировать. Остались только несколько наиболее крупных скульптур и настенные фрески. Но не искусство привлекло в тот раз Ирину Галину к этому громоздкому дворцу, горбившемуся у Невы, как крепость. Произведения искусства были вывезены в безопасные места, но это не коснулось персонала галлерей. Многие, конечно, присоединились к обороне — все здоровые мужчины, и даже такие, к которым в обычное время это определение было не применимо. Большинство женщин тоже ушли. В огромных пустых галлереях осталась только горсточка людей. То здесь, то там нацистские бомбы пробивали крышу здания,

открывая доступ снегу и льду. И в этой арктической цитадели несколько оставшихся работников несли свою одиночную вахту на случай пожара от зажигательных снарядов или на случай еще худшей катастрофы.

Был декабрь. Пайки в городе были урезаны до предела — до смертельного предела. Ленинград буквально умирал. Михаил хорошо понимал это. Каждый день тысячи людей молча поворачивались к стене и умирали — отчего? Ни один врач не приходил, чтобы выдать удостоверение о смерти. Да и зачем? Всё равно нехватало врачей, чтобы заботиться о населении города, в котором около миллиона людей жили под знаком смерти. И какой смысл был бы в выдаче свидетельства, если все они умирали от одной болезни. Назовем ее «ленинградской болезнью». Это название не хуже других.

В это время Ирина, сама изможденная, еле двигающаяся, решила идти в ледяные покой Эрмитажа. Директором, или вернее исполняющим обязанности директора, была бледная золотоволосая женщина с глазами, в которых казалось отражалось бледное золото ее волос. Ее кожа просвечивала, как пластинка воска. Этот цвет лица был обычным в те дни в Ленинграде. Она сидела в маленьком кабинете, закутанная в тяжелую шубу и шерстяной шарф. Отопления не было, температура опустилась до 10 градусов ниже нуля. Женщина не поднялась, когда Ирина вошла в комнату и устало села в кресло.

— Мы не жалуемся, — сказала она Ирине. — У нас — наша работа. Конечно, это очень тяжело. Но не тяжелее, чем каждому другому. И каждый день кто-нибудь уже не может подняться и прийти на работу.

Некоторое время две женщины тихо говорили.

— Одно огорчает меня, — говорила директор. — Мы ничего не можем поделать с профессором Гиппиус и его женой. Они всё еще здесь. Живут — если можно сказать «живут» — в крохотной комнатушке, его бывшем кабинете, в западной части галереи. Там нет отопления. Мы все от этого страдаем. Но что еще хуже — там нет и света, за исключением одного

или двух часов в день. Они сидят в темноте почти 24 часа в сутки.

Ирина прошла по замерзшим коридорам пустого музея, словно шла по каким-то горным лунным ущельям. Окна были заколочены. Кое-где проникали тонкие лучи света. Она пересекла галлерею, где крыша была пробита немецким снарядом. В потолке — зияющая дыра, а на полу вырос высокий ледяной холм.

Профессор с женой лежали одетые на маленькой железной кровати. На них были нагромождены их верхняя одежда, перина и шуба. Единственным источником света служила тонкая щель в заколоченном досками окне. Профессор невероятно смущался. Его жена лежала неподвижно, как в забытьи.

— Извините меня, пожалуйста, — сказал он Ирине, медленно поднимаясь с кровати и нервно приглаживая хохолок седых волос на лысой голове. — Мы прилегли немного отдохнуть.

— Это не место для вас, профессор Гиппиус, — сказала Ирина, как будто говорила с маленьким ребенком. — Я думаю, что за вами и вашей женой был бы лучший уход в госпитале.

Была ли возможность поместить их в больницу — это другое дело. Но Ирина не могла спокойно смотреть на этого крохотного, старого человека, одного из самых блестящих русских ученых, члена Академии с 1912-го года, лучшего специалиста в России по искусству итальянского Возрождения, или — вероятнее всего — во всем мире, и его жену — тоже исключительного ученого, не могла смотреть на то, как они опускаются в этой лачуге.

— Спасибо, Ирина Михайловна, — сказал профессор. — Но видите ли, мы совершенно не можем оставить Эрмитаж. — Ирина пыталась прервать его, но профессор поднял свою худую руку и продолжал с терпеливостью лектора, разъясняющего трудное положение.

— Видите ли, — сказал он. — Я старею. По настоящему завтра мне исполнится 80 лет. Времени осталось мало, а так много нужно сделать. Так много нужно сделать...

Он повернулся к своему столу, заваленному, как могла Ирина в темноте различить, бумагами, папками, маленькими коллекционерскими ящикиами и какими-то другими предметами.

— Боюсь, что это всё кажется ужасным беспорядком, — сказал он. — Но я сейчас работаю над каталогом моих собственных коллекций древностей — средневековых монет и медалей. Это моя вина, что они до сих пор не приведены в порядок. И никто кроме меня не может это сделать. Так что видите, это совершенно невозможно... хотя, конечно, это нелегко для моей жены...

Последние слова профессор Гиппиус сказал вполголоса, как будто стараясь, чтобы их не услышала хрупкая, истощенная фигурка, неподвижно лежавшая на постели.

Ирина молча пожала руку профессора и вышла. «Нужно что-нибудь сделать», — говорила она себе. Но что? Если профессор и его жена останутся еще несколько дней в этой свинцовой камере — это будет их конец. Пожалуй, для его жены уже началось это роковое окончательное отчуждение от мира, которое, — Ирина это хорошо знала — у всех предшествовало физическому концу.

Когда Ирина вышла из Эрмитажа и пошла по набережной, скользкой от пролитой женшинами и детьми воды из Невы, которую они возили на санках, она столкнулась с отрядом матросов. Они прошли по льду и сейчас заканчивали скалывать плотную ледяную кору, превратившую ступеньки набережной в обледенелый водопад. Матросы с подлодки «Быстрая», которая стояла у пристани в трехстах метрах отсюда, плотно затертая льдами, уже собирали свои ломы и топоры, чтоб уходить. Вдруг у Ирины блеснула мысль. Она подошла к матросам.

— Вы идете назад на свою подлодку? — спросила она.
— А ваш командир на борту?

Так начался большой проект. «Быстрая» была одним из немногих оставшихся источников электроэнергии в Ленинграде. Командир согласился, что если найдут провода, он проведет линию по набережной до Эрмитажа в комнату профессора Гиппиус.

— Немного света мы ему дадим, — сказал командир. — Конечно, дадим. В конце концов он один из крупнейших учёных нашей страны. И знаете, ничего не будет удивительного, если мы сможем дать ему также кусочек тепла. Отнесем к нему в комнату маленькую печку. У нас ее не хватается. Только где достать провода?

Достать провода оказалось не так уж трудно. С несколькими матросами Ирина пошла на фабрику, про которую командир сказал, что там должны быть провода. Это был очень холодный день. Небо заволокло, но снега не было, только жгучий ветер дул с Балтики. Когда они вошли на территорию завода, он показался им совершенно вымершим. В крыше зияли дыры от снарядов и проходы были покрыты глубоким нетронутым снегом. Дверь в корпус была открыта. Снегу намело столько, что ее попросту невозможно было закрыть. Они прошли по длинному коридору. Их шаги гулко отдавались в пустоте, а ветер как бы гнал их вдоль стен. Наконец, они нашли комнату, где заместитель директора сидел в шубе и пил из стакана какую-то бледную жидкость, которая должна была сойти за чай.

— Конечно, — сказал он. — У нас есть провода. У нас тысячи метров проводов, десятки тысяч. Но вот достать их — это дело другое. Они лежат там...

И он широким жестом руки указал куда-то, за досчатое окно.

— Они под снегом и льдом, — сказал он. — Достать их — целая проблема. Нас тут немного осталось. Мы, видите ли, сейчас не работаем. Нет электричества, нет горючего. Да и не многие из наших рабочих сильны настолько, чтобыходить на работу. Мы стараемся им помогать. Но ведь вы знаете, как всё идет.

Слова директора растаяли в пространстве и казалось, что он погрузился в размышление. Один из матросов сказал:

— Мы поможем выкопать провода. Мы за этим и пришли.

— Ладно, — сказал директор, с видом еще более усталым и измученным. — Посмотрим, что тут можно сделать. Может быть Катерина что-нибудь придумает.

Они вышли из большого здания в другое, меньшее, примыкающее к нему. В маленькой комнате оказалось около двадцати человек сидевших, лежавших на раскладушках вдоль стен. Комната была настолько мала, что тепло собравшихся там тел даже слегка подняло температуру. Молодая, широкоплечая женщина, одетая в мужской полушубок и мужскую баранью шапку, поднялась им навстречу.

— Это — Катерина Ивановна, — сказал директор. — Скажите только ей, что нужно, и если есть хоть какая-нибудь возможность это сделать — она сделает.

Ирина взглянула в спокойные голубые глаза молодой женщины. У нее было широкое славянское лицо, чуть тяжеловатое — широкий лоб, выдающиеся скулы, крупный подбородок. Она казалась усталой, беспредельно усталой, и все-таки в ней было больше жизни, чем во всех остальных вместе взятых. В ее движениях была решительность, говорившая о выдержанке и силе.

Когда Ирина рассказала ей о плане спасения профессора Гиппиус и его жены, глаза молодой женщины оттали.

— Конечно, — сказала Катерина. — Конечно же, мы достанем провода. Ваши ребята с подлодки, да двое-трое из наших. Достанем.

И они достали. Поздним вечером того же дня провода, вырытые из-под снега, были быстро натянуты вдоль набережной, прорезаны сквозь одно из заколоченных окон, и теперь Катерина и два матроса тянули их вдоль коридора к комнате профессора.

В несколько минут провода были подключены. Тогда маленькая группа подошла к комнате. Профессора не пре-

дупреждали заранее. Это должно было быть сюрпризом в день его рождения. Ирина постучала. Другие ждали с нетерпением. Ответа не было. Она постучала еще раз. Ответа нет. В страхе она толкнула дверь. В темноте ничего не было видно. Один из матросов чиркнул спичку. При ее короткой вспышке можно было различить фигуры профессора и его жены, свернувшихся на кровати. Ирина подошла ближе. Фигуры были неподвижны. Неужели они опоздали? Один матрос повернул выключатель настольной лампы и мягкий свет осветил комнату.

Катерина подошла к кровати, подсунула свои сильные руки под хрупкое тело профессора и подняла его. «Она держала его на руках, как младенца», рассказывала потом Ирина Галина. Катерина всё еще держала профессора на руках, когда он приоткрыл глаза и улыбнулся.

— Я не знаю, кто вы, — сказал он, — но если не ошибаюсь, в нашей комнатушке происходит чудо. Надеюсь, что моя Аннушка сможет еще разделить его со мной. Мы так слабы...

Он опять закрыл глаза, как закрывает ребенок в теплых, руках матери. Нет, оказалось, что не опоздали. Теперь профессор и его жена оживали под действием света и тепла, которые, как рассказывала Ирина Галина, «были подарком Катерины».

Так было положено начало глубокой молчаливой дружбе между скульпторшей и этой сильной русской женщиной, дружбе, имевшей нечто физическое в своем основании. Как теплота и сила Катерины привлекали Галину, так чистота и мужество Ирины привлекали эту более молодую и простую женщину. И когда Ирина начала работать над скульптурной группой «Конец войне», она выбрала Катерину для фигуры мстящей женщины, увековечив ее большое тело, ее повелительную сущность, мощь ее плеч и силу рук, ее крепкий торс с огромными грудями и сильным животом, ее подвижные бедра и ноги, как из дуба.

«Она — это Россия», — сказала Ирина кому-то, но кому — Михаил не мог вспомнить. «Наверно — Морозову. Мать любила с ним обсуждать свои идеи и планы».

«Вы только посмотрите на нее, — говорила Ирина. — В ней вы видите физическую силу России. Ее ноги вросли в землю. Она может одной рукой сбить человека с ног. Она может жить без мужчины, но мужчина не может жить без нее. Она могла бы выжать его досуха и отбросить. Но она этого не сделает, потому что она полна бабьей жалости. Она понимает, что значит быть мужчиной, быть маленьким, слабым, бояться темноты. И она берет мужчину на руки, кормит его и утешает. Она женщина, и она мать».

ГЛАВА 33

Самое удивительное во всем этом, — думал Морозов, — что был мобилизован весь аппарат этого мощного государства для того, чтобы уничтожить одну единственную женщину, ее идеи, ее идеалы. А ведь об этих идеях в действительности знала едва ли горсточка людей.

Морозов колебался, идти ему на службу до похорон, или нет? Наконец он решил, что зайдет на службу на минуту. По крайней мере он поздоровается с Людмилой, может быть в последний раз. Она еще не пришла и он был один в комнате на улице Герцена.

«Дело в том, — думал он, идя к окну, — что ведь скульптура Ирины «Конец войне» никому не была показана, никогда не выставлялась и никто в России не знал о ее существовании, исключая, конечно, узкий круг очень близких друзей Ирины и нескольких ее учеников».

Декрет 1946 года вызвал большое замешательство. Но привычка к послушанию была настолько прочно вбита и страх попасть на подозрение был так велик, что никто не посмел выразить сомнения насчет справедливости прошедшего. Не было никого, даже того маленького мальчика,

который закричал бы: «А ведь король-то голый!» На четвертом десятке великой революции не было никого, кто мог бы спросить: но в чем же преступление Ирины? За что она арестована? Для широкой публики ведь не существовало скульптурной группы: «Конец войне».

Каждый знал, что Ирина «что-то» сделала, но никто не знал — что? И это еще не всё. Ирина не была пламенной революционеркой. Она сильно и глубоко чувствовала, но Морозов твердо знал, что у нее не было никакого намерения, очертя голову, броситься в борьбу против партии. Когда ей стало очевидно, (он точно не знал, почему и как, но предполагал, что Ирина говорила об этой группе Жданову или кому-то другому видному партийцу), что климат для выставки ее работы неподходящий, она согласилась ждать более благоприятного времени. Она завесила свою группу полотном и оставила в студии.

— Ну, конечно же, Георгий, — сказала она ему однажды, — пока идет война не может быть и речи о выставке. Я это понимаю. Но когда пушки замолчат — тогда дело другое.

Но время выставки так и не пришло. Насколько он знал, она не показывала свою группу чужим. Нет. Это не совсем так. Он помнит одно исключение. Сразу же после снятия блокады в январе 1944 года группа иностранных корреспондентов приехала в Ленинград. Некоторые из них были в студии Ирины и она показала им свой «Конец войне».

Странный это был вечер. Какая смесь людей! Пережившая блокаду ленинградская интеллигенция, каждой профессии понемножку, — писатели, поэты, художники и даже один архитектор, как и он. Несколько военных. И Орлов был там. Были и партийцы. Иванов, майор госбезопасности, несколько редакторов и человек 15 иностранных корреспондентов, в большинстве американцы и англичане. Пили водку, шампанское, коньяк, вино, а на столах было больше еды, чем кто-либо из ленинградцев видел за три года: горы икры, огромные окорока, масло, белый хлеб, заливное из осетра, жареная индюшка, свежие помидоры (наверно их привезли на самоле-

те из кремлевских парников), пирожки с мясом — нельзяя всего перечислить. Ленинградцы ели до отказа. Журналисты выпили гораздо больше, чем обычно могли. Да и ленинградцы не отставали.

Сборище это было в Доме Ученых на Дворцовой набережной, в роскошном дворянском особняке конца 19 века. Начавшиеся тосты — водка, богатая еда, международная дружба — вызвали невозможную неразбериху. Ему вспомнилось, как один американский корреспондент — негр — войдя в расовый раж предложил «минуту молчания» в честь Пушкина. Когда это было переведено русским, как «одна секунда молчания» — замешательство стало всеобщим. Не меньше дюжины тостов было выпито за здоровье Жданова. Один подвыпивший американец — к великому смущению Ирины Галиной — предложил тост за «прекрасную гражданку Ленинграда, которая посвятила свой огромный талант крестовому походу против будущих войн». Другой корреспондент, проживший в России уже много лет, предложил по-русски тост за «тот день, когда Северная Пальмира вернет себе имперское величие». Выступали Орлов и Иванов, благодаря американцев и англичан за помощь, оказанную Ленинграду во время осады. «Когда-нибудь, — сказал Орлов, — мы отплатим вам полной мерой». Иванов был тоже радущен. К концу вечера некоторых американцев пришлось вынести на руках, а некоторых ленинградцев пришлось отнести на второй этаж, — отсыпаться.

Морозов повез Ирину домой. Было уже очень поздно. Ирина была взъярена.

— Зря я показывала иностранцам мою группу, — говорила она. — Они ничего не поняли. Я была так смущена, когда они заговорили о ней.

Он пытался успокоить ее.

— Они же не хотели плохого, — сказал он. — Это просто под влиянием выпивки. Мы сами виноваты. Нам не следовало так усердствовать и заливать водкой наших гостей.

— Нет, — настаивала она. — Не только это. Они не понимают. Это не моя борьба, не только моя. Я только средство для выражения чувств всех женщин — не только русских, не только ленинградских, а всех женщин повсюду. Эти люди ничего этого не поняли.

Насколько Морозов помнил, этот тост полупьяного американца был единственным упоминанием о работе Ирины, произнесенным публично до появления Постановления ЦК ВКП по вопросам литературы и искусства.

Услыхав, что дверь сзади него отворилась, он обернулся. Это была Людмила, — на лице ее испуг: она опоздала, он здесь и видит это.

— Простите, Георгий Александрович, произнесла она. — Мне нужно было в магазин, а там очередь.

Он шагнул к ней, быстро обнял ее и нежно поцеловал. Такое он редко позволял на службе. Людмила с легким вздохом прижалась к нему и застенчиво спросила: — Ничего не случилось, Георгий Александрович? Вам лучше сегодня?

— Гораздо лучше, — ответил он. — Я пришел раньше потому, что мне нужно уйти сегодня кое-куда. Велите Андрею идти вниз и завести машину. Я сейчас спущусь.

Он сел к столу, откинулся и тут же вскрикнул.

— О, эта проклятая львиная голова!

— А сколько раз я вам говорила.

— Знаю, знаю, надо оставить этот стул для посетителей, а себе достать другой.

— Но этот стул — символ вашей власти, и если голове неудобно, то...

— Вот, именно, — ухмыльнулся Морозов. — Поэтому идите и велите Андрею согреть машину.

Людмила ушла и он опять остался один. Он потер затылок. Давно уж он не был так неосторожен со своим львом. Ему казалось, что он слышит слова своего отца: «Это хороший урок тебе, Жорж». Отцу наверно понравилась бы эта львиная голова, и конечно, он не упустил бы случая под-

черкнуть ее значение и предостеречь, сказав, как опасна вялость, потеря настороженности и — незнание границ своей власти.

«Хороший урок. Здоровая мораль. И к тому же, — думал он, — великолепная философия для мира, в котором общество управляет более или менее прочно установленными законами. Но в джунглях, где действует закон зверя — ешь или тебя съедят — он мало пригоден». Его отец верил в революцию, верил глубоко потому, что был нравственным человеком и бесстыдное падение общественной морали вызывало у него отвращение. Он думал, что если старый мир будет разрушен, то человек сможет создать новый мир, основанный на разуме и справедливости, на уважении к человеческому достоинству. Да он и сам, — подумал Морозов, — разделял мечты своего отца, верил в них, как верили многие его современники, верил, что они помогают строить новую Россию, которая подымется светлой и пламенной из нищеты прошлого. Какое счастье, что отец не дожил до того, чтобы увидеть, как мир перевернут вверх дном, как революция во имя идеалов, превозносила ложь и ввела забитость и унижение, как избранную форму жизни.

Еduчи в машине, Андрей прислушивался к работе мотора, который, как обычно чуть захлебывался. Морозов думал, что шоферу следовало бы подарить стетоскоп. Он не видел другого такого человека, который бы так был предан хриплой, каплюющей полуразвалившейся машине.

«На Волково кладбище», сказал он. Он заметил, что это был странный день. Снег шел порывами, потом шел тонкий туман, потом выглянуло слабое солнце, как стергая монета.

ГЛАВА 34

Морозов прошел к воротам кладбища, неся в руках неуклюже завернутый в газету цветной горшок с белой азалией. Он знал, что нежный цветок будет сразу же обожжен морозом, но все же, увидев эти белые цветы в магазине, не

мог удержаться и купил их. Ирина любила азалии. В первую зиму, что они провели вместе, он достал белую азалию ко дню ее именин. Она стоила очень дорого и чтобы купить ее он продал свое французское издание Мопассана. Но он до сих пор помнил звезды, засиявшие в глазах Ирины, когда она сорвала упаковку и увидела чистые белые цветы в зелени листьев.

— Ох, Георгий! — вскрикнула она тогда и прижалась к нему лицом. — Какой ты умница! Ты знал, чем тронуть меня! — Она нюхала цветы, морща нос как собака. — Теперь всю зиму у нас будет весна, — сказала она.

У ограды кладбища Морозов увидел небольшую группу людей. Он сухо поздоровался с секретарем Ивановым. Он не ожидал увидеть его здесь, и был поражен, заметив Чайковского, главу ленинградского отдела Госбезопасности, разговаривавшего с молодым веснушатым человеком неприятной наружности. Присутствие Чайковского было больше, чем удивительно. Оно выбивало из колеи. И предчувствие беды вновь охватило Морозова.

Морозов оглядывался, отыскивая Михаила, но его не было видно. В стороне стояли деревянные носилки для гроба и около них собралось человек десять кладбищенских рабочих: старые женщины в черных платках и мужчины в грязных сапогах — очевидно могильщики.

Теперь снег повалил густо и туман стал постепенно заволакивать кладбище, укорачивая длинные аллеи, радиусами расходившиеся от входа, окутывая некой таинственностью эту вполне обыденную сцену.

Морозов только собирался обменяться несколькими вежливыми словами с партсекретарем, как Иванов повернулся к Чайковскому и к незнакомому молодому человеку. Морозов не хотел попадаться на глаза главе Госбезопасности. Он поставил свой неуклюжий пакет на землю и стал прохаживаться взад и вперед, размахивая руками, чтобы согреться. Сырой ветер пронизывал до костей и он уже начинал чувствовать озноб.

Морозов хорошо знал Волжское кладбище. Здесь была похоронена его мать и некоторые ее родные. Он вспомнил, как еще ребенком впервые пришел на это кладбище. Это было солнечное воскресенье ранней осени. Лист на березе уже позолотился, а сосны казались темнее ночи. Отец привел его сюда показать Литературные Мостки, место, где похоронено столько великих русских писателей: Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Тургенев.

— Когда я был студентом, Жорж, — сказал отец, — мы часто ходили на Литературные Мостки. Раз мы устроили демонстрацию в годовщину смерти Добролюбова. Меня арестовали и я просидел в участке, пока мой отец не пришел за мной. Другим студентам не повезло гораздо больше.

Они остановились тогда перед простой каменной плитой на могиле Белинского, и отец рассказывал ему, почему похоронили Белинского в этом отдаленном болотистом углу кладбища: он был беден, и у друзей его тоже не было денег, чтобы похоронить в лучшем месте. Один вопрос всё время не давал ему тогда покоя и наконец он не удержавшись спросил:

— Папа, а где же Мостки? Их нет...

Отец улыбнулся.

— Правильно, Жорж, я не подумал об этом. Мостков уже нет много лет. Раньше здесь протекала речка и перehодить нужно было по мосткам. Потом болото было высушено и мостки сняли.

Отец смотрел вдоль тихой аллеи. Под предвечерним солнцем тихо прогуливались люди. Некоторые сидели на скамейках, опустив над книгой голову.

— Знаешь, Жорж, — продолжал отец. — Это для тебя урок. Никогда не понимай слова слишком буквально. Иногда их значение совершенно противоположно их звучанию. Например, на Литературных Мостках нет мостков. Мы часто говорим о «Святой Руси», но не спрашиваем, почему она «святая», и если она когда-то была таковой, то всё ли еще она святая?

Будучи ребенком он не совсем тогда понял замечание отца, но позже часто вспоминал его. Как многие «уроки» отца, так и этот для него был поучителен.

Морозов любил Литературные Мостки. Раз уже перед самым концом войны, на пути из генерального штаба он неожиданно встретил здесь Ирину. Ее лицо, часто тревожное и усталое, светилось каким-то внутренним светом.

— Где вы были? — спросил он.

— Я пробыла всё послеобеда на кладбище у Литературных Мостков, — ответила она. — Просто сидела там на скамейке. Вы представить себе не можете, какой мир это принесло моей душе.

Но он видел это, видел это по ее лицу.

«Хорошо, — подумал он, — что Ирина будет похоронена здесь. Здесь она будет дома. Здесь она будет лежать рядом с теми, чьим гением живет город Петра».

Компания молодых людей вошла в ворота кладбища. Они будто только что катались в санях — щеки красные, снег на воротниках и в волосах девушек. Потом Морозов увидел среди них Надю и понял, что это наверно молодежь из Института — молодые художники и скульпторы, бывшие ученики Ирины, всегда любившие ее. Но он почему-то и не ожидал увидеть здесь, на этих похоронах, кого-нибудь из его поколения и поколения Ирины.

Надя подошла к нему. На ней была меховая шапка и тяжелый полуушубок. Морозову показалось, что она выглядит точно так же, как тогда, когда Ирина отыскала ее полумертвую на Путиловском заводе и с большим трудом выходила.

— Здравствуйте, Георгий Александрович, — сказала Надя грустно, официально протягивая ему руку.

— Здравствуйте, Надя, — сказал Морозов. — Я рад вас сегодня здесь видеть.

— Где Михаил? — спросила Надя озабоченно.

— Я не видел его с утра, — сказал Морозов, взглянув на часы. — Но уверен, что каждую минуту он должен быть здесь.

Надя хотела было отойти, но потом повернулась и зашептала Морозову:

— Вы думаете, что всё будет хорошо? Они не помешают? — Она незаметно кивнула в сторону Иванова и Чайковского.

— Дорогая Надя, — сказал Морозов спокойно, — Если бы я знал. Но я не думаю, чтобы они помешали до окончания похорон. А потом — возможно. Кто знает?

— Это я и говорила нашим студентам, — сказала Надя серьезно. — Некоторые думают, что Михаил уже арестован.

— Скоро все узнаем, — сказал Морозов. Он тоже нервничал, но знал, что сейчас ничего предпринять нельзя. Предчувствие беды, охватившее его вчера вечером, когда пришел к нему Михаил, вернулось с новой силой.

— Господи! — вдруг проговорил Морозов. Надя посмотрела по направлению его взгляда.

— Но ведь там этот ужасный Смирнов, — сказала она.

Смирнов вошел в ворота, вернее не вошел, а вломился. Он не качался, но двигался с осторожной неуверенностью человека, дошедшего до границы опьянения. Его темнозеленая фетровая шляпа, придававшая ему — по его мнению — монмартрский вид, съехала на бок. Горчичного цвета шарф мотался поверх полузастегнутого пальто и в руках у него был пучек пальмовых листьев, срезанных наверно с комнатного растения.

Смирнов подошел прямо к Чайковскому и раскинул руки с явным намерением обнять. Чайковский уклонился от объятия ловко проделанным вальсовым па, поставив солидную персону Иванова между собой и писателем.

— С добрым утром, товарищ начальник, — пробормотал Смирнов. — И доброго утра вам, товарищ Иванов.

Смирнов обернулся к третьему члену этой группы, к веснушчатому человеку. Веснушчатый ухмыльнулся и протянул руку.

— Но ведь он же пьян, — прошептала Надя. — Как он смел придти?

Она подошла к своим товарищам. Морозов видел, как все они уставились на Смирнова и на секунду ему показалось, что они готовы вышибырнуть его. Но их внимание было отвлечено во-первых прибытием генерала Орлова, высокого красивого человека в серой меховой шапке и длинной серой шинели, и сразу после него — Михаила Галина, приехавшего на грузовике с гробом матери.

Началась суета. Кладбищенские рабочие поставили гроб на носилки. Михаил беспокойно оглядывался. Его глаза успокоились только тогда, когда он увидел Надю и других молодых людей.

Снег пошел сильнее. Морозов заметил, что толпа сильно увеличилась. Большинство людей были ему незнакомы. Но он увидел старую женщину, аккуратно одетую в черное пальто и черную широкополую шляпу, определенно остатки середины двадцатых годов. Он знал, что это не то тётка, не то двоюродная сестра Ирины. Потом он узнал двух-трех художников или скульпторов. Кто были остальные, он не знал.

Морозов подошел к Михаилу и пожал ему руку.

— Всё в порядке, Михаил? — спросил он.

— Да, я думаю, — тихо ответил юноша. — Вы поможете нести гроб?

Он кивнул в знак согласия. Через минуту выстроилась небольшая процессия. Шестеро несли гроб — он, Михаил, Орлов, один из студентов, адъютант Орлова и художник Трепелов. Два могильщика, взяв лопаты с длинными черенками на плечо, показывали дорогу. Процессия пошла за ними. Одна старуха везла ручную тележку с цветами и венками. Не было похоронного оркестра, и гроб был украшен не традиционным черно-красным полотнищем, а свежими еловыми ветками.

Путь казался бесконечным. Снег всё шел, и туман так сгустился, что могильщикам приходилось останавливаться на перекрестках, чтобы определить направление. Надгробные памятники растворились в ватном тумане. Вдруг высокий мавзолей вынырнул из тумана, как черная скала в арктической пустыне. Ветви деревьев покрылись иеем, и казалось, что тропинки уходят вдали, но никуда не ведут. Морозову почудилось, что они вступили в совершенно иной мир — мир черного и белого. Черные стволы деревьев, черные надгробные плиты. Белые ветки, белые надгробные плиты. Железные решетки, окружающие неясные очертания могил. Деревья, лишенные верхушек. Неподвижный мир, лишенный жизни и единственное движение в нем — шествие к могиле. Снег на дорожках скрадывал звук, и у Морозова было ощущение, что он идет в белую пустоту. Все чувства — зрение, слух — потеряли свое значение. Он чувствовал, как деревенели его рука и плечо под тяжестью гроба. Озноб сменился жаром, пот выступил на лбу, как капли дождя на карнизе. А они шли и шли. Куда? Где конец? Знает ли хоть кто-нибудь место? Или может быть это шествие подобно жизни — нужно просто ставить одну ногу за другой, двигаясь бесконечно мимо предметов, назначения которых ты не можешь понять и названия которых не имеют для тебя значения. Движение и движение сквозь туманную завесу, которая по временам разрываясь, открывала небольшие просеки, уходившие в бесконечность. И всё еще нет остановки, хотя плечи уже разламываются, руки одеревенели и тело ослабело, а ты всё идешь и идешь, неся на плечах гроб и двигаясь за вожаком — могильщиком.

Наконец, могильщики повернули налево. Они прошли сквозь узкое отверстие в витой, окрашенной голубым, ограде и вдруг очутились у свеже вырытой могилы — желтая земля выворочена, дорожка посыпана свежим красным песком. Они опустили гроб рядом с могилой.

Морозов отошел назад. Он не имел представления, где они? Настала минута замешательства. Две студентки тихо

всхлипывали. Михаил глядел на гроб матери, как будто видел его впервые. В мозгу Морозова мелькнула мысль: никто не знает, зачем мы здесь, откуда пришли и что нужно делать. Он видел, что Иванову, стоявшему рядом с Чайковским, весьма не по себе. Чайковский казался серьезным и озабоченным. Веснущатый человек исчез. Также, очевидно и Смирнов.

Тогда Орлов — высокий, грустный, с шапкой в руке, правая рука за бортом шинели, — подошел к гробу.

— Дорогие друзья, — сказал генерал. И сразу наступила тишина, окруженная белым снегом и туманом. — Мои дорогие друзья. Мы собрались сюда для того, чтобы провести несколько последних минут около нашего любимого друга и товарища — Ирины Михайловны Галиной.

Генерал остановился, и в тишине было слышно, как одна из девушек подавила вздох.

— Мне не нужно говорить вам, что Ирина Галина была женщиной большого мужества и таланта, женщина Ленинграда, истинная дочь своей родины. Пока будет жить русский язык, ее имя будет его украшением. Но сегодня нам не нужно говорить об Ирине Галиной. История расскажет о ней. Сегодня, дорогие товарищи, нам нужно говорить о другом. Не о ней, отдавшей жизнь своей стране, своему народу и человечеству. Нам нужно поговорить о нас самих.

Здесь нет ни одного, из слушающих сейчас меня, кто не знал бы судьбы Ирины Галиной, кто не знал бы, как она погибла в бою, кто не знал бы дела, в котором она является потерпевшей стороной.

Простое красноречие генерала вызвало слезы у Морозова. Он сжал зубы, пытаясь подавить свои чувства. Он увидел Иванова, стоявшего чуть поодаль и почувствовал, что несмотря на маску, сковывавшую лицо этого жестокого секретаря партии, он тоже тронут словами Орлова.

— Дорогие товарищи, — продолжал Орлов. — Для своей славы Ирина Галина сделала все, что нужно. Но для нас эта потеря больше, чем мы можем это учесть, потому что она горела глубоким и благородным желанием — принести мир

всем людям. Ирина Галина верила в мир. Она ненавидела войну. Она ненавидела людей, создающих войны и людей, делающих войну возможной.

— Я задам только один вопрос: Ирина Галина умерла за дело, в которое верила. Что мы сделали, чтобы помочь ей? Что мы сделали? Ничего, ничего, ничего.

Генерал низко опустил голову, так низко, что подбородок вошел в воротник. Он стоял молча, а снег падал, кружась над гробом. Потом он поднял голову и заговорил так тихо, что Морозов должен был вслушиваться.

— И это — всё? И смерть Ирины Галиной была напрасна? Наш ответ сейчас — нет, нет...

Слезы блеснули в глазах генерала и медленно скатились по его щекам. Потом он отступил и надел шапку, даже не смахнув снега, нападавшего на волосы.

Слова генерала тронули Морозова. Это был какой-то слабый отклик прошлого, как будто когда-то, в прежнем воплощении Морозов сам произносил эти слова. Вдруг он понял, что это было. Сознательно, а скорее и подсознательно, генерал повторил знаменитые слова Чернышевского на похоронах Добролюбова, слова, которые были произнесены всего несколько шагов отсюда, слова, бывшие призывом к наступлению, призывом к оружию поколения людей прошлого столетия, сделавших первый шаг для свержения в России старого режима.

Морозов честно не знал, согласен ли генерал со всем, что он сейчас говорил. Он поставил вопрос очень мягко. Он говорил, соблюдая свою обычную склонность в словах. Но он также ясно, как Чернышевский, определил, кто виноват в ирининой смерти, определил глубину ее веры и призывал к действию.

Морозов подошел к генералу и молча взял его за руку. «Орлов, — подумал он, — я горжусь тобой и счастлив стоять рядом с тобой».

Выступил один из студентов. Он был в потертом темно-синем пальто, в руках у него была студенческая фуражка.

Его светлые волосы были длинны и спутаны. Его лицо было таким же худым, как у Михаила и такой же ястребиный взгляд. Он встал рядом с гробом и начал нараспев декламировать.

Морозов взглянул на Надю. Всё ее внимание было устремлено на молодого оратора, руки сжаты на груди, глаза широко раскрылись и округлились. Молодой Галин стоял рядом с ней. Во всей его фигуре, в повороте его плеч было что-то защищающее ее.

Что декламировал молодой человек? Морозов прислушался. Ну, конечно — «Балладу о составителе плакатов» Максима Воронского, одно из его неистовых произведений раннего революционного периода. Поэма не нравилась Морозову. Он хорошо помнил Воронского на эстраде большого зала на Литейном проспекте. Вскоре после возвращения Ирины из Парижа он взял ее с собой послушать чтение стихов Воронского. Раньше она его не слышала. В эту ночь Воронский был весь пламя. Волосы разевались, как грива, глаза сверкали. Он гордо выступал по сцене, позировал, шутил, смеялся, рисовался, играл с толпой, как укротитель на арене с львами. И конечно, «Баллада о составителе плакатов» была гвоздем этого вечера.

«Сорви плакат со стены
 И под ним найдешь слова
 Врезанные в камень.
 Сожги эту бумагу, и едкий дым
 Будет долго держаться в твоих ноздрях.
 До могилы.
 Изорви бумагу и клочки развеяй по ветру,
 И через тысячи лет
 Ее обрывки еще будут засорять берега истории.
 Я — составитель плакатов. Мои орудия — бумага и слова.
 Преходящие ценности, уносимые ветром.
 Но никому не избежать их влияния.
 Я только составитель плакатов. У меня нет ружья, нет
 оружия.

Мои пули отлиты из бумаги. Они не ранят простых людей.
Но — милостивые государи — вам я не солгу —
Мои слова могут сдвинуть горы,
Могут разрушить империи, и убить царей».

Зал тогда совершенно сошел с ума, когда Воронский выкрикнул эти последние слова. И Морозов почувствовал руку Ирины, как стальные клещи на своей руке. Целую неделю потом на руке оставались отпечатки ее ногтей. Она кричала: «Бис! Бис! Браво! Браво!» и кричала так, пока не охрипла.

— Ах, Георгий, — кричала она, обращаясь к нему. — Какая сила! Какая власть! Он потрясает до глубины.

Юноша кончал свою речь. «Я — составитель плакатов. У меня нет ружья, нет оружия», — и Морозов почувствовал, как волосы зашевелились на его голове. Ему не нравились стихи. Сказать правду — он не выносил их. Но слова Воронского пахли революцией, и выкрикиваемые молодым голосом этого молодого, горящего страстью человека, выкрикиваемые над могилой Ирины Галиной в этот странный день, когда туман и снег отрезали этих людей, как остров от всего мира — эти слова вливали бодрость в человека.

— Боже мой, — думал Морозов. Это же звучит, как объявление войны. И война готовится. Он взглянул на Иванова. Секретарь партии стоял как каменное изваяние, и Чайковский был его близнецом.

Юноша окончил поэму. Наступила тишина. Морозов услышал какое-то рычание в группе людей, стоявших по ту сторону могилы. Это был откуда-то взявшись Смирнов. Он выглядел еще хуже, как будто он сделал еще несколько глотков из бутылки.

— Пропустите меня, — бормотал Смирнов нечленораздельно. — Пропустите меня, у меня стихи. Пропустите.

У Морозова по спине пробежала дрожь. Орлов весь напрягся. Но голос Смирнова был срезан на полуфразе. Морозов видел, как веснущатый человек шагнул к нему, взял его за

плечи и что-то сказал ему на ухо. Бог знает, что это могло быть, но лицо Смирнова побледнело и он отступил.

«Пора бы и мне сказать слово, — подумал Морозов, но я не знаю, что сказать, кроме того, что единственная женщина, которую я любил лежит сейчас неподвижная и холодная, навсегда умолкшая в этом простом деревянном ящике, поставленном на свежевырытую землю». Он продвинулся вперед к небольшому кольцу людей, охватывавшему могилу. С минуту он постоял молча. «Как бледны их лица, и как их здесь мало; как мало тех, кто знал Ирину, любил ее, кого она любила; как мало тех, кто пришел побывать с нею», — думал Морозов.

— Дорогие друзья, — начал он. — Я скажу всего лишь одно слово. Я полюбил Ирину Михайловну с первого дня, когда я увидел ее юной петербургской девушкой задолго до того, как война и революция изменили наш город и нашу родину. Всю мою жизнь я любил Ирину Михайловну, и эта любовь придавала смысл моей жизни. В нашей Северной Пальмире много красот, но одна Ирина Галина. Ее смерть набрасывает тень на нас всех, а моя жизнь — пуста и кончена».

Морозов остановился. Ему показалось, что он не сумел выразить всего, что было у него на сердце. В его сердце стоял золотой образ Ирины. Он видел ее бегущей, в тот первый день их встречи, по усыпанной листьями аллее Летнего сада. Он видел ее, как они играли на берегу моря в Ревеле, как она шла по воде, подобрав свою розовую юбочку. Он всё еще чувствовал мягкую теплоту ее тела в своих руках, видел ее медленно открывающиеся глаза и глубокие тени под ними; видел ленивые движения ее рук, словно потягивался бело-рыжий кот. Но он видел и пламя ее глаз, гневное вздрагивание ноздрей и ее слова еще раздавались в его ушах, когда она рассказывала, как бомба упала у больничной стены, и колотила кулаками по его груди, в исступлении клянясь, что если нужно, она отдаст свою жизнь для того, чтобы прекратилось это вздорное, скотское истребление человека человеком.

Что еще мог он сказать? Как мог он уложить всю многосторонность жизни в несколько фраз? Как выразить словами мечту или страсть? Он почувствовал, что он уже довольно долго молчит — но, как долго — он не мог бы сказать.

— Простите, — сказал он. — Я не знаю, что нужно говорить об Ирине Галиной. Мне кажется, что ее жизнь была как ртуть, которая сверкает и движется быстрее, чем глаз может схватить или ум — подумать. А теперь ртуть — ушла... Простите...

Морозов закрыл глаза рукой. Он не мог иначе. Всё было ужасно и он даже не сказал того, что обещал Ирине сказать — что она пережила войну и умерла, борясь за мир. Как плохо он говорил, и как ему нехорошо. Может быть это начало болезни? И вдруг впервые он осознал, что Ирина ушла, что он больше никогда ее не увидит — и с этим ощущением ему показалось, что мир погружается в какую-то темноту.

Теперь говорил Михаил. Он глубоко засунул руки в карманы своего поношенного полушубка. Морщины усталости расчертили его лицо. «Выступающие скулы, тонкие губы и обветренное лицо сделали его похожим на индейца со страниц Фенимора Купера», — думал Морозов.

— Моя фамилия Галин, — говорил Михаил, — я горжусь моим именем потому, что это имя моей матери, Ирины Галиной, и я горжусь своей матерью. Она умерла далеко от города, в котором родилась, которому отдала всю свою жизнь. Она верила в мир. Она умерла за мир. По-настоящему ее имя уже означало мир. Вы пришли сюда, чтобы почтить ее, на это любимое ею место. Как сын Ирины Галиной я благодарю вас.

Михаил оглянулся. Все стояли молча. Тогда два кладбищенских рабочих неслышно подняли гроб и начали опускать его в могилу. Михаил нагнулся и бросил на гроб горсть земли. Надя сделала то же самое. Стали подходить и другие к краю могилы и бросать горсти земли, а могильщики уже быстро работали лопатами. Комья земли гремели о крышки гроба. Потом их грохот прекратился и могила сравнялась с землей.

Люди с лопатами насыпали холмик над могилой и отступили, утирая пот и опираясь на лопаты.

Снег покрыл свежую землю. Какая то старуха украшала могилу еловыми ветками и венками. Белая азалия неземным великолепием сверкала на снегу. Студенты принесли с собой несколько красных, синих и желтых бумажных цветов, которые они разбрасывали между еловыми ветками. Получился полевой ковер. Адъютант Орлова осторожно положил в самую середину богатый венок из искусственных лавровых листьев с красной лентой, на которой Морозов с удивлением прочел латинскую надпись: «Semper Fidelis».

Надя развернула свой пакет из газетной бумаги, который она всё время держала под мышкой и вставила в центр венка небольшую картину. Это был рисованный углем этюд ирининой скульптурной группы «Конец войне», сделанный или самой Ириной, или, может быть, Надей. Морозов не мог определить по стилю, кем, но это был замечательный этюд, в смелых резких линиях выразивший жуткую концепцию Ирины.

«Ну, теперь всё кончено», — подумал Морозов. Он оглянулся вокруг. Присутствовавшие уже начали расплываться в белизне снега и тумана. Он видел, как высокая фигура Орлова двинулась вдоль дорожки в сумрак пространства, и повернулся, чтобы последовать за ним. «Хотелось бы переброситься с Орловым несколькими словами, — подумал он. — Надо бы поблагодарить его, он сказал то, что нужно было сказать об Ирине». Морозов поднял воротник и ниже надвинул шапку. Становилось холодно. Снег шел гуще, чем раньше. Он с трудом различал Орлова впереди в конце длинной аллеи.

Харрисон Солсбери
перевод Тамары Петровской

**
*

*Я во сне и наяву
С наслаждением живу.*

I. O.

В чужой стране, в чужой семье,
В чужом автомобиле.
Причем тут я?
Ну, да, конечно, было, были
И у меня:
Моя страна, моя семья,
Наш дом,
И собственный мой черный пудель Крак.
Все это так.

Зато потом
Всплеск слез и разрушенья пыль —
Давно наскучившая быль
Рассказ о нас
Раздавленных колесами
Истории.
Не стоит вспоминать о том
Что было,
было да прошло,
И поросло
могильным лопухом.

Хрустальный воздух Пиреней.
Все простодушней, все нежней
Вздыхает сердце.

На снежной высоте
Двухтысячметровой
Жизнь кажется волшебно-новой,
Как в девятнадцать лет
На берегах Невы.
Совсем не той,
Что там внизу
В Французской Пятой
Республике.
В тревожный час заката
Как тихо здесь.

И как светло.

Поднявшись со скалы орел бесшумно
Летит еще куда-то ввысь,
Должно быть к Божьему престолу.

— Мгновение остановись!..
Нет лучше — Время покатись
Обратно, вспять, назад
В Россию,
в юность,
в Петроград!
Не приказание, а слабый вздох,
Вздох сердца
Банальнейший, лишенный соли-перца
И магии:
Конечно,
Моя страна, моя семья,
Мой пудель Крак
Не возвратится мне никак.

Я не многострадальный Иов,
Который снова стал богат,
Богаче прежнего в сто раз.

Не будет у меня, как у него,
Ни дочерей, ни сыновей,
Ни слуг покорных,
Ни рощ оливковых,
Ни виноградников,
Ни аравийских скакунов,
Навьюченных верблюдов и ослов
Ни драгоценностей библейских...
Не будет даже канарейки,
Герани на окне, зеленої лейки
И рыбки золотой —
То, что доступно каждой швейке —
Не будет ровно ничего,
И никого.

И всетаки —

Хоть это странно до смешного —
Сама не знаю отчего,
Своей судьбе наперекор,
Наперекор потерям и разлукам,
Наперекор хождению по мукам,
В чужой стране, среди чужих людей,
Попрежнему
Во сне и наяву
Я с наслаждением
живу.

Ирина Одоевцева

ТВОИ ПОХОРОНЫ

Сирень провожала тебя,
Твоя молодая, седая,
Расцветшая в поздние сроки
Холодной неспорой весны.
Все та же седая сирень,
Какой ты ее увидал,
Какой ее нам подарил
В своих торопливых строках
Божественно-шероховатых.

Сирень провожала тебя
Разросшейся горечью веток
Седых, сучковатых, корявых.

Не темным соцветьем махровым,
А бледной, почти голубой
Бессмертно-продрогшею кистью
С затеком ночного дождя.

Все было, как ты увидал
Давно, когда был молодым
И молодо было столетье,
И выжкал потом на бумагу,
И жадно бумага пила
Во здравие, в силу и свет
И в новое вечное утро.

ИЗ ОКНА ВАГОНА

Вот станциошка
И городок.
Бежит речушка,
Стоит прудок.

Вот храм бескрестный
Под петушком.
Вот Вульворт местный,
Почтамт с флагком.

Сей пуританский
Речной пейзаж —
Заокеанский,
Не наш, не наш.

Тут склон сбегает
Другой дугой
И клен шагает
Другой ногой.

Вот только ивы —
Как вздох души...
Да где же ивы
Не хороши?

*

Клянусь четой и нечетой...
Пушкин

Клянусь сереющей водой
И рябью мраморно застывшей,
Клянусь любившею душой,
Клянусь душою разлюбившей,

Пока не свалят на покой,
Пока рукой к перу тянусь —
В высокой верности клянусь
И ремеслу, и мастерской.

O. Анстей

ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК

«Весной тетеревов глухое бормотанье...»

Слышали ли вы когда-нибудь весной на заре, или даже по вечерам, это глухое, доносящееся откуда-то издали тетеревиное бормотанье? В некоторых местах России апрельскими вечерами им бывает иногда наполнен весь весенний воздух. Но тетерев самец «бормочет» не только весной, когда у него просыпаются половые инстинкты, а зачастую и осенью, когда он просто нуждается в присутствии около него подруги.

Весеннее же бормотанье тесно связано с возбуждением самцов и сопровождается их токованием.

Тетеревиный ток — большое событие весной для человека любящего природу, не говоря уже об охотнике. Если хотите получить о нем представление нужно, чтобы перед вашими глазами встало очертание тетерева. Птица величиной с небольшую курицу. Самка — скромной однообразной коричнево-пятнистой окраски. Самцы резко отличаются от самок. Самец тетеревов принадлежит к числу самых видных, я бы сказал, почетных представителей птичьего населения России. С роскошным хвостом, в распущенном виде напоминающем лиру, весь черно-синий (отсюда название «черныши»), с ярко-белым исподом крыльев, с такими же на них белыми небольшими полосами, с пучком ослепительно-белых перьев под хвостом, что еще ярче оттеняет напряженную черноту общей окраски.

Официальное книжное название описываемой птицы: «полевой тетерев», но нужно сказать, что в настоящих полях она никогда не живет. По своей природе эта птица мелко-

лесья, сплошного крупного леса она не любит, а всегда выбирает места, где лес перемежается с большими открытыми пространствами, вырубками. В Средней России тетерев предпочитал жить или в моховых болотах, или в так называемых «пустоشاх», обширных незаселенных, пустующих пространствах, испокон веков служивших крестьянскому населению для покосов. В этих пустоشاх, раскинувшихся в иных районах на многие сотни квадратных верст, крупный лес встречается лишь в виде отдельных небольших островов, остальное же пространство занято кустарниковыми зарослями, чередующимися с чистыми луговинами, местами сильно заболоченными. Только во время покоса пустоши эти оживляются, в остальное же время года они совершенно пустынны и делать в них крестьянскому населению нечего. Такие же открытые пространства, лишь отчасти заселенные и выбирают черныши для своих токов, ищут для токовищ «чистые» места: лесные опушки, прогалины, закрайки моховых болот.

Охота за самцами тетеревами на токах дело далеко не такое простое, как охота, например, за вальдшнепом на тяге. Для большинства городских охотников она даже прямо-таки недоступна, или во всяком случае бывает связана с большими трудностями. Впрочем, даже и охотник живущий в деревне и хорошо знакомый с местностью, далеко не всегда может побывать на хороших тетеревинных токах. Для этого нужно, чтобы эта местность изобиловала тетеревами, а кроме того до места тока при весенней распутице нужно ведь добираться только пешком. Словом, охотник должен потратить иногда не меньше трех-четырех часов, чтобы только добраться до токовища, да столько же времени потратить на обратный путь. Кроме того предстоит всегда провести ночь без сна, скорчившись, как говорится «в три погибели», в шалаше, а подчас под дождем, и во всяком случае на такой сырости, что ваша одежда промокнет насеквоздь. Не нужно, кроме того забывать, что в начале весны по ночам бывают зачастую и настоящие заморозки. Словом, нужно быть настоящим охотником, чтобы побывавши на связанный с такими трудностями

охоте, возьмет еще раз желание на нее отправиться. Вот почему любители природы, но не охотники, с таким увлечением ходившие на тягу вальдшнепов, почти никогда на тетеревиных токах не бывали. Скажу прямо: те из моих друзей, которые побывали со мной на току, на мое предложение пойти еще раз отвечали уклончиво, хотя и не упускали случая в восторженных выражениях рассказывать о вынесенных ими впечатлениях. А деревенский обитатель, никогда на току не бывавший мог утешаться тем, что издали слышал по вечерам, доносящееся из местности, окружающей токовище, непрерывное «глухое бормотанье». Разумеется это вечернее бормотанье тетеревов еще не ток, а только преддверье тока. Влюбленный тетерев-черныш не в состоянии сдержать себя и начинает петь свою несложную, но чрезвычайно своеобразную любовную песнь задолго до того, когда он полетит на токовище. Эта песнь очень своеобразна, но если хотите, не очень мелодична. Ее можно сравнить со скрипом вдалеке едущей несмазанной телеги, и все же скажу не преувеличивая — это тетеревиное бормотанье одна из самых замечательных, самых звучных песен весны. Эту оригинальную «песню» слышно на расстоянии нескольких верст. Она проникает всюду, заполняет каким-то мистическим лепетом всю весеннюю атмосферу. От этого, казалось бы, столь примитивного, неопределенного и вместе с тем волнующего душу гула никуда не денешься, никуда не уйдешь. Он неумолчно, неотвязно стоит в ушах.

Живя в центральной России охотник редко имел возможность побывать на хороших тетеревиных токах. Обычно на ток в этом районе слетается не больше четырех-пяти чернышей. Только на глухих окраинах средне-русской равнины изобиловавшей лесной дичью в мое время не были редкостью тока, на которых подвизались несколько десятков тетеревов. Мне не раз удавалось побывать на таких токах и, смею уверить, что вынесенные впечатления сохраняются в душе, как одни из самых сильных переживаний.

Теперь перенесемся в один из глухих участков Вологод-

ского края («Зыри белоглазой») и пойдем вместе с моим опутником, местным крестьянином-полесовщиком до места тока. Апрель. Холодно — кругом полная распутица. Добираетесь до места тока: усталый, грязный, мокрый до пояса. Что вы хотите? Везде пришлось «месить грязь» и шагать по «свежим водам». Местность изобилует тетеревами и мой спутник, который и сам собирается принять участие в предстоящей охоте, рассказывает чудеса о токовище, на которое он меня привел. «Этого добра тут на всех хватит», небрежно бросает он, кивая на ближайшую лесную опушку.

Тетерева будут токовать на заре и нам предстоит ждать тока всю ночь. Привел себя в относительный порядок (опыт научил всегда захватывать с собой в таких случаях сухую рубаху и штаны). Осмотрелись, отдохнули на опушке березовой рощи, перекусили, и я залезаю наконец в заранее построенный примитивный шалаш, т. е. попросту говоря, в берлогу насекоро «сварганенную», как выражается мой полесовщик, из еловых сучьев. Устраивавший ее отнюдь не думал о том, чтобы доставить охотнику мало-мальски сносное убежище на ночь, а заботился лишь, чтобы сделать его незаметным для тетеревов. Я довольно долго вожусь в своем шалаше, стараясь устроиться так, чтобы всё кругом видеть впереди себя, а самому оставаться незамеченным. Но это не так-то просто. Кроме того ночь ведь предстоит нелегкая: время холодное, пронизывающая сырость кругом, и в воздухе и на земле, а сидеть во время тока придется неподвижно. Подождав пока я окончательно обоснулась в своем убежище полесовщик одобрительно кивает головой и уходит, чтобы идти устраиваться самому в таком же шалаше на противоположном конце поляны.

Ну вот наконец я и один. Перед моими глазами раскинулась обширная, сильно заболоченная, покрытая кочками и обомшелыми пнями, старая лесная вырубка, поляна поросшая кое-где редким кустарником и переходящая чуть-чуть дальше в моховое болото, с его характерными корявыми кар-

ликовыми сосенками. По обеим сторонам поляны высится березовый лес-«дровяник», как его здесь называют.

Весна еще плохо чувствуется. Солнце довольно высоко, но уже легкая весенняя прозрачная голубая мгла нависла над землей. Небо облачное, но светлые последние лучи приближающегося солнца лежат и на его синеве и на облаках... Весенняя жизнь еще не успела войти в колею. Правда, идя на ток я наслаждался везде пением жаворонков, откуда-то доносился веселый разговор синиц, щебет какой-то мелюзги. Но здесь, в лесу еще тишина. Разве только временами прозвучит веселое, короткое пенье, недавно прилетевшего с зимовки зяблика. Зато с чистины, что развернулась передо мной несутся неумолчные птичьи крики. Это обеспокоенная моим появлением чета чибисов (у них уже где-нибудь на кочке яйца) кружится над луговиной в своем, я бы сказал, довольно неуклюжем полёте и всё время с тревогой кричит.

Но вот солнце село и всё быстро стало окутываться сумеречной поволокой. Наконец и вовсе стемнело, и только лужа на закрайке мохового болота еще светится, словно живым серебром в надвигающейся ночи. Теперь остается набраться терпенья, собрать себя, ждать рассвета, а пока смотреть и слушать, чтоб не задремать. Но смотреть тоже — не на что: место будущего тока еще пустынно.

В это раннее начало весны лес вообще мало оживлен, а сейчас с заходом солнца и вовсе затихает. Изредка над шалашом пронесется мягким, неслышным, порхающим полетом болотная сова, испуская свои короткие крики, да где-то вдали громко, жалобно заплачет иногда, как ребенок, заяц-русак. Да вот, кстати, и сам он, почти перед шалашом — присел беспокойно, повел ушами и сразу же исчез.

Но если лес молчит, зато с соседнего болота начинают доноситься какие-то залихватские звуки — это токует бекас. Сколько раз я слышал его своеобразную весеннюю «песнь», которую бекас с азартом и упоением распевает, всегда прямо-таки в подоблачной вышине, — и все же с наслаждением я слушаю и сейчас. А вот и сам певец... Откуда-то совсем

близко от шалаша, с закрайки болота внезапной пулей взрывается эта птица и забираясь все выше и выше в небо, еще достаточно светлое, чтобы разглядеть в нем ее силуэт, начинает выделять в воздухе такие петли, что залюбушься. Во время своего полета эта токующая птица издает короткие быстро чередующиеся звуки за которыми следует совершенно необычная для птиц продолжительная рулада, похожая на блеяние барана. Замечу, что эта непередаваемая рулада не имеет отношения к голосовому аппарату птицы, а происходит от характерного ее полета. Во время токования птица время от времени бросается вниз и производит благодаря сильному колебанию своих хвостовых перьев этот звук напоминающий блеяние.

В ранние весенние вечера — земля еще почти безмолвствует, а небо над вами темное, беззвездное, полное звуков и именно там в небесной вышине сосредоточена вся мистерия весны. Сейчас каких только звуков не доносится оттуда! Поэты уверяют, что звездное небо говорит голосами своих созвездий. Но эти переговоры звездных миров редко кто из обыкновенных людей слышит. Сейчас же в апрельские вечера всякий убедится, что все небо не только говорит, но прямо-таки ликует переполненное весенней влюбленностью. Нужно только уметь слушать. Впрочем даже тот, у кого есть это уменье, далеко не всегда сможет разобраться в том хаосе ликующих звуков, доносящихся с небесной вышины от возвращающихся птиц. Вот где-то зычно гогочет, пролетающий на родной север, косяк серых гусей. Вот кричит цапля. Но тон в этом разноголосом заоблачном концерте задают кулики и утки. Их десятки пород и каждая порода кричит по-своему. Откуда-то с неба несутся возбужденные птички переговоры, кряканья и на все лады свист. А пролетающие сотенные стада разнообразных куликов: больших и малых!.. Боже, какой содом поднимают они в весеннем небе, в небесной вышине.

Но вот всё смолкает. И на небо и на землю сходит полная, прямо жуткая тишина. Небо меня не беспокоит, но безмолвие леса начинает волновать. В самом деле, а где же тете-

рева? И вдруг, словно в ответ откуда-то из ближайшей рощи начинаются характерные звуки тетеревиного бормотанья, которые я с таким нетерпением ждал. Всё ваше существо сразу начинает тянуться в сторону этих еще разрозненных, несмешливых, но уже чарующих звуков. Но странное дело, эти глухие звуки тетеревиной песни в непосредственной близости вовсе не кажутся более отчетливыми, более громкими, чем когда они доносятся откуда-то издали, подчас за добрую версту от тока. «Вот оно, начинается», мелькает в голове и начинаешь напряженно всматриваться в окутанную туманом поляну, на которой ждешь появления чернышней. Но их нет, и бормотанье еще продолжает звучать нерешительно. Нет, ток еще начнется не так скоро и доносящиеся бормочущие звуки, скрывающиеся в лесу тетеревов, это еще только прелюдия к току.

Уже опустилась ночь: сырая, холодная, неприютная. Кругом — полное безмолвие, полное спокойствие. Природа словно заснула. Но спокойствие это кажущееся. Умостившись поудобнее в своей берлоге, прислонившись головой к одной из суковатых коряг, из которых она смастерена, я засыпаю.

Даже в таком неудобном положении спал я довольно долго и наверное спал бы еще, если бы меня не разбудило какое-то подсознательное чувство, работающее даже во сне, словно шепчущее: «пора». И действительно наступала давно жданная минута. Ночь уже не молчала. Весь соседний лес не только наполнялся сейчас мистическими звуками тетеревиного бормотанья и движением, но весенняя песня чернышней шла теперь отовсюду. И в эти предутренние часы она звучала совершенно иначе, чем вечером: в ней чувствовался сейчас настоящий азарт, настоящая страсть. К бормотанью теперь присоединился чрезвычайно характерный добавочный, часто повторяемый звук, который охотники определяют как «чуфыканье». Термин звукоподражательный. Это протяжное, часто повторяемое, азартное «чуфы» — от которого охотника положительно пробирает дрожь...

Мало-по-малу это чуфыканье начинает становиться главным в песне токующего тетерева: бормотанье, чередующее-

еся с чуфыканьем несется теперь уж не только из лесу, но и с раскинувшейся перед шалашем лесной вырубки. Да, там уже идет ток. Вглядываясь в нависшую над этой вырубкой предрассветную сырую мглу, я начинаю различать на ней движущиеся очертанья тетеревов. Да, это черныши и сколько их! Они пересекают сейчас поляну во всех направлениях, то медленно с остановками, то как-то лихорадочно быстро. К сожалению вся эта картина развертывается сейчас на довольно значительном расстоянии от шалаша, и она еще лишена отчетливости. Но время идет, начинает светать, движения то-кующих тетеревов становятся все более и более резкими. Птицы входят в раж. Глаза неустанно прикованы сейчас к этим движущимся в предутреннем тумане очертаниям десятков птиц. «Какая досада, что они так далеко», мелькает в голове.

И вдруг, перед самым шалашом, как-то совершенно неожиданно появляется красавец тетерев. Сразу не отдаешь себе даже отчета. Откуда он взялся, как сюда попал: лётом, или бегом? Всё внимание, скажу больше — всё ваше существо сосредоточено на этой словно вынырнувшей из мглы роскошной птице. Как он хорош — черныш в это время года. Чтобы судить о красоте петуха-тетерева нужно видеть его живого именно весной. Летом черныш красив, слов нет, но его оперение только с приближением весенней поры тока становится таким напряжен-но ярким, что этой птицей нельзя не залюбоваться. Металлические тона глубокой синевы груди как-то оживаются, пучок перьев под хвостом получает особую блестящую белизну. Надбровья на голове наливаются и становятся напряженно красными. Словом, весенний тетерев-черныш, при всей, казалось бы, скромности своего оперения становится положитель-но красавцем. Да, вот что делает весенняя влюбленность. Я с восторгом смотрел на появившуюся перед моими глазами птицу, следя за всеми ее движениями. Красавец-черныш сперва медленно с достоинством передвигался по поляне, гордо подняв голову, словно рисуясь своей красотой, а потом вдруг тоже как-то неожиданно вошел в любовный азарт. Он опустил голову вниз, припал телом к земле, поднимает вверх

роскошной лирой свой хвост, взъерошивает перья на шее и чиркая и ударяя, как индюк по земле моховыми перьями своих широко расставленных крыльев, начинает азартно описывать по поляне круги, перед моим шалашом, издавая непрерывно страстное бормотанье и чуфыканье. Как зачарованный, боясь перевести дыхание, наблюдаю я за этой чудесной птицей, настоящим олицетворением весны в природе.

Появление на моем участке первого черныша — словно сигнал и для других. Через минуту-две, сюда же прибегает второй, а за ним прилетает третий... Мало по малу добрый десяток чернышней сбегаются и слетаются со всех концов токовища на ближайший ко мне участок поляны. Сейчас ток явно перемещается почему-то в мою сторону. И я сам проникаюсь его настроением. Вероятно токующих птиц отогнали с противоположной стороны токовища выстрелы полесовщика, который не теряет времени и уже начал свою промысловую охоту. Вскоре изумительное зрелище развертывается перед моими глазами. Вся луговина наполняется совершенно своеобразным движением и не менее своеобразным шумом. В еще неверном свете забрежжевшей зари вся она положительно пестреет черно-белыми очертаниями двигающихся по всем направлениям чернышней и во всевозможных позах. Одни топчутся на месте, чванно и задорно топорщась, временами подскакивая и подпрыгивая на месте. Другие яростно наскакивают друг на друга, третьи торопливо, полулетом пересекают поляну, стремясь принять участие в драке, которая местами переходит в настоящую свалку. Дерущиеся черныши сцепляются друг с другом с таким ожесточением, что летят перья. Впрочем не все черныши дерутся. Некоторые из них расхаживают по кочкам, оглядываясь во все стороны, вытянув вверх шею. То ли они просто осматривают происходящее, то ли выискивают «под шумок» в траве и в кустах самку «подобратнее».

Я боюсь шевельнуться. Предосторожность, вообще говоря, не лишняя, но с другой стороны нужно сказать, что азарт токующих тетеревов, когда они войдут в раж, доходит

иногда до того, что они уже ни на что не обращают внимания. Рассказывают, что если схватить одного из дерущихся чернышней (нередко они приближаются вплотную к шалашу), то его противник продолжает иногда атаковывать соперника, которого охотник держит в руках. У тех, кто видел хороший тетеревиный ток (особенно в районах, могущих претендовать на «страну непуганных птиц», по красочному определению моего друга писателя Пришвина), эти рассказы сомнения не возбудят. Впрочем, кто из охотников не подтвердит, что если на разгоревшемся хорошем токе стрелять по чернышам, то ток будет продолжаться — тетерева даже временно не покидают токовища.

Может быть, кто-нибудь спросит, почему же я ни словом не обмолвился о тетеревиных самках? Да просто потому, что в развертывающейся перед вами картине тетёры играют совершенно второстепенную роль. Их почти никогда вы даже и не увидите. Сидят где-то, притаившись и дожидаясь своей очереди в происходящем «действии». Вы слышите только время от времени их голоса, какое-то гнусавое жалобное хныканье. Оно характерно для представителей тетеревиного слабого пола при всех обстоятельствах их жизни, но весной робкие голоса тетёр звучат как-то особенно беспомощно. Впечатление, что не самец добивается самки, а наоборот: тетёры его упрашивают.

Прозябший до костей, дрожа так, что зуб на зуб не попадает, но счастливый, возбужденный я покидаю на заре места тока. Да, скажу еще раз — зрелище это единственное, особенно если токут много тетеревов.

К. Н. Давыдов

В З В Е З Д Ы

Космонавту

От темной плоскости отпрянув
Ты в ночь полярную врастешь,
Где по гигантскому экрану
Алмазный вычерчен чертеж.
Ты в миллионах лет потонешь,
Тебя покроет глубина.
Балетом солнечных фотонов
Пустая даль ослеплена.
Кометы брызжут, пролетая,
Метеоритами пыля...
Сияет Божий планетарий,
Вращая звездные поля.
Конца и краю ночи нету,
Верченью огненных колес,
И темные текут планеты
Сквозь золотистый ливень звезд.

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ПОЛОТНА

Здесь плеск весла, как стук кареты,
Весна наядой на волне.
Веселым старцам Тинторетто
Привольно жить на полотне.
Пусть нрав у старцев неразумен,
Зато румянец детски свеж...
Здесь Возрожденье, как Везувий
Клубится складками одежд.

Переглянувшись с хрустальми,
Помчался в пляске хоровод,
Лозою Вакха заслоняясь
От всех напастей и невзгод.
Стекло дрожит прозрачной дрожью,
Зеленым отблеском горя.
Резвятся подданные дожка —
Большие рыбы на морях.

ГАЗЕТА

Газета от влажного ветра сыра,
Водой океанской веет,
Зевая газету читают с утра
Кофейные люди в сабвее.
Тяжелые лица. Нью-Йоркская быль,
Бруклин, Гарлем и Манхэттен...
Ветер уносит с губ, как пыль
Свинцовый налет газеты.
Тяжелые штампы жирных полос,
Горячие всхлипы металла.
Плывет, колыхаясь, газетный киоск
По солнечной ряби кварталов.
Газета всю слизь портовую взяла,
Дуреет от грязи и крови,
Газета шипит от угла до угла
Клубком уголовных хроник.
Газета прошла по тысячам рук,
По сотням кварталов крикливых,
И ставит клеймо зубастый каблук
На лицо холливудской дивы.
Газета пропитана липкой жарой,
Заряжена бурей газета,
По Тридцать четвертой, по Сорок второй
Проходит нью-иоркское лето.

У ветра — хватка, у ветра — злость,
 Он крутит газетой рваной,
 Ветер газету проносит насквозь
 До самого океана.
 До сумерек летних, до первых огней,
 До буйков рябовато-красных,
 И мокнет газета в воде пристаней
 В лиловатых разводах масла.
 Газета уже не в силах кричать,
 Не плещется грязным флагом.
 Газету уносит отлив. Печать
 Сведена океанской влагой.

ВОКЗАЛ — ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ОТПУСК

Н. И.

Альпийской зеленью сверкая
 Под гулким сводом потолка,
 Вмонтированы в серый камень
 Горели кадры Кодака.
 Звучали кафельные плиты
 (Пиши, блаженствуй, не скучай!),
 Как-будто весь вокзал пропитан
 Нарзаном горного ключа.
 И отпуск завтрашний обещан
 (Блаженствуй, не скучай, пиши!),
 К глухим перронам тащат вещи
 (Как эти кадры хороши!).
 Тебе дают еще в вагонах
 (Гляди, какая благодать!)
 Перед отплытием с перронов
 Пилюли отпуска глотать.
 Ты в утре завтрашнем потонешь,
 Направо потечет река,

Ты спиши под стук ночных вагонов,
 И сны, как кадры Кодака.
 Скользит рассветъ тебе вдогонку,
 И дизель мается кряхтя,
 А окна яркой кинопленкой
 Бегут по солнечным путям.
 Спи, не скучай, пиши, блаженствуй,
 Твой отпуск долог, поезд скор,
 Тебя во сне, привычным жестом,
 Благословляет семафор.

К А М Е Н А

Я знаю, ты ведь с детства — непоседа,
 Походка бессознательно легка...
 И скажешь ты: лови меня, преследуй
 По свету золотистого зрачка.
 Ты скажешь: я пугливая, лесная,
 Лесная лань без памяти, одна.
 А я тебя найду, я разузнаю
 Тропу и омут обыщу до дна.
 Я знаю все расщелины и лазы,
 Твои повадки в памяти несущ,
 Я с темных листьев буду пить алмазы,
 И с губ твоих я буду пить росу.
 Ты скажешь: я пугливая, лесная,
 Лесная лань, без памяти бегу.
 Сырые травы беглыми волнами
 Тебя укроют на лесном лугу.
 Дрожащих листьев резвяя Камена
 Хрустальной влагой вечера повей.
 Прорыв сознанья — легкий сгиб колена,
 Лукавый блеск зрачков из-под бровей.

Олег Ильинский, 1962

РИЛЬКЕ И СЛАВЯНСКОЕ ИСКУССТВО

Мягкость и некоторая как-бы утомленность, — такова одна из черт славянина. Та же мягкость и известная склонность к метафизической отрешенности предполагает то внутреннее атмосферическое пространство, тот *Weltinnenraum*, в котором живет душа австрийского поэта Райнера Марии Рильке. Его эстетическая восприимчивость стала более обостренной попав в сферу галльской четкости, но сумрачные краски славянской палитры продолжали снять вплоть до его последнего апофеоза — «Дунинских Элегий». Большинство биографов Рильке не уделяют внимания отголоскам славянского происхождения поэта, но он сам в письмах и стихах неоднократно признает свою связь со славянским миром. («Я сам считаю, что в моей сильно смешанной крови немало славянского», — из письма к Витольду Гулевичу, от 15-го февраля 1924 г.) Те, кто знаком со славянскими языками легко почувствуют славянскую дикцию его стихов, в особенности раннего периода. «Это — славянские мелодии, переложенные на немецкий язык», — говорит Камил Гофман. Интер-индивидуалист Рильке, стоящий в какой-то меж-национальной дали, создатель (как и Шопен) франко-славянского духовного синтеза, является посредником тех сил, которые играют немалую роль в сфере славянской религиозности, а также в сфере влияния этой последней на славянскую эстетику.

Остается неизвестным хотел ли Рильке первоначально заниматься живописью или писать стихи. Ни в одной из этих областей он не проявлял ярко выраженного таланта и во всех был скорее весьма слабым начинающим. (Дочь Рильке мне сообщила, что сохранились лишь его детские рисунки). Утонченности же слова он достиг только в сороковых годах своей жизни, благодаря упорному труду, претворяя с целеустремленностью опытного ювелира свои часто мучительные переживания в высокохудожественную форму.

Рильке родился в Праге и атмосфера этого города наложила неизгладимую печать на юность поэта. Музыка этого города отражается в его стихах, в их импрессионистическом пе-

реплетении красок и форм. «Первые стихи» прославляют великолепие Праги; ее церкви, купола и башни. Но эти стихи не только воспеваюят Прагу, они также являются первыми попытками поэта в области философии искусства. Как известно, Прага получила свое название от слова «Práh», по-русски «порог» — а Рильке, в перспективе философии, является как раз человеком на пороге. Ясно, что он был предназначен для творческого созерцания. Окружающая среда полна разнообразия стилей и питает его своей полифонией форм. Прага действительно дает возможность брать практические уроки по истории искусства:

Da hockt ein reich geschnörkelt Haus
und lächelt Rokoko-Erotik
und hart daneben streckt die Gotik
die dürren Hände betend aus

В Праге века переплетаются, одно находит корни в другом и все вместе пронизывает ее жилы. Здесь подвалы все в сводах, башни готических времен переходят в богатые формы барокко и на остатках романских построек торжествует классицизм. «Прага, что эпос архитектуры исполинской и многоликой, — сказал Рильке в своем «Короле Богуше». И вот он уже изучает историю искусства в Пражском университете. Но вместе с тем он вовсе не собирается стать историком искусства, а скорее хочет стать только его служителем. «Alma mater» мне предоставляет богатейший выбор свободных искусств, и если я даже и не достигну звания мастера — я все же останусь тем, чем я стремлюсь быть, а именно: учеником». Он и был учеником, учеником самого себя, глаза которого начинают постепенно видеть предметы искусства. И может быть это опять славянская черта — он не умеет в своих оценках отделять художника от человека. Это особенно чувствуется в таких стихах, как например «Молодой скульптор».

Первые радости от литературной среды Рильке испытал попавши в «Союз немецких художников и скульпторов», где он встретился с молодым Э. Орликом, впоследствии ставшим известным графиком. Поэт начинает посещать студии целого ряда художников и с многими из них у него завязывается дружба.

А чешское искусство? «Подойди чешская девушка и спой мне песню про твою родину», просит Рильке в одном из сво-

их ранних стихотворений. Эти строки можно парофразировать например в таком духе: Подойди чешский художник и напиши мне картину твоей родины... Рильке не указывает имен, но без труда можно понять, что он не ценит сверх-национального чешского импрессиониста Антонина Славичка, а приветствует жанровую живопись, которая вместе с тем верно передает смутную мелодию чешского пейзажа.

Когда его король Богуш предается рассуждениям в компании студентов, это — сам Рильке предлагающий «набросок» для картины: «Вот поле — бесконечное, серое и печальное. А на заднем плане — вечер. И больше ничего, только несколько деревьев и несколько человек; и деревья эти и люди согнуты. Или это может быть каменоломня, такая же как те, за Смиховом. По голому, сизому склону скатываются камушки, вниз в котловину. Слышили ли вы музыку этих падающих камней? Какой стройный звук! Да, это тоже песня. А внизу сидят люди и весь день обтесывают серые камни, делая из них маленькие, крепкие, гладкие кубы. Солнце сквозь их слюдяные очки кажется им тусклым. Более молодые из них время от времени забываются и начинают напевать. Но не радостную песню, о нет! а какую-нибудь мелодию соответствующую движению их рук, вроде «Где моя родина» или что нибудь подобное. И тогда все слушают. Почему же вы это не напишете? Почему? Ведь это типично чешское, ведь это так грустно!»

Наряду с этими сюжетами уже и другие темы всплывают перед внутренним зрением Рильке. В наброске названном «Владимир — художник облаков», переносящем нас в ателье художника, Рильке говорит: «нежные и медленные слова идут по миру и любуются вещами издали». Дымные облака, являющиеся одновременно и тайным вознесением ввысь художника Владимира Любовского, становятся равноценны символу. И впервые Рильке устами этого художника вводит в свое творчество свойственное ему религиозное чувство специфически восточного колорита, т. е. такого, когда ощущается единство Бога и жизни. «Люди не смотрят туда где Бог. Они Его ищут в мире... А Он ждет их на первоначальной глубине. Его и следует искать в глубинах, там, где корни всего.» «Музыка невещественного», которая теперь стремится заглушить земную, является для Рильке зовом, указывающим ему путь в Россию и чешские переживания становятся первой ступенью к судьбоносной встрече Рильке с Россией. Фактически вся атмосфера его юности оказалась предвкушением исполне-

ния этих самых его сокровенных чаяний и способствовала им. В 1899 году Россия для Рильке становится «реальностью». Зарождается какая-то необычайная фуга чистоты и нежности.

В России Рильке многое видит глазами своего проводника Лу Андреас-Саломэ.

О Лу Андреас-Саломэ (1861—1937) следовало бы, конечно, написать отдельную статью. Гугенотка по происхождению, дочь генерала русской службы, рожденная в Петербурге и получившая воспитание в Швейцарии, Австрии и Германии, эта немецкая писательница, эссеистка, психоаналитик, большая и несчастная любовь Ницше, жена знаменитого ориенталиста Ф. Андреаса, сыграла действительно роковую роль в жизни Рильке. Я даже допускаю мысль, что не встретив ее, Рильке, возможно, навсегда бы остался только поэтом сентиментального порядка. Своим глубоким умом, склонным к здравой оценке вещей, Л. Андреас-Саломэ направила Рильке на путь логического мышления и строгой самокритики. После нескользких лет страстной привязанности Рильке и Л. Андреас-Саломэ разошлись, но остались близкими друзьями до конца жизни. Конечно, Л. Андреас-Саломэ не во всем правильно понимала Рильке. Например, как ни странно, сама будучи французской крови, она не разделяла франкофильства поэта, хотя как раз она-то и толкнула его в направлении эстетических четкости и порядка. Рильке посвятил Лу Андреас-Саломэ свое самое экстатическое любовное стихотворение, которое граничит с благовдохновенностью и которое поэтому (а в частности и потому, что оно было включено в его религиозный сборник «Часослов») — было воспринято многими критиками, как навеянное русской религиозностью обращение к самому Богу. Поучительно в этой перспективе перечитать это стихотворение:

Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören,
und ohne Füsse kann ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.

Brich mir die Arme ab, ich fasse dich
mit meinem Herzen wie mit einer Hand,
halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen,
und wirfst du in mein Hirn den Brand,
so werd ich dich auf meinem Blute tragen.

Чтобы понять отношения между Рильке и Андреас-Саломэ, нужно, конечно, прочитать их переписку, изданную в

1952 г. отдельным томом, не забывая при этом, что Л. Андреас-Саломэ узнав о смерти поэта немедленно поехала на место его последнего пребывания и уничтожила немало своих писем. Интересна также книга Андреас-Саломэ «Р. М. Рильке» опубликованная в 1928 году, но еще более ценным в этом отношении является посмертное издание ее воспоминаний, озаглавленное «*Lebenstrückblick*» (1957), которое раскрывает необыкновенную глубину интимности их дружбы.

Здесь также следует упомянуть имя Рудольфа Касснера (1873—1959), уроженца Чехии, крупного (еще недостаточно оцененного) философа-физиогномиста, который посетил Россию до Рильке и весьма восторженно советовал поэту поехать туда.

Рильке и Андреас-Саломэ совершили две поездки в Россию. Первую в 1899 и вторую в 1900 годах. Первое путешествие привело их через Варшаву прямо в Москву. Несколько анекдотичным кажется, что в Москве, на Сухаревке, молодой поэт покупает большой нательный крест, великолепной византийской работы и надевает его поверх русской рубашки. Рука за руку Рильке и его спутница гуляют в таком виде по евразийской метрополии.

Между двумя прогулками они усердно занимаются историей русского искусства. С помощью Лу Андреас-Саломэ они читают по-русски труд И. Е. Забелина «Русское искусство», А. П. Новицкого «История русского искусства» и «Историю искусств» П. П. Гнедича. Рильке особенно полюбил прекрасно изданный труд Забелина «Домашний быт русских царей в 16—17 вв.» В письме к крестьянскому поэту Спиридону Дрожжину он делится своими впечатлениями и сообщает, что он в Императорской Библиотеке в С-Петербурбурге нашел «восхитительную книгу», в которой «история старой Москвы изображена так же красочно, как на холстах Аполлинария Васнецова». Богатство колец, диадем, корон, оружия, ожерелий, шелковых одеяний, которые Рильке увидел в этой книге, по-видимому, не мало содействовало углублению его понятия о мифе вещей, как таковом, его «*Dingmythos*» (особый миф созданный самим Рильке), а тема этого открытия была также использована им в его сборниках «Часослов», «Книга образов» и «Записки Мальте Лауриса Бригге».

Скульптуру Рильке научился понимать и любить гораздо позже, и то благодаря своей жене Кларе Вестгоф. В России же его интересует главным образом живопись и прежде всего известные русские живописцы 19 века: жанровые художники

— Венецианов, Перов, Федоров, Прянишников, Ярошенко; художники религиозных тем — Иванов, Крамской и Ге; маринист — Айвазовский; пейзажисты — Куинджи, Васильев, Шишкин, Клевер; художники исторических сюжетов — Суриков; реалист Репин, неоромантики В. и А. Васнецовы, Нестеров и Малютин и трагический Врубель. Уже прославившиеся русские импрессионисты Левитан, Коровин, Малявин и Серов также пленили молодого Рильке, как и А. Бенуа и Л. Пастернак, с которым он познакомился лично. Последний из них был особенно дружелюбно настроен по отношению к поэту и представил его Толстому. Уроженец Литвы, Левитан создавший глубокопроникновенные образы русской равнины и одухотворивший ее, несомненно должен был глубоко задеть Рильке. В пейзажах Левитана поэта пленило выражение тонких, едва уловимых человеческих чувств и переживаний. Но вместе с тем, Левитан ведь принадлежал к первым русским представителям «чистой», опирающейся на суггестивную музыку красок, живописи, а Рильке, хотя по существу и эстет, все же в то время не был эстетом в французском смысле этого понятия и поэтому не мог оценить значения Левитана как колориста. Но любовь к художнику и преклонение перед ним у Рильке были. 10-го апреля 1900 г. он писал из Шмаргendorфа Пастернаку: «Левитан, которого я впрочем знаю по его картинам и весьма даже ценю...» и в том же году из Москвы: «М. б. Вы будете столь добры и напишете мне открытку и скажете можем ли мы и когда это удобно, посетить Левитана. Т. обр. исполнилось бы одно из моих больших желаний. Я уже посетил Передвижников, и новые картины Левитана на меня произвели громадное впечатление». Судя по всему, встреча с художником так и не состоялась. 18-го августа Рильке пишет своей матери о смерти Левитана: «За последние дни Россия потерпела две большие потери: самый выдающийся современный русский пейзажист Левитан... и Владимир Соловьев умерли почти одновременно. При чем Левитану было всего за 30 лет. Это впрочем судьба многих русских людей искусства — умирать выразив только часть того, что они собирались сказать».

Врубель, как это ни странно, в то время не привлекал Рильке. Поэт ознакомился с творчеством Врубеля в церкви Св. Кирилла в Киеве и в соборе Св. Владимира в Москве, и кроме того видел некоторые из вариаций его Демона. Созданный этим одержимым, фаустовским художником мотив Демона — был Рильке совсем не по душе. Если бы Рильке

столкнулся с творчеством Врубеля позже, в то время когда писались «Дуинские Элегии», когда были отчеканены слова «всякий ангел страшен» — то он вероятно нашел бы в этом художнике «своего» мастера.

«Сегодня я у знаменитого живописца Ильи Репина», — сообщает Рильке 18-го мая 1899 года своей матери из Петербурга. Творчество Репина соответствовало в представлениях Рильке тому, чего так страстно жаждал от чешской живописи его герой Богуш. Поэтому не совсем понятно почему Репин, по сравнению с другими русскими художниками, с которыми Рильке встречался, занимает в наблюдениях его столь скромное место. Даже такая вещь Репина как «Святой Николай», не произвела на молодого поэта должного впечатления. Это тем более странно если принять во внимание, что довольно-таки провинциальные эстетические вкусы Репина и юного Рильке имели много общего.

В Россию Рильке приехал как богоискатель и поразительно то, что его собственное чувство посланичества во многом совпадает с идеей русского мессианизма. Религиозная тональность старорусского быта его глубоко тронула. Подход русских к Богу кажется прирожденным и в Рильке. В своей книге о поэте Л. Андреас-Саломэ отмечает: «именно что-то по-детски наивное в понятиях о сути и основах жизни развязало язык поэта при столкновении с русскими и их глубокой верой: я говорю о непосредственности творческой связи между Богом и человеком». Следы такого подхода можно б. м. найти в «Часослове», но он вовсе не характерен для взглядов Рильке на искусство. На самом деле, Рильке не мог дать оценки русскому искусству с эстетически-формальной точки зрения. Он старается прежде всего найти в русском искусстве обусловленность личного отношения человека к божественному. Поэтому художники, как Левитан, Врубель и Репин для него явления вторичного порядка. Зато больше всего его захватывает скорбная этическая интроспективность картин Крамского, Иванова и Ге. Картина Ге «Что есть истина», насыщенная тонким драматизмом, оказалась для Рильке быть может наиболее важной. В ней противопоставлены Христос и Пилат. Пилат полон света — Христос овеян мраком — на краю гибели. В Рилькевских «Сказаниях о Господе» такой же образ Христа в лице того Странника, того непризнанного, который лишь впоследствии становится «вечно грядущим».

Особое внимание Рильке уделил Крамскому и Иванову, хотя мастерских, жизненных портретов Крамского, полных глубины индивидуальных характеристик он как-то не отметил. А вот «Христос в пустыне» пленяет Рильке своим поэтическим замыслом, ибо здесь Христос изображен как «потерянный». Похожее на чувство Христа, поэт высказывает свое собственное отчаяние в стихах посвященных Гефсиманскому Саду.

*“Und warum willst Du, dass ich sagen muss
Du seist, wo ich Dich selber nicht mehr finde.
Ich finde Dich nicht mehr. Nicht in mir, nein.
Nicht in den andern, nicht in diesem Stein.
Ich finde Dich nicht mehr. Ich bin allein.”*

Как известно, Крамской умер в то время, когда работал над большим полотном «Хохот». Безумный смех Геродота произвел на Рильке незабываемое впечатление. В его Ворпсведском дневнике мы читаем: «Мир — это большая общая для всех случайность, и самый сильный голос в этом мире — смех. Человек в нем одинок, толпа ему в его строгом и мрачном одиночестве враждебна, являясь олицетворением этого смеха и тревожа его покой. Он слышит смех... И он (Крамской) не в состоянии себя противопоставить этому трижды великому смеху. Он должен найти кого-то для мирового равновесия, он должен его вымолить, осознать, сотворить — такого, который не будет смеяться. И в бесконечном страхе он ищет и ждет его. И вот издалека приходит Он, вечно грядущий — сам скованный — среди спасенных. И остается...» Из черновика одного письма Рильке от августа 1900 года ясно видно, что он беспрестанно стремился в русском искусстве уловить его направленность к Богу и человеку. «Вы знакомы с письмами Крамского?», спрашивает он, «и тогда Вам нечего объяснять почему я его люблю больше других художников. Он словом и красками написал, как трудно жить на белом свете, т. к. мало любви между природой и людьми, и между людьми и Богом. Крамской ведь вовсе не хотел быть художником, но молча носить в себе дар сознания, что он человек, было для него невыносимым... ибо он любил — а больше любить чем другие любят — это всегда значит быть художником». Для Рильке позднего периода это понятие о художнике пожалуй неприемлемо, т. к. художником он считал лишь чисто эстетический тип человека, хотя и метафизически обоснованный.

Тематика работ Александра Иванова соответствовала понятиям о Боге и самого Рильке. Иванов был долгое время

под влиянием т. наз. «назарийцев» (в особенности Корнелиуса и Овербека), но впоследствии убедился, что философско-религиозные размышления противоречат самой сути искусства как такового. Этот важный поворот в творчестве Иванова Рильке как-то упустил из внимания. Его притягивала главным образом самокритика и пытливость ума Иванова («Мне собственно надо работать над самим собой, а не над холстом», — из одного письма художника) и, конечно, его желание олицетворить в Христе высшую нравственную силу. Поэтому-то монументальная картина Иванова, над которой он работал в течение 20 лет, «Явление Христа народу» является для Рильке, самым значительным произведением русского искусства. 3-го мая 1900 г. Рильке сообщает Пастернаку о своем намерении использовать пребывание в Москве главным образом для подготовки серии монографий о русских художниках. «Хочу начать с Иванова и Крамского». В более позднем письме Рильке пишет Пастернаку: «Когда говорят об этих художниках, говорят о русском искусстве как таковом, пожалуй, о самом русском...» Для знатоков русского искусства это суждение, конечно, несколько неожиданно, т. к. ни Иванова, ни Крамского нельзя рассматривать как чисто национальных художников. Но как уже было сказано, такая оценка Рильке объяснима и вытекает из его религиозных чувств. Он сам заканчивает выше приведенное письмо интересным признанием о своем личном подходе к искусству: «...Углубиться в суть любого народа, значит отклониться от самого существенного, поглязть в дебрях, отдалиться от конечной цели из-за целей менее важных и преходящих. А познавая русское искусство мы добираемся до самого важного — познаем глубоко-человеческое начало и т. обр. и самого Господа Бога». Предполагаемые монографии о Крамском и Иванове никогда так и не были написаны, хотя Рильке сделал все подготовительные работы и собрал материал о жизни и работе этих художников. Также никогда не был осуществлен перевод на немецкий язык «Истории русского искусства» Бенуа. Впрочем, Бенуа советовал Рильке перевести на немецкий язык Д. Мережковского, которого поэт упоминает всего один раз, а именно в письме к Голичеру написанном 25-го апреля 1903 года в Виареджо, при чем о романе Мережковского «Леонардо да Винчи» отзываются как «о плохой и скучной книге». Выставка современного русского искусства, которую Рильке собирался устроить, не состоялась из-за недостатка интереса к ней. Но он поощрял Дягилева непременно организовать такую выставку за-

границей. Последний несколько лет спустя, действительно с большим успехом продемонстрировал русское искусство в Париже.

Мы до сих пор не знаем как расценивал Рильке Леонида Пастернака, отеческое благоволение которого к Рильке трогательно. В своем дневнике он описывает приехавшего в Москву поэта: «Передо мной стоял молодой, хрупкий иностранец, в зеленом суконном пальто. Весь облик молодого немца, с бородой, детскими, чистыми, большими, голубыми и вопросительно смотрящими глазами, скорее походил на русского интеллигента. Его благородная осанка, жизнерадостность, почти детская живая и сияющая, еле сдерживаемая восторженность ко всему до сих пор виденному в России меня сразу очаровали. После первого же короткого разговора мы стали добрыми друзьями». Не менее тронут этой встречей был и сам Рильке: «И кроме того до чего мило, до чего мило я был принят проф. Пастернаком, одним из самых известных русских художников» (Письмо к матери от 29-го апреля 1899 г.). А вот неопубликованное письмо Рильке к Пастернаку, перед отъездом из Москвы: «Часы проведенные с Вами были лучшими и самыми богатыми для меня из всего моего пребывания в Москве». Интересно, что тогда же Рильке встретился с 10-тилетним сыном художника, Борисом, который отчасти именно у Рильке научился владеть богатством нюансов при восприятии окружающего его мира и которому не чужда была и философия Рильке. Существует, как известно, несколько прекрасных свободных переводов Пастернака из Рильке. В последнем своем письме к Л. Пастернаку Рильке говорит: «молодая слава Вашего сына меня глубоко волнует».

В 1904 году Рильке встречается с Леонидом Пастернаком в Риме. Они долго и сердечно беседуют на вилле Фазола. Клара Рильке лично мне рассказывала, что поэт был так взволнован встречей со своим московским другом, что непосредственно после этой встречи он высказался о России так: «Я чувствую, что только там может быть моя родина». Также Рильке высказывался неоднократно в своих письмах. Пастернак эту встречу, проведенную в беседах о литературе и искусстве, описывает, как «Незабываемые, богатые по содержанию, уютные, совместно проведенные часы». Как раз к этому времени Рильке закончил свой перевод «Слова о полку Игореве». Пастернак был поражен, как Рильке понял дух словесной ткани этого произведения» «Удивительно с каким пониманием поэт в своем восторге говорил об особой красоте языка этой ста-

рой русской повести, которую он смог прочитать в подлиннике».

Будучи уже эмигрантом в Берлине, Леонид Пастернак получил согласие поэта написать его портрет, но смерть Рильке помешала исполнению этого замысла. Впоследствии Пастернак создал этот портрет по памяти и по фотографиям, назвав его «Рильке в Москве»; он изобразил мечтавшего поэта сидящим в пролетке — каким знал художник Рильке в первые дни его пребывания в Москве. Написанные в Москве слова Рильке звучат, как объяснение к этому портрету: «Я здесь с 3-х часов третьего дня, но не смог написать ни строчки, т. к. поглощен великолепием и величием этого города. Окруженный зубчатыми башнями, один город входит в другой, и каждый из них как бы отражается в золоте и торжественных красках куполов и простой белизне стен. Представь себе весенний день или лунную ночь на фоне этого расточительного изобилия. Любая сказка ничто по сравнению с этим! Это нечто совершенно новое для меня. Это — мелодия востока, звучащая на органе смиренных мыслей: Это Москва, это Россия!» (письмо к матери, от 29-го апреля 1899 года). «Этот восточный и сказочный город, — как говорит Пастернак, — с его многочисленными монастырями, церквами, золотыми куполами и белозолотым Кремлем» был для Рильке настоящим откровением. В своем портрете Пастернак и стремился передать эти московские впечатления; он вложил в портрет очарование завладевшее тогда поэтом. На заднем плане портрета видны белые кремлевские стены. С настоящей тонкостью применены здесь светлые краски и полутона передающие подлинность атмосферы.

Самый сильный отклик нашла у Рильке русская иконопись, к которой он был подготовлен своими магически-религиозным жизнеощущением. Икона, будучи обусловленной определенными догматическими формами, первоначально ведь вовсе не была чистым произведением искусства, хотя в наше время зачастую, рассматривается как таковая. В ней заложена сила, которая отсутствует в обыкновенной картине. Каждый штрих в иконе нерушим, каждая декоративная деталь имеет свое заветное значение. Алексей Хакель, один из лучших знакомых русской иконописи, подчеркивает, что икона не имеет никакой самоцели, что она является «образом светлой полноты богоявления...»* В то время как христианский Запад в

* «Ikonen», Herder Verlag, 1960.

иконах ищет наставление, воспитательное начало и назидание, христианский Восток их рассматривает как некое исцеляющее таинство. Также и для Рильке иконопись не являлась предметом историко-эстетического разбора, а источником внутреннего созерцания, путем к Божьей правде. И для него икона излучает свою чудотворную силу только тогда, когда на нее молятся — тогда она становится хранительницей этой силы. «В темных углах покоев висят старинные иконы, как вехи Господни, и отблеск лампады проходит сквозь киоты, как заблудившееся дитя сквозь звездную ночь. Эти иконы — единственное убежище, единственное надежное знамение на пути, и ни один дом не может без них существовать».

Иконописцы сохраняют свою анонимность, они не имеют права проявлять себя в этих святых образах индивидуально. Каждая икона верна установленной регламентации общего типа, которой всегда строго следует. Об этих «подлинниках» и об этом умерщвлении всяких специфически художественных стремлений Рильке говорит в «Часослове»:

Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen
du dämmernnde, aus der der Morgen stieg.
Wir holen aus den alten Farbenschalen
die gleichen Striche und die gleichen Strahlen,
mit denen dich der Heilige verschwieg.

А вместе с тем рильковский «иконописец» в своем экстазе является и свободным творцом:

Was irren meine Hände in den Pinseln?
Wenn ich dich male, Gott, du merkst es kaum.

Такое положение полностью соответствует свободному недогматическому подходу Рильке к Богу. Его связь с Богом равна той первоначальной интимности, с которой люди древней Руси разговаривали с Господом Богом. «Сказания о добром Господе» свидетельствуют об этой именно русской религиозности Рильке. Т. обр. описывая борьбу Микель Анджело с Богом, отражающую это личное взаимоотношение человека с Богом, Рильке говорит: «И раздался голос: ‘Микель Анджело, кто в тебе?’ и человек в узкой камере положил свою голову тяжело на руки и тихо сказал: ‘Ты, Господи, кто же другой?’». С удивительной чуткостью воспринимает Рильке пейзаж этой духовности. Как и русские, Рильке умеет в себе

носить безмолвную скорбь и недаром многие русские в нем находят родственную душу. Один украинский крестьянин, потрясенный каким-то богосиянным обликом Рильке, дал ему в знак братства икону — хранительнице своего дома. Эта икона вместе с тремя другими, которые поэт привез с собой из России, хранилась у жены поэта в Ворпсведе еще в 1952 году, когда я ее там последний раз посетил.

Попавши в Третьяковскую галерею, Рильке оценил таких украинских художников, как Левицкий и Боровиковский, которых можно причислить к основоположникам русского реализма.. Киев, «святой город с 400-стами куполов», снова заставляет Рильке восхищаться религиозным искусством. Без Киева и Украины, возможно, не было бы ни «Часослова» ни «Сказаний о добром Господе», хотя в них и не легко расшифровать символизацию, навеянную украинскими церквами и украинскими произведениями искусства. Я однако убежден, что архитектурный прообраз стихотворения «Редко бывает собор озарен солнцем» — Собор Св. Софии в Киеве. Это здание представляет собой синтез византийской и так называемой ближневосточной школы, что особенно ярко сказывается в мозаиках и фресках украшающих собор. В своем стихотворении поэт развертывает всю сияющую оркестровку образов внутри храма. Строкой «не бывает солнца в соборе» указывается на то, что внутри храма царит особый полумрак. Вторая строка «стены вырастают из фигур» относится к богатым фрескам, исполненным в духе иллюзионистской техники, которая как будто возвеличивает силу веры только что крещенного народа. «Стена скрылась за иконами...» — этими словами поэт описывает множество икон некогда украшавших собор Св. Софии. «Над ними, как синяя ночь, с бледным лицом, парит Она, дающая тебе радость...» — это большая фигура Божьей Матери, которая занимает главное место в полусферической средней апсиде. В голубом одеянии, как и Мария в базилике в Торчелло, простирает она свои руки, молясь за верующих. Она хранительница земной церкви и посредница между небом и землей. «Купол наполнен твоим сыном и объединяет архитекторнику в круг», — говорит Рильке в конце стихотворения. И действительно лик Христа, изображенный в мозаике купола обрамлен старославянскими «ИС — ХС». Но Христос здесь изображен скорее как земной властелин-пантократор, а не как апокалиптический судья. Эта патетическая мозаика превосходит по своей силе ранний раненский стиль и кажется независимой от византийской ма-

неры. Словами «Купол соединяет здание в круг» — поэт метко характеризует структурную своеобразность этого храма константинопольского типа. Мощные своды главного купола действительно охватывают всю главную часть храма, будто это самостоятельная постройка.

Во время своего пребывания в Киеве, Рильке посетил также Печерскую Лавру, которой посвящено стихотворение «Ты — монастырь Страстей Господних». Поэт смотрит на Лавру глазами поэта-художника и глазами паломника:

Du bist das Kloster zu den Wundenmalen,
mit zweiunddreissig alten Kathedralen
und fünfzig Kirchen, welche aus Opalen
und Stücken Bernstein aufgemauert sind.
Auf jedem Ding im Klosterhofe
liegt deines Klanges eine Strophe,
und das gewaltige Tor beginnt . . .

Особое место занимает знакомство Рильке с украинским поэтом Т. Шевченко. Сначала он знакомится с биографией и творчеством Шевченко посредством труда Е. Дюрана, потом восторгается его «Портретом актера» и наконец посещает могилу украинского поэта. Украинский историк искусства и литературовед Е. Целенский утверждает, что знаменитое стихотворение Рильке «Смерть поэта» отражает посмертную маску Шевченко. Благодаря Украине Рильке написал поэму «Карл XII, Шведский на Украине», которая достигает интенсивности произведения живописного искусства. Здесь стоит обратить внимание на то, с какой утонченностью Рильке умеет пользоваться красками

... Vorsichtig ging das graue Pferd
(von grossen Fäusten abgewehrt)
durch Männer, welche fremd verstarben,
und trat auf flaches schwarzes Gras.
Der auf dem grauen Pferde sass,
sah unten auf den feuchten Farben
viel Silber wie zerschelltes Glas.
Sah Eisen welken, Helme trinken
und Schwerter stehen in Panzernacht,
sterbende Hände sah er winken
mit einem Fetzen von Brokat . . .

Вне славянских стран Рильке почти не сталкивался с их представителями из мира искусства. В Париже он познакомил-

ся с польской художницей Марией Чайковской, подругой своей жены. Клара Рильке несколько раз лепила ее, и упоминание об этих скульптурах встречается в «Часослове» («ее рот, как рот на одном изваянья»). В Париже и Риме он встречается с известным в то время скульптором, учеником Родена, Паоло Трубецким, с которым был знаком еще в Москве, но творчеству которого он в своих писаниях внимания не уделяет. И наконец, во время своего последнего пребывания в Париже, в 1925 году он сталкивается с некоторыми русскими писателями и художниками, но все эти встречи были лишь мимолетными и следа ни в творчестве, ни в жизни поэта не оставили.

К исключениям следует отнести его дружбу с художницей Баладиной Клоссовской. Эту дружбу можно даже назвать любовью, т. к. ее интимное дыхание можно найти во многих письмах и противоречивых и завуалированных высказываниях поэта. Клоссовская по рождению русская (Баладины — феи в польских сказаниях), вышедшая замуж за художника и искусствоведа, поляка по происхождению, но космополита по духовному складу. Известным равновесием между осознательным и духовным, которое было присуще и человеческому и артистическому существу как Клоссовской так и Рильке, объясняется их принадлежность к одной и той же «сфере восприятий». Наглядно это сходство — в иллюстрациях Клоссовской к циклу французских стихотворений Рильке «Окна». Метафизика Рильке, благодаря насыщенному ассоциациями «художественному очищению» достигает в иллюстрациях Клоссовской полного своего значения, несмотря на ограниченные возможности иллюстратора поэзии. Типичные для нее контур и мелодия рисунка, изящность ее осмысления, действительно улавливают ту творческую последовательность, в которой Рильке удалось достигнуть растворения душевного в духовном. Известны два ее портрета Рильке времени его пребывания в Швейцарии. На одном из них особенно подчеркнута грубоść и тяжесть нижней части лица поэта. Второй портрет изображает Рильке лежащим. Он написан в тонах нежно-переливающихся акварельных красок. Этот портрет, который сам Рильке назвал «взглядом изнутри» появился в печати в связи с опубликованием «Французских писем Мерлинне» (Мерлинной Рильке называл художницу). Пятнадцать французских стихов, посвященных художнице, (и одно немецкое) составляют творческий дар поэта Клоссовской. «Я любила рисовать Рильке», рассказывала мне Клоссовская при нашей

встрече, «он мне напоминал какого-то персидского принца — вопреки всем тем, кто его считал маленьким, безобразным и жалким».

Сын Клоссовской, Балтус, который в свое время был вундеркиндом, а теперь как своеобразный метафизический реалист принадлежит к видным именам среднего поколения парижских художников был тоже близок поэту. Будучи 11-летним мальчиком он создал графическую серию «Митсу», которая по проникновенности не уступает Матиссу, а по силе своей выразительности — Мазерэлю. Стиль этих рисунков напоминает обоих мастеров. Серия эта была опубликована в 1921 году с французским предисловием Рильке, в котором он не стремился дать художественную оценку искусства Балтуса, а скорее утонченное обрамление для грустной истории кошки Митсу.

Встречи Рильке с представителями славянского искусства немыслимо отделить от его творчества. Как неутомимый искатель формы, Рильке чувствует себя близким материнской красоте славянства; как духовидец он укрепляет в России свою восточного толка религиозность; как служитель мифа вещей он переносит центр своего художественного восприятия в сферу смиренного отречения.

Слишком уж долго в своей юности он был эстетическим дегустатором пожелтевшей, матовой красоты конца прошлого столетия. Преисполненный стремительной величественностью волжского ландшафта, он черпает теперь свои силы непосредственно из первоисточника природы:

. . . von allen andern will ich abseits gehen,
mein Leben will ich bauen Stein für Stein,
nicht aus den Trümmern fürstlicher Fassaden,
aus Quadern, welche noch in Wassern baden,
aus Bergen, welche noch in Wiesen stehen . . .

Тоска по новым, еще неиспытанным переживаниям, по необузданной неисчерпанной силе, типично славянское отчаяние в поисках Божьей правды (которое в конце концов ничто иное, как новая форма экстаза вызванного сильной верой) — были правдивым источником его поэтического слова.

В уста «нигилиста», поляка Казимира, в новелле «Последние», Рильке вкладывает слова, которые тонут в эфире чистейшего вдохновения, слова, которые для многих современных художников и поэтов звучат как завещание: «Искусство

это, собственно, детство. Жить в искусстве это значит не сознавать, что мир уже существует, и создавать его, и в этом начинании никогда не достигнуть седьмого дня... Неудовлетворенность — это молодость. Бог был слишком стар с самого начала, мне кажется, иначе бы Он не остановился в своем творчестве ни в вечер шестого дня, ни тысячного и еще сегодня бы не остановился. Вот это единственное, что у меня против Него. Что Он мог выдохнуться. Что Он решил, что Его человеческая книга закончена, что Он отложил в сторону перо и ждет, сколько будет изданий... То, что Он не оказался художником — вот это и есть самое грустное».

Алексис Раннит

ИЗ «КНИГИ ОБРАЗОВ» Р. М. РИЛЬКЕ

А Н Г Е Л Ы

У них у всех уста устали,
А души цельны и ясны,
И смутной жаждой (не греха ли)
Порой взволнованы их сны.

В садах у Бога, все похожи,
Они молчат между собой,
Они — ступени силы Божьей,
Тона мелодии немой.

И лишь когда взмахнут крылами,
Они пробудят ветра шквал,
Как будто Бог за облаками
Провел ваятеля руками
По темной книге всех начал.

О С Е Н Н И Й Д Е Н Ъ

Господь, был долог лета срок: пора.
Брось тень твою на землю, над часами
И над полями выпусти ветра.

Вели плодам, чтоб налились полно;
два южных дня им дай, прибавь им соку,
до совершенства доведи их к сроку
и сладость влей в тяжелое вино.

Теперь бездомный не построит дом.
А кто теперь один — тому томиться,
читать, писать друзьям, когда не спится,
и беспокойно все бродить кругом
в аллеях, где опавший лист кружится.

Перев. Вера Булич, 1951

БЕЗ ПРОДОЛЖЕНИЯ

I

Это счастье слишком тяжело,
Тяжело для непривычных плеч.
Отчего же тяжестью легло
Это счастье необычных встреч?

Отчего пугает слишком яркий свет?
Оттого что счастью продолженья нет.

II

Счастье должно быть без продолженья,
Как остановка в пути коротко.
Равное жизни одно мгновенье
Сердцем запомни и скрой глубоко.

Тронулся поезд, и замелькали
Облачные, голубые мосты,
Солнечный полдень, закатные дали,
Долгий туннель ночной темноты.

Так же по рельсам, обратно ведущим,
В сумрак уносится поезд другой,
Так же сопутствует окнам бегущим
Темное небо летящей звездой.

В разные стороны — разные воли.
Быстро по рельсам уходят года.
Светится сердце, в пустынном поле
Память о счастье, живая звезда.

1936

НА СМЕРТЬ П. В. ВИЛЬКЕНА

Ночь. Облаков нагроможденье.
 Волны тяжелое паденье.
 Звезды, растущая вдали,
 И тень покинутой земли.

На палубе — как изваянье.
 Печаль и доблесь — достоянье:
 Нежнее снега седина
 И на груди все ордена.

Мундир парадный. Треуголка.
 Наплечья золотого шелка.
 Как мрамор, строгие черты.
 А спутник — ветер высоты.

Растет звезда из тьмы пространства
 В великолепии убранства
 Троящихся, цветных лучей,
 Как сквозь слезу огонь свечей.

И где-то, в страшном отдаленни,
 Сквозь облака, сквозь дым и пенье
 Невнятный шелест голосов:
 ...а похороны в пять часов...

1939

*

Кричат на улице, играя, дети,
И в окна веет свежая весна.
Пройдет когда-нибудь, как все на свете,
И эта безисходная война.

Но уж не теми смотрим мы глазами
На года вечный кругооборот.
Мы видели развалины и пламя,
И пепла тусклого на всем налет.

Душа скорбит, и жизнью воскрешенной
Навряд-ли мир развеселит ее.
Скорбит душа, как Лазарь искушенный,
Познавший смерть и снова бытие.

1942

*

Эстрада пуста, и музыка не играет.
Ветер перелистывает брошенные ноты.
Неуклюже застыли на улицах трамваи
В сияньи вечерней беглой позолоты.

Все люди спустились в глухие подземелья.
И тайною жизнью живет аллея,
В ней дышат только цветы и деревья
Да облака над лицами плывут, розовея.

И ветер тихонько говорит с цветами
О счастье, о нежности, о расцвете, о чуде,
Он говорит о счастье такими словами,
Каким удивились бы наверное люди.

Но люди не слышат в черном подземельи,
Людям мерещатся огненные драконы.
И небо пылает в закатном весельи,
И облака задевают крыльями балконы.

1943

Р А Д У Г А

Рекой раздвинутые берега
Не могут в луг один соединиться.
Но над рекой — извилистой границей —
Порой сияет радуги дуга.

Свой край один в пространство оперев
И перекинув край другой за реку,
Она берет всю землю под опеку,
Когда грозы утихнет шумный гнев.

Не мост для переходов и коней,
Для перевозки будничного груза,
А знак небесный мирного союза,
Союза всех цветов и всех теней.

Бера Булич, 1949

ОБ ЭСТОНСКОЙ ПРОЗЕ

В то время как русскую литературу создали и развивали главным образом писатели из дворян, эстонская литература создана людьми крестьянского происхождения. Никаких других сословий у эстонцев до 19 столетия не было. Господствующий и чиновный класс в Прибалтике в течение нескольких столетий составляли немцы (и онемечившиеся шведы). И только с освобождением крестьян (в Эстляндской губ. в 1816 г., в Лифляндской в 1819 г.) и прекращением барщины (1868 г.) положение изменилось. К концу государственной самостоятельности Эстонии городское население составляло уже треть всего народа.

Таким составом народа объясняется и характер эстонской литературы. В этой статье я говорю только об эстонской прозе. Из сравнительно редко разбросанных усадеб-хуторов с привольем полей, лугов, лесов берут свое начало эстонские традиции, мироощущение, вкусы и т. д. Там жизнь была суровая, часто даже невыносимая.* Все это отразилось в литературе, где преобладают сюжеты из деревенской жизни.

Начало эстонской прозы положили немецкие (лютеранские) пасторы. Первый катехизис был напечатан в 1535 г. За ним последовали проповеди, тексты церковных песен, перевод Библии (1739), книги нравоучительного содержания, книги всяких практических указаний, календари и пр. Вместо беллетристики были переводы с немецкого. Вся эта литература и в смысле стиля и в смысле художественности (а в первые столетия и курьезная орфография) была весьма низкого качества. Недаром доктор Крейцвальд, автор эпоса «Калевипоэг» (Калевич) в оправдание включения в это произведение в *стихотворной* форме тех народных преданий, ко-

* Тяжелые арендные условия (раскрепощение совершилось без наделения крестьян землей) заставляли десятки тысяч эстонских крестьян выселиться и «искать счастья» в других местах России.

торые изустно передавались в народе **в прозе**, писал в 1857 году: «до сих пор у нас нет настоящей эстонской прозы».

Но появилась и настоящая. Ее основоположником можно считать **Эдуарда Вильде** (1865—1933), хотя и его рассказы довольно долго (он начал печататься уже 27-летним юношей) могли удовлетворять лишь невзыскательного читателя. Это была литература для приятного времяпрепровождения — с захватывающим содержанием романтических (и сентиментальных) похождений. Когда же он издал еще несколько томиков юмористических рассказов, популярность его выросла небывало. Для иллюстрации приведем такой анекдот (а, может быть, и факт): в каком-то захолустьи праздновали крещение ребенка; пастор спрашивает: — «каким именем крестить младенца?» Отец отвечает: «Эдуард и Вильде». Благодаря этой популярности, и своему таланту Эд. Вильде мог стать первым профессиональным эстонским писателем, первым и почти единственным (несколько попыток кончились для других печально).

Свое писательское образование Эд. Вильде получил в Германии, работая там журналистом, и возвратился оттуда марксистом (меньшевиком). Плодом этого в 1896 г. явился его первый, выдерживающий более строгую критику, рассказ «В суровый край» (так называл народ Сибирь). Здесь Вильде проводит идею влияния среды и социальных условий на склад и участь человека слабой воли. Из его последующих произведений самыми интересными были три больших — составляющих трилогию — романа на тему борьбы бесправных крестьян с баронами. Последняя часть этой трилогии описывает путь переселенцев под предводительством «пророка» Мальцвета через всю Россию, обозом, в обетованный край — в Крым.

В 1905 году за агитационную деятельность Эдуарду Вильде угрожал арест, он бежал, сперва в Финляндию (где издавал нелегальный политический сатирический журнал для Эстонии), а оттуда в Европу. В эмиграции он принужден был оставаться до весны 1917 г. Большую часть этого периода Вильде провел вместе с женой в Копенгагене, жил исключительно на скучные доходы от литературной работы и написал все самое лучшее из своих произведений: сборник новелл, комедию «Вий», до сих пор никем из его соотечественников непревзойденную, одну пьесу в духе Ибсена и — самое главное — роман «Молочник Приллуп» (точнее: «Молочник имения Мяэкула или Горки»). Это произведе-

ние в эстонской прозе до сих пор остается во всех отношениях образцовым: по композиции, по психологическому проникновению, по обрисовке быта, языковому богатству. Произведение не лишено и поэзии, особенно в заключительной главе о трагической смерти несчастного молочника.

Как автор вышеупомянутой трилогии Эд. Вильде стал основоположником эстонского романа, «Молочником» же он укрепил за собой звание мастера эстонской прозы.

В самостоятельной Эстонии Э. Вильде был сначала назначен посланником в Берлин, а потом, после ухода с этого поста, ему предоставили в бесплатное пользование барскую квартиру в лучшем районе столицы и дали пожизненную пенсию, а дерптский (таргусский) университет наградил Эд. Вильде титулом доктора *honoris causa*. Несколько произведений Э. Вильде переведены на немецкий, русский, французский, финский и другие языки.

В восьмидесятые годы, когда Эд. Вильде снабжал неприхотливого читателя легким чтением, два его современника, Эдуард Борнхёэ (псевдоним Брунберга, 1862—1923) и Andres Saаль (1861—1931) издали рассказы с сюжетами из истории завоевания Эстляндии рыцарями-крестоносцами в 13 веке и из большого восстания эстонцев против угнетателей в 1343 г., восстания, известного под названием «бунта юрьевской ночи». Эти произведения оказали своим патриотически-романтическим содержанием сильное влияние на народ и разжигали в нем оппозиционные, даже враждебные чувства к баронам-помещикам с их привилегиями. Возбуждающее влияние рассказа Борнхёэ «Мститель» сказалось явно и во времена Освободительной войны 1918—1920 гг.

Третий современник Эдуарда Вильде — Август Кицберг (1856—1927) начал свою писательскую деятельность позже и вошел в историю эстонского театра как отец эстонской художественной драмы. Его главная вещь, драма «Оборотень», уводит зрителя в далекое прошлое, во времена суеверий и феодального строя. В этой драме личность борется против массы и, ища свободы, погибает. Кицберг написал несколько пьес и издал том рассказов из деревенской жизни, написанных с большой теплотой и мягким юмором.

Из писателей, явно противоположных этим романтикам, причисляемых к школе критического реализма, самый видный — Майт Метсанурк (псевдоним Эдуарда Хубеля, 1879—1959). Его отчасти можно сопоставить с Салтыковым-Щедриным. Он брал сюжеты из современной ему жизни и часто уже

из городского быта, бичуя карьеризм, фарисейство, снобизм. Интересуясь вопросами этического характера, он посвятил целий роман исследованию души коммуниста-подпольщика, вождя, попавшего под суд и расстрелянного. Роман этот содержит, между прочим, серьезные размышления о Боге и носит название «Бесследная могила» (1926). Один из его рассказов озаглавлен «Без Бога», но безбожником автор не был. Наибольший успех имел исторический роман Майта Метсанурка — «Битва на реке Юмера» — (1934) — из времен тевтонского нашествия в начале 13 века. В противоположность эстонским романтическим произведениям роман этот написан реалистически, с большим знанием быта и эпохи. Перу Метсанурка принадлежит также ряд драматических произведений, из которых наибольшим успехом пользовалась комедия «Жизнь святых» (вернее: «Жизнь святош»).

Совершенно особое место занимают два других эстонских писателя: **Оскар Лутс** (1887—1954) и **Ян Окс** (1884—1918). Обоих критика вначале не хотела признавать полноценными писателями: первого приняли за писателя для юношества, второго же просто не знали куда отнести из-за его совершенно оригинального языка и своеобразного мышления. Первый приобрел широкую популярность, второго ценили лишь очень немногие. О. Лутс, который очень любил Н. Гоголя, дебютировал в 1912 г. рассказом «Весна» из ученической жизни деревенской школы, полным такого необузданного юмора, что автор решил написать книгу «Весна II» с теми же действующими лицами.

По этим произведениям во время самостоятельности Эстонии была поставлена пьеса, которая имела шумный успех во всех двенадцати театрах страны. Успех этой пьесы продолжается и поныне, «Весна» на сценах советской Эстонии достигает рекордного числа повторений, давая удрученному зрителю возможность отдохнуть от большевистского казенного, тенденциозного и однообразного репертуара. О. Лутс написал и ряд рассказов в духе Диккенса из жизни маленьких людей и подарил эстонскому театру до сих пор не превзойденных три одноактных комедии.

Ян Окс первоначально выступил с натуралистическими стихами и заслужил ими прозвище *enfant terrible*, но главное его творчество, это, конечно, — проза: рассказы, этюды — все из жизни самого бедного населения острова Эзель. Себость, нищета, удручающая атмосфера этой жизни под пером Окса принимает необычайную форму и гнева и глубокой,

затаенной боли, но эти произведения не лишены и неожиданного, оригинального лиризма. Иногда Ян Окс дает целые страницы детальных описаний природы и бытовых мелочей, но вдруг они прерываются таким взрывом чувства, которое ошеломляет читателя своим экспрессионизмом. Недаром эстонский критик Туглас сравнил неуравновешенное творчество Окса с вулканом, извергающим огонь и лаву. Часто кажется, что его перо не поспевает за бурным потоком мыслей, и потому рождаются срывы, провалы, неясности. Такие страницы позволяют назвать Яна Окса первым эстонским (и единственным) сюрреалистом. Кстати, в то время сюрреалистическое направление в Европе еще даже и не рождалось. Ян Окс, примерно, такое же явление в эстонской литературе, как Марина Цветаева в русской поэзии. Немудрено, что два томика его рассказов и миниатюр (уцелевших от пожара, уничтожившего большую часть его вещей) да томик свежих и метких критических статей были опубликованы только после его смерти. Почти полное литературное наследие Я. Окса нашло издателя лишь в эмиграции.

Перелом в развитии эстонской литературы совершился после революции 1905 г. Толчок к этому, и довольно сильный, дали молодые писатели литературного объединения «Молодая Эстония», которое хорошо охарактеризовано Т. Петровской в ее статье «Об эстонской поэзии» в «Новом журнале» № 66. Перелом в эстонской прозе ознаменовался творчеством **Фридеберта Тугласа** (псевдоним Михельсона, р. 1886). Он резко порвал с натурализмом — в первую очередь своих собственных юношеских опытов — и отдался всецело развернувшимся в те времена в Европе символизму, эстетизму, импрессионизму, получив первое знакомство с ними через русских модернистов. Впоследствии, особенно в начале самостоятельности Эстонии, Туглас всецело ушел в фантастику и, лишь приближаясь к своему 50-летию, вполне освободился от всех «измов», написав свою лучшую беллетристическую книгу — воспоминания из детства «Маленький Иллимар» (переведена на русский и немецкий языки). Но главное значение Ф. Тугласа — его критические работы. В них всегда было отрицательное отношение к немецкому влиянию и тяга к Франции, Англии и Скандинавии (его любимцы: Флобер, О. Уайльд, Ибсен — особенно «Пер Гюнт» — и финский классик Алексис Киви). Результаты его литературной деятельности: 8 томов критических статей и три основательных монографии. Как критик, он оказал заметное влияние на эстонскую лите-

ратуру, даже на маститого Эдуарда Вильде, побудив его к более тщательной отделке своих вещей. К начинающим писателям Туглас всегда относился благосклонно, особенно в качестве долголетнего редактора ежемесячного журнала «Творчество». Ему же был обязан поощрением Ян Окс. После революции 1905 г., в которой Туглас принимал участие как агитатор, он бежал, как и Вильде, заграницу и прожил в Финляндии и Париже до весны 1917 г., где его литературный кругозор сильно расширился.

Эмигрировать по той же причине вынужден был и его сверстник, друг и товарищ по партии социал-демократов (меньшевиков) Карл Румор (псевдоним Аст'а, род. в 1886 г.). В отличие от партийных товарищей, Эдуарда Вильде и Тугласа, которые после самостоятельности Эстонии бросили партийную деятельность, К. Румор остался политиком, до старости лет сохраняя свой пыл как в жизни, так и в литературе — будь это его юношески-бойкие и романтикой окрашенные рассказы, собрание эротических новелл или в эмиграции недавно им опубликованный роман «Распятие», в котором описаны охваченные религиозным фанатизмом массы. Место действия — знаменитая Бразилия с ее экзотикой, порой чересчур яркой, непривычной для эстонской литературы.

Первенство в эстонской литературе в двадцатых годах перешло от Эд. Вильде к Антону Таммсааре (псевдоним Ханзена, 1878—1940), после опубликования им романа в пяти толстых томах «Правда и право» (1926—33). Начал Таммсааре рассказами из деревенской и студенческой жизни, но он заболел туберкулезом и был вынужден бросить университет и поселиться в глухи у своего брата-лесника. Там он выздоровел и за эти годы написал роман. Первая часть этого пятитомника — эпопея труда и борьбы с природой, полная неудач, исканий правды и права, стараний крестьянина-землероба пытлив и кровью поднять доходность своего хутора. Следующие три части ведут отпрыска этого труженика через гимназию, 1905 год и сквозь жизнь столичного новоселжившегося общества, здесь — неудачная женитьба и полное, даже трагическое разочарование в жизни и решение возвратиться к природе, к простой, здоровой жизни и работе в отчей усадьбе. Пятая часть и удовлетворяет это стремление героя.

Роман весьма содержателен, в нем красочны многие типы, он полон интересных наблюдений, размышлений, философствований. Главная ценность романа в том, что это как бы ли-

тературный памятник вечному, никогда работы над своей землей не бросающему эстонскому крестьянину.

Возможно, что Таммсааре, переводя Достоевского на эстонский язык («Преступление и наказание»), увлекался им. И некоторое родство между Алешей Карамазовым и девочкой с парализованными ногами есть во 2-й части «Правды и права». Девочка эта силой молитвы становится на ноги и этот эпизод как бы бросает благостную тень на дальнейшее развитие романа. Отрывки из I, II и V томов этой эпопеи, поставленные на сцене, имели большой успех.

В отличие от всех упомянутых писателей, начавших писать рано, **Карл-Август Хиндрей** (род. в 1875 г., умер после 1944 г.) выпустил свою первую беллетристическую книгу, когда ему было уже 57 лет. Он был художник, учился в школе барона Штиглица в Петербурге, потом в Мюнхене и Париже. Долгие годы работал карикатуристом и театральным и литературным критиком в редакции старейшей эстонской ежедневной газеты, издал ряд детских иллюстрированных книжек с своим же рифмованным текстом, работал как журналист, как военный корреспондент и вдруг выпустил собрание совершенно, в смысле художественном, зрелых новелл, обнаруживающих его недюжинный талант. Как в первой так и в последующих его книгах есть глубокие и очень тонкие психологические рассказы из жизни буржуазии и интеллигенции. Но совершенно заслуженный успех этих произведений его не удовлетворил, и он занялся историей, той эпохой, когда эстонцы еще не были покорены рыцарями-меченосцами. Результатом была опять удача: романы эти удовлетворяют вкус не только юношества, но и требовательного читателя. Непримиримый враг большевиков К. А. Хиндрей во время второй оккупации страны ушел в подполье и там скончался неизвестно когда.

Как и Хиндрей, из журналистов, и также в зрелом возрасте, перешел в литературу **Хуго Раудсепп** (1883—1951?), но с той только разницей, что перо фельетониста и критика он променял на перо драматурга. Его комедия «Демобилизованный отец семейства» (1923) шла в лучшем театре «Эстония» (основанном в 1906 г.) и с таким успехом, что Раудсепп всецело посвятил себя с тех пор театру. Он писал ежегодно новую вещь и даже в условиях оккупации, пока большевики за его явное отклонение от генеральной линии не уморили его в тюрьме, где он скончался в 1951 г. (по одной версии: в Сибири). В свободной Эстонии Раудсепп, по-

лучая писательскую стипендию до конца самостоятельности государства, в своих пьесах не щадил никого. хотя в недавнем прошлом принадлежал к руководству эсеровской партии. В комедиях он критиковал и подчас остро бичевал, но всегда с неотразимым остроумием и веселостью — все явления бытовой, политической, партийной, экономической, литературной жизни. В короткое время Раудсепп стал популярнейшим театральным автором в Эстонии и оставался таковым до конца.

Писатель, рассказы и романы которого переведены на наибольшее число иностранных языков, это — Август Гайлит (1891—1960). Он происходил из латышско-эстонской семьи. В своих произведениях Гайлит не очень считался (бывали исключения) с действительностью, — следуя своей необузданной фантазии. Его первый роман (1918) носит явные следы Гамсуновского странника. От этого влияния он не освободился и в своей лучшей книге «Томас Ниппернаади» (1928), доставившей ему известность как в Эстонии, так и заграницей. Этот роман печатался в берлинской газете «Фоссише Цайтунг». Ниппернаади — фантазер-гуслиар — своего рода лирический и подчас сентиментальный Мюнхгаузен. Он очень полюбился эстонской молодежи.

В числе многих книг Гайлита написал и роман об Освободительной войне — «Земля отцов» (1935), но и тут в реалистические захватывающие главы вмешалась у него арлекинада. Юмористическая жилка у Гайлита никогда не угасала. В эмиграции он издал два романа и трилогию с общим заглавием «Помнишь ли, милая», которую доброжелательная критика назвала «эстонским Декамероном».

Хотя Эстония с трех сторон и окружена водой (озером Пейпус — Чудским — с востока, Финским и Рижским заливами с севера и запада), жизнь людей прибрежья и островов, за редкими исключениями, не привлекала писателей, пока в эстонскую литературу не вошел Август Мялк (р. 1900), уроженец острова Эзель, дав произведения из жизни рыбаков, людей, борющихся с морем, кормящихся от него и погибающих в нем, увлекаемых этой стихией. Он издал собрание новелл и четыре романа: «Каменное гнездо» (1932), «Цветущее море» (1935), «Под ликом неба» (1937) и «Хорошая пристань» (1942). Эти романы написаны с глубоким знанием быта и среды. Множество типов представлены с большой яркостью. К немалым достоинствам этих произведений относится и оригинальность языка, полного народных обо-

ротов. В награду за эти рассказы и романы президент свободной Эстонии подарил автору в пожизненное пользование выстроенную для него хорошую дачу около Таллина.

Кроме повествовательной прозы, А. Мялк написал ряд пьес, из которых его комедии в духе народного театра имели успех, и несколько исторических романов, из которых роман о Северной войне — «Мертвые дома» — был премирован на литературном соревновании. Ряд романов его переведен на немецкий, шведский и финский языки. В эмиграции А. Мялк написал романы из беженской жизни и несколько пьес.

Из произведений с сюжетами из Освободительной войны большим успехом пользовался роман **Альберта Кивикаса** (р. 1898) под заглавием «Имена на мраморных скрижалях» (1936); первая версия была написана в 1923 г., под свежими впечатлениями личного участия. Роман этот описывает поход особого батальона добровольцев, учеников средних учебных заведений, участвовавших в боях с большевистскими полчищами. Роман получил премию президента республики и столицы страны. Инсценировка его шла в театре «Эстония» с аншлагом. Из других книг этого автора надо отметить первое его произведение, сборник красочных юмористических рассказов из деревенской жизни (1919). В 1944 году А. Кивикас эмигрировал в Швецию, где продолжает писать.

**
*

В первые годы эстонской эмиграции в ее литературе трактовались две главные темы: захват Эстонии Сталиным, сопровождавшийся террором, и лагерная жизнь в Германии. Из писателей, разрабатывавших вторую тему, выдвинулся **Педро Крустен** (р. 1897). В свободной Эстонии он приобрел известность психологическими романами из жизни среднего человека. В эмиграции он написал ряд книг: о бегстве под обстрелом с большевистских судов (с потоплением кораблей, переполненных беженцами и ранеными солдатами), о жизни в лагерях и др. В настоящее время П. Крустен работает над трилогией из жизни помешичьей челяди в царское время.

Авторов, писавших на тему захвата Сталиным Эстонии, много. Приведем из них четыре имени писателей, начавших писать только в эмиграции; двое из них — В. Уйбопу и Г. Хелбемяэ — сделали в свободной Эстонии только первые литературные шаги.

Валев Уйбопу (р. 1913) выпустил в 1948 г. большой роман «Никто нас не услышит», в котором развернул картину большевизации уездного эстонского города с большим драматизмом, захватывающими эпизодами протesta, гибели и ухода в подполье. Из многих его последующих книг наибольшую ценность имеет рассказ «Жажды» — психологические переживания больной, надолго прикованной к постели девочки. Несколько произведений Уйбопу переведены на шведский и финский языки.

Герт Хелбемяэ в своих произведениях тянется к далекому прошлому своего родного города Таллина. Об этом он говорит в своих произведениях, написанных в эмиграции. Яркую картину жизни порабощенной Эстонии в первый период большевистской оккупации он дал в романе о карьере певца-неудачника, выдвинувшегося при помощи партии.

Арво Мяги сделал себе имя только в эмиграции своими романами из студенческой жизни в Тарту и из крестьянского быта недавнего прошлого, обнаружив замечательное знание среды и людей. В его романе из жизни гимназии под гнетом большевиков есть места, захватывающие своим драматизмом.

Интересный двухтомный роман «Год бурь» (1949) о кошмарных событиях вторжения большевистских орд дал молодой писатель-партизан **Арвед Вийрлайд** (р. 1922). Во время германской оккупации он в числе трех тысяч добровольцев, не желавших воевать под командой гитлеровских офицеров, бежал в Финляндию и воевал там против большевиков. При приближении конца войны Финляндии с Советской Россией, все эти добровольцы возвратились на родину, где положение на фронтах под напором советских дивизий становилось все более тяжелым. Большинство этих возвращенцев — сверстники Вийрлайда — были убиты в боях. Другие продолжали партизанить или ушли в подполье. Очень редким из них удалось выбраться из-за железного занавеса. Вийрлайд бежал на одной из последних лодок через Финский залив. В лагере интернированных он написал свой роман «Год бурь» и сделал это с такой яркостью, и темпераментом, что заслужил всеобщее признание и был награжден литературной премией. Работая в типографии, сперва в Англии, потом в Канаде, Вийрлайд выпустил еще три романа, из которых один, «Могилы без крестов» (1952), посвящен его товарищам по оружию, вспомнившим свое существование травимого зверя в глухих землянках на болотных островах и в городском под-

полье, без всякой надежды на спасение или на человеческую жизнь. Роман был переведен на шведский язык, о нем хорошо отзывалась критика, и недавно он вышел во французском переводе в Париже у Альбэн Мишель.*

Внйрлайд опубликовал еще два романа: один о рассеянных своих бывших товарищах в свободном мире, прозябающих без иллюзий и надежд на освобождение родины (переводится на французский язык) и другой — о судьбе попавших в лагеря и на поселение в Сибири.

Из молодого — теперь уже среднего — поколения большими симпатиями пользуется Карл Ристикиви (р. 1912). Уже в свободной Эстонии он был отмечен самим Таммсааре за первый его роман «Огонь и железо» (1938) из жизни фабричного рабочего. На конкурсе этому роману была присуждена высокая премия. До эмиграции Ристикиви написал два романа: один из купеческой жизни, другой — из жизни учителей. Оба романа были столь хороши, что в эмиграции их переиздали наряду с эстонскими классиками. В эмиграции Ристикиви опубликовал еще роман в стиле Ф. Кафки (1953) из жизни бездомного беженца. Это был первый отклик эстонской литературы на модный стиль европейского романа. Книга эта вызвала оживленную дискуссию. Восемь лет спустя Ристикиви удивил читателя снова, на сей раз романом «Горящее знамя» из далекой германской истории: освободительный поход четырнадцатилетнего Конрадина Гогенштауфена в Италию и его трагический конец. Роман свидетельствует об основательном изучении автором источников и написан ярко.

Ристикиви только что опубликовал новый исторический роман «Последний город» (1962). Это роман из трагической жизни крестоносцев во время царствования Филиппа Прекрасного; возможно, что роман как-бы символизирует страдания людей нашего времени.

Отчасти по пути Ристикиви с его экспериментом модернистического романа идет в последнее время Бернард Кангр (р. 1910) в своих романах из Тартусской студенческой жизни. Некоторую склонность к фантастике он обнаружил и раньше в романе «Ключи к небу». Начал же он свою прозу двумя книгами из прошлого — из времен 1905 г. Но Бернард

* Роман вышел с вступительной статьей Артура Адсона. А. Адсон — выдающийся эстонский поэт, критик, драматург и автор нескольких книг воспоминаний. Он же переводчик русской прозы на эстонский. РЕД.

Кангро больше поэт, чем прозаик. Уже в 1935 г. он дебютировал сборником стихов («Сонеты») и до сих пор издал десять сборников, из них семь в эмиграции, главным образом со стихами на темы патриотизма, захватывающего своей образностью. Большая заслуга Б. Кангро в том, что он основал и редактирует уже тринадцатый год литературно-культурный журнал «Tulimuld» («Новый»). Кроме того, он создал Кооператив Писателей для издания новинок. До сих пор это издательство выпустило около ста книг: романов, рассказов, мемуаров, стихотворений, рассказов для детей и юношества, перевод «Фауста», историю литературы, художественные монографии, пять томов — описание покинутой родины с фотографиями и текстами и пр. Кооператив Писателей работает по подписке и издает двенадцать книг в год.

Этот обзор охватывает эстонскую литературу царского времени, не препятствовавшего ее возникновению и развитию, период самостоятельности Эстонии, давшей широкий размах литературе, и период эмиграции, где еще есть единственная возможность продолжения свободного творчества.

Артур Адсон

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ

У дюны песчаной следы чьих то ног.
Их море залижет, засыпет песок.

Пока они чётки пойми их, прочти,
Ведь это же строчки, поэма почти.

Мужская — так твердо ступает нога,
А женская рядом мала и легка.

Прекрасны и босы оставили след
Так близко, так рядом, так тысячи лет

Вдвоем уходили под звуки волны
Все те, кто любили, желаньем полны.

Взгляни — вот поодаль примятый песок —
Там девушка села, а юноша лег.

Ты может быть видишь, в прозреньи своем
Начало поэмы о счастьи вдвоем.

M. Волин

ЗАМЕТКИ О ПРОЧИТАННОМ

«ВСТРЕЧИ» ФЕДОРА СТЕПУНА*

Уже давно не было такой интересной и живой русской книги, которая предлагала бы для размышления так много перспектив.

Даже самые решительные противники идей Федора Степуна обычно признают его талант. Но в его книгах привлекает что-то еще более важное и более редкое чем талант — способность к человеческому диалогу, способность внимательно прослеживать свои и чужие мысли от самого их рождения и до конца. Даже в полемике Степун, в отличие от большинства русских публицистов, никогда не прибегает к тем, адвокатским приемам, цель которых не выяснить сущность спора, а «поддеть противника», поймать его на случайных недосмотрах и поверхностных противоречиях. Хотя Ф. Степун при его умственной и словесной находчивости, если бы этого захотел, вероятно мог бы разбить самых испытанных спорщиков адвокатского типа.

Отказ от таких приемов, не остался без награды. Книги Степуна приоткрывают читателю ту живую и плодотворную, с бесчисленными возможностями развития глубину, которая возникает только при доброй и пристальной сосредоточенности внимания. Вот почему в них никогда не найти ничего, что приносит «худые плоды». Эта добрая воля Степуна, отвергающая всякое человеконенавистничество, неразрывно связана, я думаю, с его «новоградским сознанием».

В своем очень интересном отзыве о «Встречах» Георгий Адамович пишет, что если устроить чаепитие «последних монгикан русского модернизма», то «председателем на таком «симпозионе» следовало бы избрать Степуна и именно он мог бы произнести в заключение достойное слово в память

* Федор Степун. «Встречи». Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен. 1962.

дорогого рассеявшегося былого». Я сейчас же подумал: это может быть правда, но не вся правда. Ведь монголы русского модернизма жили в эмиграции на той «противоположной миру террасе», на которой, по выражению Поля Валери, «содрогался и мечтал Паскаль», а Степун с Фондаминским и Федотовым основывают «Новый Град». И если бы устроить другое чаепитие, на которое собрались бы немногие еще оставшиеся в живых участники «Нового Града», то именно Степуна следовало бы избрать председателем и он произнес бы достойное слово обо всем, что в русском прошлом двигалось к «Новому Граду» и опять начнет расти в будущее, когда кончится чудовищная навязанная России остановка.

Мне скажут: «Встречи» Степуна — это только сборник статей о нескольких писателях и поэтах, при чем же здесь «Новый Град»? Но, во-первых, новоградское сознание определяет подход ко всем явлениям человеческой жизни, в том числе и к искусству. В чем сущность этого сознания? Это был бы слишком долгий разговор. «Новый Град» вырос как синтез двух основных, долго казавшихся противоположными друг другу тенденций «русской идеи». В самом главном — это вера, что существует общечеловеческое дело, которое должно быть совершено в этом мире и должно этот мир преобразить, — недаром столько русских новоградцев начали с марксизма. Но это также и утверждение абсолютной, независящей от его общественных отношений, ценности каждого человека, призванного иметь жизнь вечную по ту сторону всех времен, — недаром новоградцы ушли от марксизма, с его антропологией, игнорирующей внутреннюю глубину человека.

Во-вторых, сборник «Встречи» открывается статьями о Достоевском и Толстом. А они оба были не только гениальные писатели, но подобно библейским пророкам провозвестники идеи абсолютной справедливости, вдохновляющей космическую драму движения человечества к «Новому Граду». Вот почему Степун, если бы даже он не был новоградцем, как внимательный критик не мог бы говорить о Достоевском и Толстом вне перспективы этого движения.

Достоевскому посвящены в сборнике две статьи. В первой — «Мироизречение Достоевского». — Степун дает очень интересный и глубокий анализ связи художественных приемов Достоевского с его мироизречением. Этот анализ помогает лучше понять героев Достоевского и значение их идей. Вторая статья — ««Бесы» и большевистская революция» — продолжает и развивает первую. Это два этапа долгого,

всей жизни, размышления над пророческим характером произведений Достоевского. Они многое совсем по-новому освещают и заставляют читателя пересмотреть и проверить свое собственное понимание ответов Достоевского на вопросы, которые стоят перед человеком нашего времени так же, как перед человеком 19-го века, но еще острее, еще более апокалиптически грозно.

Степун говорит о гениальном и поразительном предвидении, с каким Достоевский дал историософскую и социологическую характеристику грядущей большевистской революции. С этим нельзя не согласиться, но с одной оговоркой. Степун совершенно прав указывая, что в шигалёвщине Достоевский дал прообраз ленинизма. Другой вопрос предугадал ли Достоевский в своих профетических романах психологию большевистских вождей? Несомненно, что в каждом крупном большевике было что-то от великого инквизитора, а герои «Бесов» напоминают большевиков своей фанатической готовностью приносить живых людей в жертву идеологии, и Петруша Верховенский предвосхищает ленинский тезис о «переходном поколении». Но есть и глубокие различия. Вопросы мучившие безумное и гениальное сознание Кириллова вряд ли когда-нибудь приходили на ум Ленину или Сталину и даже в более «романтическом» Троцком не найти и следа ставрогинского демонизма. Сам Степун подчеркивает, что Достоевский во всех своих героях, даже в самых «смрадных» вселяет «предельно взволнованные души и идейную одержимость». Идейной одержимости у большевистских вождей было, конечно, сколько угодно, но в ком же из них была предельно взволнованная душа? Это все люди большой воли, но плоского ума, люди без всяких шестых чувств, с полным отсутствием метафизического воображения. По сравнению с ними даже самые ничтожные бесы Достоевского кажутся существами бесконечно более таинственными, сложными и глубокими. Если уж кого сравнивать с большевиками, то это не героев Достоевского, а охваченных административным восторгом губернаторов и градоначальников Щедрина. В любопытной книге «Политика и роман» Ирвинг Гау замечает: «Бесы — это люди странные, крайние индивидуалисты, беспочвенные одиночки. В то время как бирократ-сталинец — это человек-машина, он натренирован в раболепстве и за ним стоит могущественное государство... Петр Верховенский не удержался бы среди сталинцев ни одной недели».

Но с этой оговоркой повторяю: нельзя не согласиться со Степуном, когда он говорит о поразительной дальновидности Достоевского. Правда и раньше, и в России и на Западе, раздавались предостерегающие голоса. После опыта якобинского террора, многим приходили опасения, что новая революция завершится еще более кровавой диктатурой. Задолго до Достоевского Шатобриан предсказывал, что социалистическое равенство может быть установлено только despoticески и приведет к рабству, какого еще не было в истории человечества. И все-таки ясновиденье Достоевского удивительно. Ведь он писал в годы, когда оптимизм философов 18-го века с новой силой воскрес в социалистических доктринах и когда вся радикальная русская интеллигенция, подобно героине Чернышевского Вере Павловне, грезила о хрустальном громадном доме. Ясновидение Достоевского еще более удивительно, если вспомнить его отвращение к буржуазии и если вспомнить, что мало кто почувствовал и описал ужас тогдашнего положения рабочих с такой силой, как Достоевский. В удивительных «Зимних заметках о летних впечатлениях» он пишет: «Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь ворота... В Гай-Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысел своих малолетних дочерей... Помню раз, в толпе народа, на улице, я увидел одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую...» После этого ждешь если не алёшного «расстрелять!», то хотя бы гневного призыва к бунту: нельзя, чтобы так продолжалось, с этим нельзя примириться. Но Достоевский к революции не призывает. При всей его ненависти к бесчеловечному «Валалу», он отшатывается и от «фурьеизма», так как «фурьеизм», обещая искоренить с этой чудовищной несправедливостью, требует за это с человека «только самую капельку его личной свободы». Проницательность, с какой Достоевский понял к чему приведет это требование, действительно поразительна. Но что же тогда делать, что предлагает Достоевский? Определение братства, которое он дает в «Зимних заметках о летних впечатлениях» стало, по выражению Константина Мочульского, «катехизисом всей современной христианской социологии». Мочульский пишет: «Отношения между личностью и коллективом, различие между безбожной коммуной и христианской общиной, персоналистический ха-

рактер будущего социального порядка, основанного на любви и свободе, — всё заключается уже в этом рассуждении величайшего нашего мыслителя». Да, это уже начертание «Нового Града». Но что стало с этим начертанием в последующих романах и политических высказываниях Достоевского? В своей статье Степун только мимоходом этого касается. Впервые эта статья была напечатана в сборнике «Судьбы России», вышедшем в Нью-Йорке в 57-ом году. Но теперь, во «Встречах» она увеличилась на несколько очень важных страниц. На этих добавочных страницах Степун говорит о мироизречении Шатова. Он не соглашается с Мочульским, слившим «воинственный национализм» Шатова с мироизречением самого Достоевского. Степун пишет: «Если говорить не о несчастном Шатове, а о его злосчастной идеологии, то нельзя не увидеть, что шатовщина все же ближе к языческому национализму германцев и в особенности Гитлера, чем к православно-национальной историософии Достоевского». Два вопроса тут приходят в голову. Как Мочульский, подлинный новоградец, и на редкость чистый и светлый человек, не почувствовал этой страшной близости шатовщины к нацизму, и как Достоевского, с его знанием, что русская идея — это братство всех людей, могли искушать идеи Шатова? Степун, конечно, прав, указывая на разницу между подлинными взглядами Достоевского и верованиями Шатова. Но он сам признает, что Достоевский «нередко впадал и в грех конфессионального шовинизма, и в грех националистического мессианизма». Это правильное слово — грех. Достоевского этот грех доводил до несовместимых с его идеей всеобщего братства припадков человекененавистнического антисемитизма и ксенофобии. Будущие русские новоградцы будут благодарны Степуну за это предупреждение о зловещей природе шатовщины. Хотелось бы, чтобы он продолжил эту статью, хотелось бы, чтобы она выросла в целую книгу. Она подымает слишком много вопросов, на которые новоградцы должны ответить. И кроме Степуна, теперь нет никого, кто такую книгу мог бы написать.

Еще одно пожелание. Степун говорит о следах в программе и тактике большевиков теорий Ткачева и Нечаева и бакунинской страсти к разрушению. Эти следы бесспорны, но в последнее время им стали придавать слишком уж большое значение. По рукам пошло представление, будто большевизм — это чисто русское явление, а марксизм тут совсем не причем. Я думаю, такое представление неверно, опасно и может

принести много зла. Игнатий Лойола, Бентам, якобинская диктатура, Бланки, интегральный марксизм, Клаузевиц, Жорж Сорель, сколько еще других западных учителей «учили» Ленина ленинизму. Хотелось бы, чтобы Степун об этом напомнил и восстановил правильную историческую перспективу генезиса большевистских идей.

После двух статей о Достоевском статья о Толстом: «Религиозная трагедия Толстого». Степун отмечает главные этапы пройденного Толстым пути: арзамасский ужас, попытки найти веру, отчаянье, уход из Ясной Поляны, смерть в Астапове. Как новоградец Степун, конечно, не может принять убеждения Толстого, что никакие общественные преобразования ненужны и изменение к лучшему возможно только на пути внутреннего совершенствования каждого отдельного человека. Степун рассказывает, как сначала Толстой упорно противился всем увещеваниям принять участие в помощи голодающим, потом не выдержал и поехал в Рязанскую губернию, где проявил громадную энергию по организации этой помощи, но все-же упрекал себя за эту деятельность, нарушившую доктрину толстовства. Степун пишет: «Что все это значит? И как понять, что человек, исключительно отзывчивый на страдания ближнего и готовый на любые жертвы ради помощи этому ближнему, всю жизнь трудясь над нравственно-религиозным учением, долженствующим помочь осуществлению добра и любви в мире, создал в конце концов такую социальную этику, которая лишила ее приверженцев возможности помочи нуждающимся и страдающим? Это трагическое расхождение между этикой, т. е. учением о добре, и возможностью его практического осуществления, повторяется у Толстого во всех областях культуры». Указав на это воистину трагическое противоречие толстовского морально-го максимализма Степун пишет: «К концу жизни Толстой, правда, стал все чаще задумываться над злосчастностью своего пути, все более остро чувствовать, что он зашел в тупик и не видит дороги, ведущей в то царство христианской любви и мира, к которому он так горячо стремился. Еще до написания Софье Андреевне письма от 8 июня 1897 года, о своем решении уйти, он записал в дневнике: «Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни, и опять молюсь и кричу от боли. Запутался. Завяз. Сам не могу, ненавижу себя и свою жизнь». Эти слова трудно читать без волнения. Как могло случиться, что Толстой, с его почти сверх-человеческим гением, со всем его огромным умом и со всей его огромной волей, направлен-

ными только на одно — исполнить евангельскую заповедь, пришел не в «царство христианской любви и мира», а к глубокому, последнему отчаянию? Это трагедия не только Толстого, а всего человечества. Встают смущающие вопросы. Если такой человек, как Толстой, не мог, то кто же тогда может, возможно ли вообще человеку стать христианином?

Степун этих вопросов не касается. Как человек церковно верующий он объясняет трагедию Толстого тем, что Толстой не хотел принять учения церкви и потому не мог стать христианином. Мне это объяснение представляется не вполне убедительным, хотя формально Степун прав. Если между христианством и символом веры ставить знак равенства, тогда Толстой не христианин. Но правильно ли ставить такой знак равенства? Степун пишет: «Для людей христианского сознания непосредственно ясно, что между учением Толстого о Христе и христианством, кроме общих этических положений, свойственных и другим как религиозным, так и философским системам, нет ничего общего». Здесь можно спросить: а что, если христианство получило в более или менее готовом виде от других религиозных и философских систем не только общие этические, но и общие метафизические положения? А что если христианство для своего выражения могло воспользоваться и другой метафизикой или совсем обойтись без метафизики? А что если сущность христианства и не мораль и не метафизика, а огонь мистической любви? «Огонь пришел я низвестъ на землю». Тогда данное Степуном объяснение религиозной трагедии Толстого в значительной мере отпадает. Тогда совсем по другим признакам определяется кто христианин. Тогда окажется, что многие благочестивые, но не имеющие любви люди — только номинальные христиане, а, например, Рамакришна — великий христианский святой, брат по духу Франциска из Ассизи. Я помню слова епископа Иоанна Сан-Францисского, написанные им в память «безбожника» Владимира Зензинова: «Он думал, что верит только в «Высшее добро» и ему очень хотелось все жизненно служить этому Добру; и он служил ему по своему разумению, в соответствии с тем, что он понял в добре: он отдавал в последние свои годы без всякой политики жизнь за ближних... Я верю, что таких людей, — «верных в малом», как Владимир Михайлович Зензинов, Всемогущий Творец и Спаситель людей, узнает и признает за своих...» Если это так, то религиозная трагедия Толстого вряд ли объяснима только тем, что его разум не мог принять догматов церковного веро-

учения. Страшный вопрос — почему, несмотря на все его героические, воистину сверхчеловеческие усилия «подражать» Иисусу Христу, Толстой так и не нашел в своем сердце милосердной и деятельной любви, обнимающей не только всех людей, но и весь мир, остается открытым.

Кроме статей о Достоевском и Толстом в сборнике «Встречи» мы находим еще статьи о Бунине, Зайцеве, Вячеславе Иванове, Андрее Белом, Леонове. Эти статьи написаны также ярко и талантливо, как и статьи о «великих тенях прошлого». Но обсуждение их лучше отложить. Это переход в мир совсем других вопросов.

Кончу тем же, с чего начал: уже давно не было такой живой, волнующей, и я бы сказал, новой, с новыми мыслями русской книги. За ней чувствуется человек доброй воли, с кем возможен диалог и кому стоит задавать вопросы о том, как нам нужно смотреть на человеческое дело на земле.

B. Варшавский

С Т И Х И И З С С С Р

Стихи О. Алексиной получены нами с оказией из Советского Союза. Там произведения этой поэтессы не печатаются, как «несозвучные» и она вынуждена «выпускать» рукописные сборники для узкого круга друзей. РЕД.

**
*

Когда ты говоришь — «прости»,
Я радуюсь, как откровенью,
Так просто, так легко найти
Невиноватому прощенье.

Когда ты говоришь — «должна»,
То ото всех долгов свободна,
Своею волею вольна,
Исполню, что тебе угодно!

Когда ты говоришь — «в тот час
Тоска охватывает злая»,
Я думаю — вот самый раз
Утешенной быть, утешая!

Когда я говорю — «убей»!
Не тороплю я час свой смертный,
Но вряд ли связи есть сильней
Убийцы со своею жертвой.

Когда я говорю — «разрыв»,
Не опускай печально руки,
Но поспеши пройти обрыв
Томительно крутой разлуки!

Я ничего не говорю,
Роняя лепестки ромашки
В широком полевом безлюдьи...
Завидую твоей рубашке,
Она твою дышет грудью!

Н Е З А Б У Д К А

Нам незабудки дали в руки небо,
Дарованное каждому наследство,
Тот, кто сухим и слишком твердым не был,
Увидит в них неконченное детство.

Дивлюсь я им. Беспечные малютки.
Взялись откуда? Разбежкались что вы?
Не ведаете разве, незабудки,
Как беспощаден к вам удар подковы?

Избрали вы тенистое, сырое,
Глухое место, чтобы рассмеяться,
Где кто-то плакал, кто-то похоронен,
Вы там рассеяли крупицы счастья.

И память человека — тоже тени,
Глухие топи, след, водой размытый,
Обвалы, а под гнетом наслоений,
Как говорят, сокровища зарыты.

«Не позабудь», — ты говоришь безмолвно.
А надо, чтобы мы тебя просили, —
«Ты — безмятежный, ты голубокровый,
Я поклонюсь твоей спокойной силе».

**
*

Зима наступает, и в каждую грудь
Предвкушение проруби черной
Прокладывает незаметно путь, —
Проложит, глядит упорно.

Но я, как прежде, не подпущу
Близко к сердцу угрозы,
Пускай, как птица, не полечу
К теплым волнам от мороза.

Умею теперь, как хочу, держать
В памяти золото зноя,
В черные улицы небо вставлять
Апрельски голубое.

Свидетельница больших перемен,
Страшных разруш ученица,
Просторы я вижу сквозь камни стен,
В пустынях безводных — столицы.

Л О Ш А Д Ъ

Прекрасная, милая лошадь,
 Как тебе неудобно без рук!
 Человек с тобой рядом хлопочет,
 Твой хозяин, но, нет, не друг...

Твоя плоть — вся из линий для храма,
 Ты — на сушу поднятый вал,
 Мир тобою сильно и прямо
 Драгоценное слово сказал.

И не детское лепетанье,
 Не мужской, повседневный гнет
 Только женское богоисканье,
 Даst свободу тебе и почет.

Как прекрасна последняя кляча.
 Отчего же сказать нельзя,
 Что в ней трогательны до плача
 Богородицыны глаза?

Скакуны и тяжеловозы!
 Вы собою живили наш путь.
 Но когда наши войны и слезы
 Переполнят земную грудь,

Чёрный конь, зажигая каменья,
 Как огонь прилетит с горы,
 Чёрный конь, но в нем было колене
 Гневной совести, крайней поры.

КОРОВА

Я не люблю тебя, корова,
Болышой, нескладный чемодан,
Который грубо и сурохо
На четырех подпорках дан.

Уныло-нудное мычанье,
Подвешенная палка-хвост,
И сквозь тугое пониманье
Нередко — взбалмошная злость!

Но молоко твоё, корова,
Как в летний полдень облака,
Его дает повадкой ровной
С округлым локотком рука.

Но в белизне густой сметаны
Голодной жадности предел,
Вкушая, будто входишь в страны,
Которых издавна хотел.

Тогда с почтительностью новой
Переводя обратно взгляд,
На твой объем смотрю, корова,
На твой медлительный парад.

Ты — дом, идущий сам навстречу
От луговых нагретых трав,
Высоким небом я отвечу,
Всю мощь твоих заслуг признав!

Л О С Ъ

Трескучий транспорт, наглые машины.
 Уж не грущу о том, чего не довелось,
 Но вечерами ты живой картиной
 Подходишь к сердцу, темносерый лось.

Твой мягкий лоснится бурдюк под шеей,
 Верблюжьей линией горбатой — тронут нос.
 Ты землю общую с людьми имеешь,
 Хоть вверх корнями в воздух леса врос.

Ты замычал. Шершавость губ коровью
 Я будто чувствую в ладони у себя.
 Мне стыдно тягу звать свою — любовью,
 Ведь человек убьет и съест любя.

И сказку выдумать я не сумею,
 Где б ты, как брат мой, подошел к окну
 Пожаловаться, что в лесу есть змеи,
 Поговорить про ночи, про весну...

Золотоглазый! Показавшись в чаще,
 И влажным носом фыркнув в темноте,
 Понять ты должен, что есть что то слаше
 Воды студеной для тебя во мне.

В глазах — живое заблестит узнанье,
 Сочувствия улыбка промелькнет...

1951

**

Противлюсь я смятенью и тревоге.
 Но в странах вихрь проносится такой,
 Что города сметаются с дороги,
 И не смутится только не живой.
 Чудовищ, выращенных облак выше,
 В местах, знакомых с детства, мы следим.
 Они легко откусывают крыши
 И воздух обрашают в едкий дым.
 Какая же борьба теперь возможна?
 Где золотое знание найти
 Всему ответить так, как это должно
 На верном, на единственном пути,
 На том пути, где жизнь живым потоком
 Вольется в пересохшее русло,
 Где все, — кто есть и скорбный, и жестокий —
 Воскликнут удивленно: как светло!

1952

З А К А Т

Остановлюсь и прослежу закат, —
 Такой большой подарок ни за что.
 Награда в нем или печаль утрат
 Несбыточной пылает красотой?

Такой столицы мы не создадим
 Вовеки на скучеющей земле,
 Великолепным торжеством своим
 Подобный вырезу огня во мгле.

Над нищетою человеческой судьбы
 Исходит силой пламенный закат,
 Всех созывая голосом трубы
 Из будущего в прошлое назад.

O. Алексина

САВИНКОВ *

Авторский перевод с польского.

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

Когда для меня вполне выяснилась не только бессмысленность, но и явная и совершенно бесполезная опасность Гатчинского сиденья, я явился к Верховному Главнокомандующему (которым был А. Ф. Керенский) и испросил у него разрешение отправиться в армию, имея в виду войска нашего XVII корпуса. Одновременно я предложил Савинкову уехать со мною навстречу генералу Шиллингу, командиру XVII корпуса. Ночью с 28 на 29 октября мы выехали по направлению к Пскову.

Как я уже вспоминал в другом месте, великий князь Михаил Александрович, брат отрекшегося государя, первоначально изъявивший желание уехать из Гатчины в моем автомобиле, узнав что со мной едет Савинков, вновь прислал своего секретаря Джонсона поблагодарить, отказываясь ехать с нами под благовидным предлогом «изменившихся обстоятельств». Это именно тогда имела место значительная для меня сцена. Когда я спросил Савинкова, как он отнесется к возможности совместного путешествия с великим князем, и он мне живо ответил: «Ведь не можем же мы его оставить здесь. Большевики будут здесь через несколько часов».

С этого дня по вторую половину января 1918 года я с Савинковым не расставался, ни в долгом и довольно разнообразном нашем странствовании, ни в вынужденных остановках, главными пунктами которых последовательно были: Псков, Петроград, воюющая и горящая Москва, спекулирующий, торговый Киев, разнужданный и вполне обольщевиченный Ростов-на-Дону и тихий, почти как траурный, Новочеркасск.

Из всех разнообразных впечатлений и наблюдений, заслуживающих быть отнесенными к характеризующим лич-

* См. «Н. Ж.» кн. 68.

ность Савинкова, хронологически на первом месте надо отметить нашу остановку в Пскове, где находился штаб главнокомандующего Северным фронтом. Савинков считал необходимым лично переговорить с генералом Черемисовым, главнокомандующим фронтом, о преступно растраченных им, или его штабом, возможностях XVII корпуса, но Черемисов, как и следовало ожидать, отказался принять Савинкова, как лицо, не занимающее уже никакой государственной должности. Это побудило и меня отказаться от приема у главнокомандующего, не столько, впрочем, из товарищеской солидарности с Савинковым, сколько из-за совершенно очевидной бесполезности свидания и разговора. Довольно откровенная беседа с генералом Бараповским, генерал-квартирмейстером штаба фронта, подтвердила правильность моего решения.

Генерал Бараповский доверительно нам сообщил, что все распоряжения XVII корпусу исходили лично от главнокомандующего фронтом и что ни начальник штаба фронта, ни квартирмейстерская часть ни в какой степени не являются ответственными за разложение морали и разрушение стойкости войск корпуса. Эта откровенность генерал-квартирмейстера подтвердила мои предположения. Кстати будет напомнить что генерал Бараповский приходился Керенскому не то родственником, не то свойственником и его доверие к нам, в этом случае защитникам Временного Правительства, а тем самым и Керенского, было вполне понятно и не возбуждало никаких сомнений.

Для нас эта информация была только подтверждением нашей, в особенности моей, уверенности, что именно он, генерал Черемисов, был весьма чувствительно задет в своей амбиции и расчетах, фактом нахождения чужого корпуса на путях к обольщевиченной столице. Я убеждал Савинкова, что, по-моему, генерал Черемисов, командующий наиболее важным фронтом, возымел идею игры на две руки. Он пассивно политиковал с революционными солдатскими комитетами своего фронта, поголовно обольщевиченными, желая заслужить себе лавры «защитника революции», а одновременно и втайне от них поддерживал организационную связь и следовал мутным директивам реакционных монархических кругов и центров Москвы, будучи уверен, что этот образ действий кратчайшим путем ведет к победе над ненавистной демократией и анархической революцией. Сознательно разрушая все положительные гражданские и боевые качества единственной и последней воинской силы, которая

хотела и могла защитить и родину, и демократию, и революцию, генерал Черемисов в этой путаной игре ничего не выиграл ни для себя, ни для реакции. Но погубил он не только демократию, но и свою родину, и свое генеральское блестящее будущее. Погубил неразумно и бесславно.

Савинков по натуре был человеком очень недоверчивым, поэтому вначале он сомневался в моих предположениях, что именно главкосев Черемисов является инициатором и исполнителем разрушительного плана в отношении XVII корпуса. Кроме того, Савинков как человек глубоко штатский, совершенно не знающий психики военных, в особенности генералов такого высокого ранга, не допускавший даже мысли, что узко реакционные мотивы способны восторжествовать над патриотическими, не удовлетворялся моими соображениями и только после нашей беседы с генералом Барановским поколебался. Желая окончательно убедить Савинкова, я представил ему мою схему рассуждений, подкрепляя более спорные пункты информационным материалом генерала Барановского.

Генерал Черемисов, главнокомандующий Северным фронтом, был выдвинут на этот очень высокий и ответственный пост — революцией. Хотя он был, вероятно, достаточно способным, — всё же он был слишком молодым, чтобы при нормальных условиях занять такое высокое положение. Без революции он был бы одним из многих героических начальников дивизии русской армии, ибо даже для командования корпусом старики сочли бы его слишком молодым. В старом режиме армией руководили очень старые люди, не очень торопившиеся выдвигать молодых.

Но для Черемисова в его сознании интеллигентного офицера Генерального Штаба (а не надо забывать что в старой армии это было отличительным признаком очень высокого качества) и рассудительного свидетеля революционных событий, — революция с точки зрения его государственных, национальных и классовых интересов являлась не только злом, но и прямым бедствием, борьба с которым была долгом каждого разумного гражданина, а тем более высокого военачальника. В этом не может быть никакого сомнения. Таким образом судьба генерала Черемисова слагалась на путях трагически противоречивых.

С одной стороны революция являлась для него источником успеха, путем к славе и благополучию. Она предоставила в его распоряжение до пяти миллионов вооруженных сол-

дат, которые при благоприятной обстановке могли сыграть решающую роль в выдвижении молодого и смелого генерала на историческую арену. С другой же стороны генерал Черемисов не мог не быть заклятым врагом той же революции, что вызывало необходимость мимикрии, ибо создавалась опасная политическая игра, в которой он был вынужден представляться ультра революционным, вопреки своему лично-му и честному желанию и долгу: быть ультра реакционным.

XVII армейский корпус был нами всеми заботливо подготовлен для защиты демократического строя, государства и правительства. Но для генерала Черемисова эти цели были совершенно чужды, ибо мы, поставившие эти цели, были не только чужими, но и врагами. Для генерала Черемисова представился случай показать, кому следовало по тогдашнему времени, свою революционность, уничтожая контрреволюционное значение XVII корпуса.

Это было делом нетрудным.

XVII армейский корпус измотали распоряжения главно-командующего Северным фронтом, который использовал для этого каждый день из тех пяти недель, что корпус пребывал в его распоряжении.

Мораль этой войсковой части была не только заботливо подготовлена, но и проверена. Возникший «пьяный бунт» двух резервных дивизий в тылу нашей армии в Бессарабии был решительно подавлен в течение трех дней полками 65 пехотной дивизии, входившей в состав XVII корпуса. По духу времени это не было ни легким, ни обычным делом. И как ни печальна была необходимость стрельбы по своим, только благодаря сознательному отношению всех наших солдат, порядок был восстановлен без замедления и с наименьшими жертвами.

Один мой приятель, типичный правоверный эсер, духовный внук бабушки Брешко-Брешковской, пришел ко мне в штаб и с укором сказал: «Можно считать, что контрреволюция в 8 армии уже состоялась».

Стойкость войск XVII корпуса и его преемственная связь с демократической и республиканской идеологией группы лиц, принимавших участие в его перевоспитании и претендовавших на управление его судьбою в дальнейшем, никоим образом не могли совпадать с убеждениями, и планами генерала Черемисова, вполне разделявшего девиз реакционеров «чем хуже для демократии, тем лучше для России».

Не умея или не желая воспользоваться корпусом для своих личных контрреволюционных целей, не вполне доверяя командному и личному составу корпуса, или, быть может, разумно считая еще преждевременной всякую реставрационную акцию, он решил пресечь всякую возможность использования корпуса для защиты Временного Правительства в октябре и достиг своих близоруких целей, погубив одновременно все главные и дальние.

Вот почему, ввиду всего вышеизложенного и, принимая во внимание информацию генерала Барановского, я считаю себя вправе предъявить от имени покойного Б. В. Савинкова и своего лично, генералу Черемисову обвинение перед лицом истории в сознательном противогосударственном преступлении. Это не Керенский, Верховный Главнокомандующий и Председатель Совета Министров, повинен в октябрьском разгроме демократической республики, а генерал Черемисов, главнокомандующий Северным фронтом, который не только не защитил, но сознательно обезоружил единственную военную силу, могшую и долженствовавшую ее защищать.

Из Пскова мы принуждены были не столько уехать, сколько бежать, сначала пешком, потом на извозчике, ибо уже начался тот период человеческой судьбы, когда всё чаще приходилось думать, что человек предполагает, а Бог располагает, и ничто неизвестно. Подробности нашего отступления не так уж сложны, я о них уже упоминал, но для большей связности повествования повторю. Когда уже в сумерки Малеев подал машину к подъезду гостиницы и мы вышли с ручным багажом, чтобы отправиться «в неизвестное», к подъезду подошли четыре молодца в полувоенной одежде, обвешанные оружием, с требованием предъявить документы. Меня эта наглость настолько возмутила, что я разразился замечательной и единственной в своем роде стильной речью, на самых высших тонах идеологической убедительности, полной революционного вдохновения и комиссарского возмущенного достоинства оскорбленного грубостью каких-то совершенно неизвестных нахалов, уже обнаглевших в роли победителей. Их наступательный размах былдержан. Они просто обалдели, когда я загромоздил свою речь такими автобиографическими революционными заслугами, пересыпал такими нецензурными подробностями, что они растерялись и поверили, что наши документы находятся у швейцара гостиницы, за

которыми мы тотчас же пошли, пока еще не прошел гипноз моего красноречия.

Выходя черным ходом в огороды, оставив навсегда в пользу Малеева (шофера) оружие, шубы и автомобиль, мы вышли в другую часть города, переночевали в публичном доме, который назывался «Отель Лондон» и на следующее утро пробрались к ближайшей железнодорожной станции, где и сели в поезд. Он настолько был переполнен бесплатными пассажирами, что проверка документов была физически невозможной.

В Петроград мы приехали поздно вечером. Савинков вывел нас какими-то проходами к товарной станции, где нам с некоторым трудом удалось нанять извозчика, который привез нас к гостинице «Регина» на Мойке. Ночным швейцаром там был мой знакомый, компатриот, пан Болеслав человек во всех отношениях положительный, доброжелательный и заслуживающий доверия. На предложение пана Болеслава вписать в книгу наши фамилии я сделал незначительный жест, как бы смахивая с губ муху, что Савинкову показалось похожим на опознавательный тайный знак какой-то мафии, но что однако вполне удовлетворило нашего понятливого швейцара.

Он предоставил в наше распоряжение две смежные комнаты на верхнем этаже с выходом на черную лестницу, как бы предугадывая наше желание не обращать на себя ничьего внимания и, в случае неблагоприятного стечения обстоятельств, иметь возможность незаметно исчезнуть. Всю ночь были слышны пистолетные выстрелы в шикарном зале ресторана «Регина». Как нам потом сказали, это революционные латыши торжественно праздновали утверждение редакции первого манифеста, призывающего сынов свободолюбивой Латвии к поголовному истреблению своих баронов и к захвату их имущества, движимого и недвижимого.

Впрочем, по всему городу всю ночь раздавалась стрельба и взрывы ручных гранат. Это уже входило в революционный обычай, становилось как бы естественным акустическим фоном российскойочной жизни. И где бы мы потом ни были, — в Москве, в Киеве, в Ростове и даже в контрреволюционном Новочеркасске — везде звуки ружейной, а часто и пулеметной стрельбы убаюкивали нас и навевали боевые грэзы.

На следующий день Савинков начал действовать. Уже к вечеру он с поразительной быстротой установил связи со всеми организациями, которые казались ему заслуживающими

внимания и полезными для нового рода деятельности, — совершенно контрреволюционной.

Считая большевистский переворот дальнейшим этапом революции и являясь его противниками, мы так или иначе, почти что автоматически становились в ряды контрреволюционеров, ибо настоящие революционеры, представлявшие революционную демократию, пока что никакой организованной деятельности не проявляли и проявлять не собирались. И вовсе не потому, что были мудры, а только потому что были нерешительны. Таким образом мы, борцы февральской революции, один с международным именем, другой скромный, но убежденный рядовой-доброволец освободительного движения, к тому же еще и чужой крови, стали контрреволюционерами, сознательно готовыми к самой широкой коалиции со всеми, не только демократическими элементами, но и консервативными, лишь бы не неразумно реакционными.

Конечно, мы сознавали, что среди наших будущих попутчиков демаркационная линия с реакцией станет всё менее и менее определенной. Но большевистское углубление и расширение революции нам казалось настолько безрассудным и во многих отношениях преступным, не столько политическим, как явно патологическим явлением, что все различия у их противников становились несерьезными.

Но хотя мы сознавали необходимость самого широкого объединения и искренне к нему стремились, мы сами, — ни Савинков, ни я — никогда не испытывали в себе разочарования революцией, оставаясь глубоко убежденными, что разочаровала не революция, а революционеры. Это, между прочим, очень способствовало отчетливой видимости границы, отделяющей разумный стратегический компромисс от безрассудного ретроградства, преимущественно не столько политического, сколько эмоционального характера.

К сожалению, однако, сознание необходимости широкого объединения присуще было только нам, очень немногим революционерам, ибо настоящие контрреволюционеры, а между ними чистокровные реакционеры и сродные им по-громщики и человеконенавистники тем сильнее стали нас презирать, чем объединение на базе самой широкой уступчивости становилось более необходимым для успеха борьбы с общим врагом.

Савинков с первого же дня установил тесный контакт с союзом Казачьих войск, чья еще вчеращняя нейтральность сама собой исчезла за несколько дней ошеломляющей дей-

ствительности. На следующий день у него уже была организована связь с неизвестным мне Офицерским Союзом, а когда прибыли в установленный срок из нашей 8 армии три моих Комитетских товарища, из которых один был моим заместителем в Петроградском Совете Солдатских и Рабочих Депутатов, то через него Савинков и я вошли в секретные сношения с теми депутатами Совета, которые всё больше и больше убеждались в необходимости вооруженной борьбы с захватчиками власти. Это были наиболее разумные эсеры и беспартийные представители армии, умные люди мужицкой России. Но их было немного. Савинкову вероятно казалось, что по примеру его прошлой революционной деятельности ему, как имеющему широкую популярность в обществе вообще, а среди военно-демократических кругов в особенности, удастся объединить и возглавить прочные силы для свержения власти большевиков, которая уже всем без исключения представлялась проблематичной и в своем бессмысленном доктринерстве почти невероятной.

Савинков тогда еще верил, что пользуясь всеми доступными способами, главным образом при посредстве вооруженного восстания решительных, инициативных воинских организаций и граждански сознательных групп офицерской и юнкерской молодежи, ему удастся свергнуть большевиков. Вера Савинкова была вполне понятна и оправдана, ибо в то время большевики были еще очень слабы.

Но и нескольких дней нашего пребывания в Петрограде было достаточно, чтобы убедиться в совершенной безнадежности всяких начинаний. Всё расплзлось на глазах, будто все кругом были поражены какою-то немочью, каким-то параличом воли, какой-то анемией мозгов.

Волна контрреволюционного разнобоя была как бы продолжением того же революционного развала, который погубил и революцию, и демократию, и так невероятно облегчил большевикам победу не над революцией, демократией, Россией, а может быть и над всем современным миром.

На третий день нашего пребывания в Петрограде наши покровители уже снабдили нас фальшивыми паспортами и другими полезными по тем временам документами. Савинков по старой боевой памяти вновь превратился в какого-то мистера Х с очень замысловатой фамилией, по профессии журналист; мне пришлось на короткое время воспользоваться паспортом моего польского приятеля Александра Грабовского и его корреспондентской карточкой. Жизнь наша стала

более безопасной, так что мы позволяли себе к завтраку и ужину спускаться в ресторан «Регины», где уже верховодили совершенно новые посетители. Они были настолько непохожи на обычных клиентов этого хорошего заведения, что при виде этой толпы невольно думалось о нашествии какого-то чужого племени, завоевавшего себе право питаться в этом пицкарном зале.

По вечерам водка здесь лилась рекой, пелись буйные, удалые революционные песни на страх буржуям, гремели безмерно глупые и от рождения затасканные наглые речи и возгласы обыкновенных холуев, ставших вдруг гражданами, а по временам трещали выстрелы в потолок, заглушавшие невнятное бормотанье Савинкова: «А не спеть ли нам Боже царя храни, чтобы ошараширить эту сволочь?»

На четвертый день мы встретились на конспиративной чердачной квартире с В. Набоковым, председателем всеобщего объединения служащих для сопротивления и саботажа новой власти. Нам было видно, что Набоков серьезно не расценивает эту довольно неопределенную затею. Мы тоже в нее не верили. Поэтому разговоры об этой организации были коротки и никаких последствий не имели.

Зато Набоков нам доверительно сообщил, что на юге России, в Новочеркасске, собираются настоящие и действенные патриотические силы для вооруженной борьбы с большевистским правительством и с анархией в стране под официальным, но не особенно высоко поднятым, знаменем Учредительного Собрания, избранного всенародно после замиренья революционных страстей. Эта информация пробудила в нас новые мысли и показалось, что перед нами забрезжили очертания какой-то перспективы, не лишенной политического смысла и практической ценности.

Когда Набоков нам еще сказал, что, по его мнению, все демократические элементы должны объединиться под знаменем возрождения без всяких программных и политических разногласий, ничего в настоящее время не значащих, и, что все люди, воодушевленные духом борьбы, будут встречены на юге как друзья и соратники, Савинков довольно ехидно, хотя и с должным добродушием в интонации, спросил: «а социалисты тоже будут там встречены, как друзья?» На что Набоков засмеявшись ответил: «вожди движения несомненно встретят радушно и социалистов, что же касается рядовой массы, то, принимая во внимание мартиролог русского офицерства, позорно выданного социалистической демократией

солдатской толпе на погром и унижение, — возможно, что со стороны рядовых добровольцев, офицеров, юнкеров, кадет и учащейся молодежи, и не придется ждать энтузиазма в приеме социалистов и в отношениях к ним».

В действительности, впоследствии мы не только не увидели энтузиазма в приеме нас в Новочеркасске, но стали целью двукратно несостоявшейся попытки нас пристрелить. При чем, как потом выяснилось, эти попытки исходили вовсе не из рядовой офицерской массы. Было как раз наоборот: мстительная инициатива исходила из сугубо штатской среды, таинственно и совершенно непонятно приобщенной к командованию Добровольческой Армии.

В Москву мы приехали в качестве иностранцев. Вероятно это были первые дни ноября. Москва уже трещала ружейной и пулеметной стрельбой и гудела пока еще редким орудийным гулом, чтобы в следующие дни уже оглушительно зареветь артиллерийской канонадой по всем направлениям.

По желанию Савинкова мы поехали к Тумаркиным, его давнишним знакомым, которые встретили нас, как родных, несмотря на то, что на вокзале, а надо полагать и по городу, были расклеены списки преступников, среди которых наши настоящие имена приводились на почетном месте. Мы были отмечены как «опаснейшие враги народа», в неизвестном направлении бежавшие в Пскове от справедливого правосудия. Но так как Савинков в то время был уже, скажем, МакКинлей-ем, а я числился Грабовским и мы оба были в высшей степени нейтральными корреспондентами английской и польской печати, то ни мы не думали об опасности, ни милые Тумаркины не сознавали (или, быть может, притворялись несознавающими) какой опасности в связи с нашим присутствием в их доме они подвергались. Но в глубине души мы сознавали, что с их стороны это было тихое и благородное геройство.

Кроме того, что они были героями, они к тому же были очаровательными богатыми людьми самого либерального, даже радикального, толка. По нашей просьбе нас поместили в наиболее отдаленных комнатах обширного барского особняка, чтобы изолировать от соприкосновения с служебным персоналом, который по духу времени больше сочувствовал нашим врагам, чем нам.

Дом был просторный, богатый и гостеприимный, как и душа владельцев, считавших нас борцами за правое дело, и потому не только из дружбы предоставивших нам временное

убежище сознательно оплачивая его ценою долговременной опасности для их собственной свободы, а может быть и жизни. Но Тумаркины, как большинство интеллигентов того времени, не понимали и не верили, потому что не хотели верить, печальной действительности. Они настолько были проникнуты благородной верой в правоту и преимущества эсэровско-кадетской идеологии, что для них большевистская угроза не казалась более опасной и более долговременной, чем случайный пожар в доме.

И так мы жили в эти грозные дни, как на острове, среди родных духом, в то время, как многомиллионный город с часу на час превращался в военный лагерь с тысячами воюющих, стреляющих и убивающих друг друга людей.

Притаившись, как зайцы, мы пережили у Тумаркиных падение демократической Москвы, не испытывая, впрочем, уже никаких иллюзий, лишенные какой-либо веры в то, что в Москве могло бы быть иначе, чем было в Петрограде. Когда же умолкли орудия, мы стали подумывать о продолжении нашего путешествия на юг.

Преодолевая ложными правдами и правдоподобными неправдами девственное целомудрие нового режима, мы ухитрились купить себе плацкарты до Киева и попрощавшись с нашими геройскими хозяевами, двинулись в путь.

Как это ни странно для того времени полного расстройства всякого порядка, в период дикого разгула, самоуправства и насилия, — был еще прочен и ненарушим политический и гражданский вес представителей печати. Нас не трогали, ни разу не тревожили ночной проверкой документов. Равным образом нас не беспокоили бесплатные пассажиры, несмотря на то, что из всех двух тысяч, приблизительно, ехавших в поезде, мы одни были платными. Как сели в Москве в купэ спального вагона, так и вышли из него целыми и невредимыми, хотя грязными и завшивленными, на Киевском вокзале, зашелущенном до отказа, заплеванном и перегруженном лихорадочным передвижением во все стороны и концы Российской неообширной равнины всяких печенегов, скотов и гуннов.

Ну, конечно, и здесь, как и в Москве, мы прямо с вокзала направились к знакомым Бориса Викторовича, к большому дому сахарозаводчиков Балаховских, миллионеров, интеллигентов, либералов и друзей. Характерно и значительно, что у революции среди прирожденных контрреволюционеров были лучшие друзья и что это обстоятельство может быть и являлось одной из парадоксальных причин ее возникновения, успе-

ха и поражения. И здесь, как в Москве, нас приняли и приветствовали, как своих, как родных. Наше положение в Киеве существенно отличалось от московского, где грозила опасность не только нам, но и нашим друзьям.

Я забыл упомянуть, что в Москве я переменил вид на жительство, и из Грабовского превратился в Александра Димитриевича Имярек, русского писателя, недавно умершего. Савинков же оставался Мак-Кинлейем, или чем-то в этом роде.

В Киеве мы были свободны. Днем в Киеве не было стрельбы на улицах, а на ночную трескотню было не принято обращать внимания, так как она пока никаких политических целей не преследовала. В Киеве мы были в безопасности и, стремясь на Дон, чувствовали себя скорее туристами, чем вникали в суть здешнего общественного и политического положения. Тем не менее мы не пренебрегали ни одной встречей, имевшей значение для нас.

Через одного молодого эсэра, фамилию которого я утаю, ибо он теперь коммунист и занимает высокое положение на советской верхушке, Савинков установил поверхностную связь с русскими общественными кругами Киева. Это были преимущественно не только антибольшевики, но и противники самостийной Украины, с которыми Савинков в моем присутствии вел горячие споры, желая их убедить, что реальность общего политического положения настоятельно требует признания притязаний украинцев в наиболее широком и благожелательном масштабе, ибо национальная, а тем более националистическая Украина является природным противником большевиков и естественным союзником русских противников большевистской власти.

Но в душе Савинков оставался русским империалистом, это явствовало не только из его интимных высказываний, это сквозило даже во всех случайных рефлексах его ума, привычек, традиций и даже в юморе. Если бы я был более впечатлительным ко внешним и не особенно продуманным проявлениям человеческих инстинктов и чувств, то мне, энтузиасту украинской самостийности, было бы неприятно сознавать совершенную противоположность нашего отношения к столь важной проблеме сорокамиллионного народа. Но, как всегда, Савинков, хотя и был империалистом, но был умным империалистом и его поучительные аргументы для киевских националистов были ничем иным, как инструкцией разумного дипломата незадачливым уездным политикам. Савинков, желая отстоять свои империалистические вожделения возбуждением во

мне исторических империалистических реминисценций, неоднократно упрекал меня за мои симпатии к «этим головорезам», которые нас поляков резали в восстаниях в XVII веке. На это я не мог не ответить, что потому то многие поляки, хотя и не все, и симпатизируют украинской самостийности, что в свое время за эту самостийность в ее эмбриональной стадии было пролито столько польской и украинской крови. Мы их тоже достаточно порезали, повешали и на колы быками посажали — хватит. Обменялись Желтыми Водами на Берестечек, Немировской резней на усмирение Яремы и расквитались навек.

Но на Савинкова подобные аргументы не действовали. Он их выслушивал, относя к разряду романтических словесных упражнений на исторические темы, тенденциозно подкрепленных «Огнем и мечем» Сенкевича. Само собою разумеется, что это основное разногласие по очень важному, но не совсем актуальному вопросу, не оставляло ни малейших следов в наших взаимных отношениях.

Желая приобщить Савинкова к моим политическим акциям и вытекающим из них возможностям в будущем, я познакомил его с моими товарищами по революционной и политической работе в 8 армии, находившимися в Киеве. Это были довольно видные местные революционные деятели: один социал-демократ меньшевик Ковалев, киевский мещанин, последний председатель Революционного Комитета 8 армии; другой — Цветковский, «хлібориб» из Таращанского уезда, потомок запорожской «шляхетной» семьи, активист очень радикального типа, человек интересный и верный. Обе фамилии вымышлены по старой привычке, чтобы не искушать «органы» расследования, доследования и «народной» юстиции.

Оба мои товарища имели совершенно определенный и твердый взгляд на необходимость борьбы с Советом Народных Комисаров, но от сотрудничества с контрреволюционными белыми генералами открецивались, как от нечистой силы. Савинков, однако, сумел поколебать их непримиримость очень простым аргументом: если все социалисты и демократы отвернутся от белых генералов, то они автоматически станут чужими и примкнут к безумной крайней реакции, что будет хуже для социалистов и вполне подходяще для большевиков.

В конце концов мы помирились с Ковалевым и Цветковским на Учредительном Собрании, как обязательном лозунге молодого белого движения, гарантирующем демократические интересы трудящихся масс. Заручившись поддержкой моих комитетских товарищей, имея как бы моральный мандат Киев-

ской демократической общественности, мы поспешили покинуть гостеприимный дом Балаховских, тем скорее, что всё упорнее стали ходить слухи о скором пришествии «наших» и о перерыве сообщения с Доном.

Путешествие из Киева в Ростов-на-Дону уже не было таким простым, как из Москвы в Киев. Хотя и в спальном вагоне Международного Общества, но нам уже пришлось испытать на себе все прелести революционного переселения народов России. Это было время, когда ехали все, кого ноги держали: солдаты дико демобилизовавшейся армии, крестьяне, пользовавшиеся возможностью дарового путешествия, переодетые офицеры, пробирающиеся на Дон, национальные меньшинства, возвращавшиеся восвояси, мешечники, заслышавшие, что где-то открылся какой-то пищевой Клондайк — словом миллионы, подняты великой разрухой, двинутые в далекие пространства то беспокойным атавистическим духом номадов, то голодом, то всеми возможными иными побуждениями, освобожденными от необходимости расходов на проездной билет.

Уже не помню, как и когда мы добрались до Ростова-на-Дону, знаю только, что это было зимним морозным вечером, лишающим и без того усталое и истерзанное насекомыми и грязью тело всякой душевной и телесной бодрости, которую дает сытость, чистота, животворящее солнце или яркая морозная звездная ночь. Остановились мы в маленькой гостинице, в стороне от кипящего революционным и большевистским весельем центра города.

У каждого из нас были свои явки и свои задачи. Савинков направился к доктору Х., бывшему областному комиссару Временного Правительства. Я пошел искать своего человека, рекомендованного мне задолго до того моим приятелем и сослуживцем по XVII Армейскому корпусу, войсковым старшиной Добролюбовым. Савинков должен был осведомиться у доктора-комиссара о подробностях политического положения в Ростове и в соседнем Новочеркасске. Моею обязанностью было подыскать верного человека с подводой для перевозки нас через «фронт» между ростовскими красными и новочеркасскими контрреволюционными атаманцами.

К ночи мы встретились в нашей гостинице. Савинков был полон первоклассных военных и политических информаций включительно до точного перечня фамилий казацких изменников, передавшихся красным и готовивших нападение на Новочеркаск (компания Подтелкова). Я договорился с рекомен-

дованным мне верным человеком, хотя и не казаком, а иного-родним, что он в три часа ночи подаст подводу к гостинице. К сожалению пришлось ехать тарантасом, ибо снегу было слишком мало, а может быть и вообще в тех местах санный путь являлся редкостью.

Осмотрев бегло наши негромоздкий багаж, проверив исправность пистолетов, отделив компрометирующие бумаги от легальных, мы прилегли на наших негостеприимных кроватях, подвергвшись сразу же нашествию всевозможных сонных бессмыслиц, а также блох и клопов. Ровно в три часа тихий стук закоруздлого ногтя в дверь рассеял все сны и разогнал привидения, а отздавшись метафизическим эхом в мозгу, напомнил всю неуютность предстоявшего пятнадцативерстного воровского проезда между постами «фронта».

Бесшумными тенями мы выскоились из гостиницы, на-путствуемые набожными крестами старика швейцара, повидимому понимавшего и сочувствовавшего христианской жертвенности нашейочной миссии. На дворе стояла глухая ночь. В мерзлой, неподвижной и не очень густой мгле редкие фонари, разбухшие нездоровой краснотой, освещали совершеннуюпустоту улиц, на которых изредка маячили бродившие туда и сюда мутные силуэты запоздавших проституток. Кабаки и чайные затихли в мертвешки усталом сне, весь город спал, даже неслышно было обычных выстрелов. А всё же впечатление от этой тишины было отвратительное, казалось что всё это — притворство, на дне которого притаилось что-то враждебное и злое, которое подкарауливает и угрожает.

Без лишних слов, каждый со своими мыслями, мельком лишь окинув фигуру нашего возницы, мы влезли в тарантас, кое-как уселись на мешке, набитом сеном, прикрыли колени какой-то старой попоной и тронулись. Слава Богу, тарантас не очень гремел по мерзлой, мщеной крупным камнем улице, потому что и той малости снега, забитого между камнями, было достаточно, чтобы приглушить обычное громыхание этого рода повозок. А когда мы вскоре свернули с освещенных улиц в боковые темные дыры второстепенных переулков, стало еще тише, покойнее и, как будто, безопаснее.

За городом немного посветлело от сплошного, хотя и неглубокого снега, отражавшего своей деревенской чистотой свет молодой луны, прикрытой облачностью неба. Ни я, ни Савинков не могли понять, какое чутье и какая видимость руководили нашим кучером и указывали ему желаемое направление в этом лабиринте темноты, кустов и постоянных поворотов.

Скоро безлесные поля сменились редкой зарослью лесного молодняка, стало больше трясти, а в тех местах, где кусты стали выше, всё чаще снежная сырая пыль, слетавшая с веток, осыпала нас, прогоняя сонливость. Потеряв ощущение времени, мы или заснули, или погрузились в полусонное состояние, когда толчек вдруг остановившегося тарантаса вернул нас к действительности. Казалось, что светало, или быть-может тучи сверху поредели и луна острее их пробивала, но только стало светлее. Вокруг нас — редкий лес, густо подгоняемый снизу кустами, а впереди, шагах в тридцати, как будто выжидательно маячили три неподвижные тени, очевидно человеческие.

Возница, откинувшись назад к нам, боязливо зашептал: «Плохо дело, застава». В это время тени зашевелились и оттуда раздался определенно перепуганный, но срывающийся в повелительный тон, окрик: «Эй, вы там, кто такие, выходи и предъяви документы». Без разговора, заслышив только отчаянный шепот мужика: «красные», мы выгрузились и двинулись, при чем я, предвидя стрельбу, автоматически стал впереди, буркнув что-то несуразное в оправдание. Узкой тропой между редкими деревьями, мы стали приближаться к трем оборванцам, стоявшим с винтовками наизготовку. Когда мы были уже шагах в десяти, я вразумительно и твердо, голосом располагающим к доверию, начал свое вступление в обманное и кровавое действие: «... а вот и наши документы ...». В это же время я правой рукой обхватил с уверенностью и любой рукоятку моего «кольта» в левом нагрудном кармане пальто.

Я уже описывал эту сцену, характеризующую необыкновенное присутствие духа Савинкова. Я уже готов был пустить струю пуль, как за мной раздался резкий шепот Савинкова по-польски: «Nie strzelać, to swoi!». Да, это были свои.

Это была станичная казачья застава, по внешности точь-в-точь красногвардейская, быть-может даже умышленно мимикрированная под большевистскую и, если бы не сверхъестественное чутье Бориса Викторовича, произошло бы большое несчастье, в корне и безвозвратно изменившее бы все пути нашей жизни.

Благодаря Савинкову нас привели в станицу как своих, как друзей и союзников. После горячей встречи в доме видного казака, почитателя Савинкова и сослуживца его по VII Армии, после длительного чествования нас с обильными возлияниями и сердечными излияниями, как это ни странно, казацко-польских чувств, нас отправили в Новочеркасск с рекомендатель-

ной грамотой, как будущих почетных казаков станицы. Наша информация (Савинкова) политического и военного содержания, действительно была очень ценной и совершенно секретной, была признана станичным начальством достаточным поводом, чтобы наградить нас (Савинкова и меня за компанию) и отличить. Наши же компанейские таланты, особенно железная противляемость (моя и Савинкова) по отношению к любому количеству старорежимной водки и великолепного Донского вина, определенно решили, что это отличие не может быть ниже почетного казачества этой станицы.

В Новочеркасск мы приехали в сухие морозные сумерки. Молодая луна высоко стояла в безоблачном небе над розовеющим вечером. Кругом было тихо и благопристойно, как в доме, в котором лежит смертельно больной.

Была суббота.

Величественно гудели большие колокола, предводительствуя хором меньших, торопливо и тревожно призывавших верующих ко всемонощной. Звоны казались стонами, они наставляли печаль и как будто о чем-то пророчили и предостерегали. Привыкши с детства, помимо упорного и наследственного латинства, всегда внимательно и молитвенно прислушиваться к музыке православных церковных колоколов, я чувствовал беспрекословное удивление, что новочеркасские колокола звучат для меня тревожно. К тому же вечерние зори над степью как-то трагически догорали, создавая впечатление, что все кругом — и свет, и звуки над затихшим городом — излучают и внушают скрытое горестное предчувствие надвигающейся обреченности и безысходности.

Все иначе чем в соседнем Ростове. Люди иные, настроение совершенно другое, озабоченное, настороженное, даже как бы вдохновенное и молитвенное. На улицах казаки и солдаты в шинелях оправленных, застегнутых по уставу. Все чем-то заняты. Не видно ни шляющихся без дела, ни лоботрясов грызущих семечки. Кабаки закрыты, в чайных же подают лишь традиционный чай, который посетители пьют до седьмого поту под охрипшие звуки старого граммофона,ющего бессмертную «Разлуку».

Немало штатской публики. Все одеты скромно, но опрятно и по мирному обычаю провинции много прогуливающихся перед сном по заснеженным, но чисто подметенным бульварам. Не слышно ни кабацкого рева, ни визга проституток, ни победных криков гражданок освобожденного пола, в чистом морозном воздухе не висит ураганная ростовская матерщина.

Тихий вечер, завороженный какой-то мистикой, дышал всеобщим доброжелательством, любезностью и призрачною безопасностью, из-за которой на каждом шагу проглядывала тоска сомнения и предчувствие горя. Время от времени были слышны отзвуки далеких и редких ружейных выстрелов. Еще реже гудели где-то в пространстве орудийные удары, напоминая своим привычным громом о войне и заставляя призадуматься о том, что принесет завтрашний день.

Изредка на сухом донце прорысит ординарец или пройдет спешным шагом строевой наряд не совсем обычновенных солдат. Сверкая начищенной темной сталью штыков, отчеканивая твердый старорежимный шаг, держа безукоризненное равнение строя, направляясь к Атаманскому Дворцу, проходили первые алексеевские и корниловские добровольцы, кадеты, гимназисты и юнкера, последние представители минувшей рыцарской эпохи, романтики жертвенного патриотического духа и долга. Между ними часто мелькали детские лица пятнадцатилетних мальчиков.

Но мир и спокойствие Новочеркасска лишь очень тонкой пеленой, кратковременно и непрочно, прикрывали бурление крови и духа молодых поколений станичников внутри края. Ежедневно прибывали с фронтов войны молодые казаки, привозя в старые патриархальные дома заразу злого времени, затемнение умов, пораженных микробом смертоносных сомнений и неверия во всё то, что с покон веков, было святостью и славой многих поколений.

Свобода.

То тут, то там, как сырь злой болезни, зацветали красные огоньки этой страшной немощи, которая так увлекательно обещала изменить и поднять жизнь. От южных станиц, которые ближе к Ростову, летели на север и вглубь Донской земли упоительные слухи о новых временах, когда станет правдой, «кто был ничем, тот станет всем».

Это не было время «Тихого Дона», описываемое Шолоховым. Дон после революции никогда уже тихим не был. Он стал тихим после долгого и кровавого подавления, но тогда он уже перестал быть казацким прежним Доном.

Савинков в Ростове запасся явкою в дом партийного эсэра, чиновника казначейства и гласного Новочеркасской Городской Управы, которого мы без труда разыскали в тихой

К. ВЕНДЗЯГОЛЬСКИЙ

боковой улице. Нас приняли с молчаливым радушием, отведя нам две смежные комнаты.

Партийное родство хозяев с Борисом Викторовичем обеспечивало до некоторой степени безопасность со стороны «кухонного входа», что, принимая во внимание особенность Новочеркасского политического климата, было для нас благоприятным. В обширном одноэтажном доме нам предстояло прожить почти пять недель на этом «Тихом Дону», который оказался совсем не тихим.

В то время Донским Атаманом по выбору станицы был генерал Каледин, бывший Командующий нашей 8 Армией, предшественник генерала Корнилова на этом посту. Этот очень усталый человек ненавидел революцию до предела психической слепоты, презирал демократию с ее беспримерным развалом всяческого строя и порядка. Каледин, в ком революция не возбуждала никаких мыслей, ни исторического, ни патриотического характера, ни в какой степени не мог быть и не был источником разумной государственной и политической инициативы даже для такой относительно небольшой провинции, как Область Войска Донского. Он только был как бы памятником славного прошлого в ореоле традиции и воспоминаний о былой казацкой славе.

К нашему приезду в Новочеркасске, правительственном центре Войска Донского, уже собралось много общественных и политических деятелей старой России, которых на этот «мыс Доброй Надежды» принес политический ураган и патриотическая идея борьбы. Но не было вождя. Прибытие генерала Корнилова наполнило сердца беглецов упование и надеждою.

Ежедневно прибывали по железной дороге, на подводах и приходили пешком со всех сторон Донской степи беглецы со всей России, со всех пространств, объятых властью большевицкого Совета Народных Комиссаров. К Дону стягивались русские бары, переодетые пролетариями, цвет родовой аристократии, бюрократические сановники и более предприимчивые представители купечества. Интеллигенция сперва начала как бы отсутствовала.

Тихий степной город, скорее похожий на большое село, чем на столицу области, с часу на час менял свой внешний облик и характер, тщась безуспешно изменить и свое внутреннее содержание. Для нас, беженцев несколько иной кате-

гории, достаточно было одного дня наблюдения, чтобы понять, что мы попали в гущу совершенно чуждой и, вероятно, враждебной нам среды.

На третий день нашего пребывания в городе северо-восточный ветер нагнал на казацкую столицу снежные тучи, окутал ее с ног до головы уральской метелью и засыпал снегом.

Под влиянием ли внешнего облика и состояния природы, или по созвучию души с ее тайным внутренним смятением, не только у меня, но и у более крепкого Савинкова бесцветные, не яркие и не ободряющие мысли заволокли сознание и помрачили самочувствие, отчуждая нас от местного духовного климата. Несомненно это были инстинктивные предвосхищения безнадежности всех наших идеологических и жертвенных усилий включиться в чужкую действительность с целью придать ей более широкий общественный размах и разумное значение.

Около десяти часов утра мы пошли с визитом к атаману Каледину, хозяину Донской земли. В атаманском дворце нас принял адъютант атамана, симпатичный и очень элегантный сотник Петроградской казацкой гвардии, не помню наверно, но кажется, по фамилии Панютин, которому имя Савинкова было очень хорошо известно. Любезный офицер занимал нас в течение получаса светским разговором, преимущественно на петроградские темы. Два раза он входил в кабинет атамана и по возвращении каждый раз учтиво оправдывал длительность ожидания приема, но когда вошел в третий раз и вернулся, то сконфузенно сообщил нам, что атаман последнее время настолько занят текущими делами, что не имеет возможности нас принять.

— Понимаю, — сочувственно сказал Савинков, крепко пожав руку молодого офицера.

Мы вернулись к себе и не торопясь установили порядок наших визитов. Не подлежало сомнению, что нам надо начать с Корнилова, как нашего старого знакомого и до некоторой степени тесно с нами связанныго в недалеком прошлом, который, надо полагать, не спросит нас, кто мы такие и зачем пожаловали и не откажется нас принять «за недостатком времени». Следующим по значению был генерал Алексеев, но я предложил Савинкову нарушить церемониал и прежде чем явиться к генералу Алексееву, познакомиться с генералом

Романовским, моим хорошим знакомым по 8 Армии, и во время оно моим единомышленником по самым сложным вопросам, с которым мне пришлось развязывать не один узел на длинном вервии пореволюционных дней, когда он был начальником штаба 8 Армии, а я председателем революционного комитета той же армии.

По отношению к генералу Корнилову ни Савинков, ни тем более я не чувствовали себя ни в какой степени нелояльными. Июльскому восстанию Верховного Главнокомандующего против Временного Правительства Савинков морально сочувствовал, так как был решительным противником политики и тактики Керенского и его правительства, поэтому, казалось, он имел все основания надеяться на любезный прием у генерала. Нельзя было требовать от Савинкова, чтобы он безоговорочно оправдывал не совсем понятную организацию этого восстания, которая во многих отношениях была слишком поверхностной и легкомысленной, почему и кончилась позором. Я тоже после трех месяцев согласной работы в 8 армии имел все основания ожидать дружеской встречи. После исторического обмена комплиментами на вокзале в Могилеве, когда накануне восстания Корнилов, провожавший Савинкова, прощался со мною и шутливо, в текинском стиле, сказал: «Но помните, К. М., если я вас поймаю по другой стороне баррикады, то прикажу повесить». На что я ему с той же сердечной любезностью ответил: «Но если я поймаю вас, Л. Г., то от социалистов спрячу и чаем угощу».

Но мы оба ошиблись. Корнилов нас принял тотчас же после доклада дежурного адъютанта, но принял с отталкивающим холодом, с величавою вежливостью коронованного избранника с еле скрываемыми упреком и горечью, которые, как пар в кotle под высоким давлением, шипели на пределе взрыва. Ежеминутно вырывались слова — змеи, дрожали интонации, то впадающие в тон сантиментальных упреков, то гремящие угрозами по адресу демократии и демократов, революции, социалистов и большевиков, как будто именно мы лично были ответственны за всё и за всех.

Мы слушали внимательно и сосредоточенно, как «геройский азиат», обращаясь к нам, обвинял всю Россию, точнее, всю интеллигенцию и революционную демократию во всех преступлениях, впадая в метафизические обобщения и приписывая нам двоим ответственность за действия «изменника» Керенского, со всем ансамблем его политического окружения, с советами, комитетами, комиссарами.

Долго пенялся поток не очень глубоких мыслей генерала и его горьких слов. Когда, наконец, он устал, или, быть-может, одумался, опомнился, что обвиняет нас без основания, — Савинков учтиво попросил разрешения ответить несколькими словами на эти обвинения.

— . . . Вы, господин генерал, очевидно приняли меня и моего товарища за кого-то другого. Мы не ответственны за Керенского, за социалистов, за большевиков, совсем наоборот, мы сами считаем их всех виновными. Настоящее положение представляется трагическим, оно более трагично, чем прошлое, потому что, как и вы, в прошлом мы еще могли надеяться. Время не терпит. Вам надлежит спешно и определенно решить: хотите ли вы возрождать Россию с разумными и здоровыми демократами, или намереваетесь искать союзников среди отравленных злобой и ненавистью психически-больных черносотенцев из погромного Союза Михаила Архангела. Смею обратить ваше внимание, господин генерал, что реакционеры этого типа или приткнувшиеся к ним беспочвенные обыватели настолько ослеплены ненавистью и настолько безответственны, что вскоре и вас зачислят в списки либералов и демократов, хотя бы на основании исторического факта — ареста вами лично царской семьи.

К этим несколько резким словам Савинкова я позволил себе прибавить напоминание о наших общих усилиях с генералом, тогда еще командующим нашей 8 армией, создать из нее боевую ударную группу для примера прочим, несравненно глубже разложенным армиям всего русского фронта.

— В то время, Лавр Георгиевич, — говорил я, — вы считали полезным и необходимым опереться на авторитет революционера-демократа и республиканца. Что же изменилось? Разве разложение не только войск, но и народных масс стало меньшим? Разве влияние реакционеров на массы стало сильнее и обеспечивает покорное возвращение к законности и порядку? Если вы решите открыто поднять знамя реставрации — ваше право и ваше дело. Но в таком случае мы являемся лишними и вредными. Тогда вышлите нас отсюда.

Наши короткие реплики Корнилова озадачили. Как бы освободившись от какого-то обманного угара и как бы забыв нашептывания своих анонимных советчиков, он вдруг резко оторвал руку от морщинистого лба и почти крикнул:

— Вы правы, идем вместе.

После этого уже совершенно в другой атмосфере были обсуждены возможность и границы нашего сотрудничества в «Политическом Комитете» при Главнокомандующем, хотя роль и полномочия этого Комитета были чрезвычайно неопределены, почти туманны. Но мы понимали, что иначе и не могло быть. Единственно ясной и главной была и должна была быть идея борьбы.

После нашего продолжительного и довольно сложного по впечатлениям визита у генерала Корнилова, который к нашим подсознательным сомнениям добавил свою каплю горечи, мы решили отложить визиты к генералам Алексееву и Романовскому назавтра. Мы чувствовали себя усталыми от неожиданных психологических колебаний нашего уважаемого Лавра Георгиевича, мужа несомненно провиденциального, предназначенному судьбой для возрождения своей родины, но мало изощренного в искусстве политической борьбы. Его недостатком, хоть и незначительным, но для посторонних утомительным было то, что вопреки своей воле и при всей своей героической скромности, он был героем даже при чаепитии.

Мы чувствовали себя и обиженными несправедливостью его обобщений и удивленными неразборчивостью его упреков, особенно в инкриминируемой нам ответственности за все варианты революции. После долгого молчания Савинков резюмировал всё так:

— Что ж делать, это и есть воздух, которым надлежит нам здесь дышать, чтобы жить и действовать для достижения нашей главной цели. Другого воздуха нет и не будет.

Визит к генералу Алексееву никакими особенностями не отличался. Он не затронул никаких живых тем, и визит прошел как обыкновенное формальное представление великовозрастных добровольцев руководителю политическими делами новой организации. Генерал Алексеев принадлежал к тому направлению среди генералитета, которое, наблюдая в непосредственной близости развал государства, считало виновным в этом трон и его окружение, и потому отнеслось к идеи революции почти сочувственно.

Совершенно иные впечатления и последствия вызвал часовий разговор по душам с Иваном Павловичем Романовским, начальником штаба Главнокомандующего Добровольческой Армией. Генерал Романовский, по моей просьбе, разговаривал с незнакомым ему Савинковым, как с моим товарищем, совер-

шенно откровенно, доверительно и очень содержательно. Генерал Романовский был не только выдающимся офицером Генерального Штаба. Это был глубокий, умный человек, отличавшийся от прочих генералов точностью понимания действительности, очень современным взглядом на сущность революции и на задачи и цели контрреволюции, которая еще находилась в первичной стадии и должна была состояться во имя высоких целей возрождения страны и государства.

Генерал Романовский был убежденным монархистом, но, будучи внимательным и умным свидетелем происходившего, он согласовал свои убеждения, чувства и даже вкусы с современностью. Поэтому он стремился глубоко обосновать контрреволюцию. Он понимал, что не физическое уничтожение революционеров даст контрреволюции фундамент, а только пробуждение в массах контрреволюционного духа может и должно дать истинное возрождение родины. Всех тех контрреволюционеров, которым казалось, что революцию надо лишь схватить за горло и прикончить посредством нагана и нагайки, Романовский считал неврастениками и авантюристами, вызывающими опасения и требующими особого внимания в зависимости от приносимого ими вреда.

Наш разговор продолжался около часу. Романовский внимательно выслушал мысли Савинкова и очень нерадостные выводы из них. Когда же Савинков спросил генерала в упор, что он думает о нашем присутствии здесь и о сотрудничестве, Романовский коротко, но твердо сказал:

— Уезжайте отсюда безотлагательно. Послезавтра может быть уже поздно. Помогайте нам извне. Здесь ваши врачи сильнее ваших друзей, потому что они являются здесь стихией, тогда как чувства к вам ваших друзей опираются даже не столько на разум, сколько на лирическое и символическое послесловие к роману из русской революции.

И вот этот замечательный человек, блестящий генерал старой русской армии, консерватор и европеец с благородным мистическим уклоном, характерным для русского, был застрелен в Константинополе каким-то преступным дегенератом и глупцом, воодушевленным на это преступление идеей «спасения отечества».

Вечерело, когда мы вернулись к себе от генерала Романовского. Одновременно с нами в дом черным ходом вошел какой-то незнакомый офицер. Я всегда инстинктивно не лю-

был неожиданных визитов, тем более в непривычной обстановке и в чужом городе. Быть может это было недостатком моего характера, но это было так. Савинков же наоборот. Его всегда интересовало новое. Как будто в этом старом конспираторе совершенно отсутствовало чувство подозрительности. А может быть фатализм переродил в нем естественный инстинкт самосохранения в азарт? Как бы то ни было, визит незнакомого офицера в контрреволюционном Новочеркасске, в кипящем кotle реакции показался мне совершенно ненужным и подозрительным.

Но когда пришедший отрекомендовался и сослался на свои связи с партией с-р, а к тому же оказался офицером Штаба VII Армии, где Савинков до занятия поста Военного Министра был военным комиссаром Временного Правительства, то уже не было оснований беспокоиться. Молодой человек произвел на нас отличное впечатление. Но каково же было наше удивление, когда гость просто оповестил нас, что завтра около пяти часов вечера к нам явится какой-то ротмистр, которому поручено застрелить Савинкова тут же, на месте. Эта неприятная новость была сенсационной, но не возбуждала никаких сомнений, было ясно, что информация не высосана из пальца.

После ухода офицера мы сообща начали создавать план обезврежения предполагавшегося покушения за секунду до выстрела. Мы понимали, что каждое иное разрешение финальной сцены может выставить нас на посмешище. Мы были уверены, что завтрашний подвиг ротмистра будут издали внимательно наблюдать более высокие чины, ожидая благополучного конца патриотического предприятия. Тогда мы еще не знали, что инициаторами его были люди как раз не имеющие никакого чина. Одно только не возбуждало в нас сомнения, что вдохновителями покушения не были ни Корнилов, ни Алексеев, ни Романовский, ни даже кто-либо из окружающих их генералов. Сперва нам казалось, что эта инициатива должна исходить от кого-нибудь из людей небольших, но опытных в жандармских делах. И здесь мы ошиблись, — как впоследствии нам стало точно известно, инициаторами и вдохновителями покушения на Савинкова были ближайшие тайные советники Корнилова, действовавшие совершенно самостоятельно, и конечно, втайне от Главнокомандующего. Это были балаганный «черкес» Завойко и опереточный «ата-ман» Астраханского Казачьего Войска, Добрынский, — оба

штатские, оба не имеющие чина и оба пользовавшиеся совершенно непонятным влиянием на Корнилова.

Они никогда нигде не показывались, всегда действовали из-за кулис, но вред приносимый ими не поддавался учету, как и их бесконечная самоуверенность, глупость и гипнотические свойства, которыми только и можно было объяснить их влияние на генерала. Появились они неизвестно откуда и исчезли тоже неизвестно куда.

Вечер прошел в сосредоточенном возбуждении. После вкусного ужина Савинков разговорился, переносясь мыслями из плана реальных фактов в психоаналитические глубины интересных, почти метафизических ощущений и рефлексий старого террориста и философа на темы судьбы, фатализма и права отдельного человека на жизнь другого. Савинков не был религиозным в обычном смысле этого слова, никогда со мною не говорил о Боге, повидимому не поддерживал никакой связи с православною церковью, но, насколько я имел возможность наблюдать, он не любил и инстинктивно избегал людей, большие живущих умом или своим безумием чем верою и в какой-то степени умаляющих божественное начало в человеческой природе. Трогательно просто и по-христиански исповедно он закончил свои мысли об убийстве:

— Ведь я же всю свою жизнь этим занимался.

Эта ночь в Новочеркасске была уже не такой тихой и спокойной, как первая. Слышна была нормальная стрельба в предместьях. Савинков сказал, что эта стрельба повидимому является нормальным знаком протesta революционных масс коренного населения города против массового нашествия контрреволюционеров, которым кажется, что революция в Новочеркасске кончена.

Наш план защиты от террориста и разоружения его с поличным был таков. Когда ротмистр позвонит у парадного входа, я ему открою дверь, любезно спрошу «чем могу служить?» а когда он скажет, что хочет видеть Бориса Викторовича, я приглашу его в комнату Савинкова и усажу на диван, прося немного подождать. В это время Савинков будет в моей комнате терпеливо ждать моего возвращения и занятия мной боевой позиции за тяжелой портьерой, из-за складок которой я буду иметь возможность в соответствующий момент выбить из рук гостя его оружие. Соответствующей секундой мы полагали считать момент извлечения убийцей оружия из кармана или из кобуры. На расстоянии четырех-пяти шагов

моя уверенность в попадании была абсолютной. Разумеется, для моей задачи, где был недопустим ни один процент случайности, кольт не годился. Я вооружился Смит-Бессоном 32 калибра, проверенным, пристрелянным и вполне надежным. Кольт должен был оставаться в резерве на столике под рукой.

Нельзя сказать, что для меня день проходил нормально и безмятежно. Время тянулось медленно, мысли беспорядочно, не скажу метались, но неприятно толпились: а то... а сё... а мое волнение... а промах... Конечно, объективно я был тверд и в себе уверен. После завтрака Савинков сел к столу и начал что-то писать, часто заглядывая в свои записные книжки. У меня не было никакого сомнения, что завещания он не пишет. Он был совершенно спокоен, казалось даже, что он забыл совсем о предстоящем представлении его собственной драмы.

Я читал «Идиота». Самое подходящее для момента и настроения чтение, но с трудом понимал прочитанное. Через строку - другую мысль упорно возвращалась к разнообразным вариантам предстоящей сцены, картины встречи... Меня немного беспокоила мысль об опасности для кисти правой руки ротмистра, которую я легко мог задеть, выбивая из нее его оружие.

Наконец соборные часы пробили пять. Почти одновременно с последним ударом колокола старомодный висячий звонок у двери, дернутый на целую лошадиную силу слишком сильно и нервно завыл, заплакал, задребезжал, чтобы тут же, как бы извиняясь за беспокойство, нерешительно и тихо повторно заскулить. Не было сомнения, прибыл посол судьбы.

Уже направляясь к дверям, я с некоторым опозданием подумал, что молодцу за дверью ведь совершенно безразлично, сколько раз спустить курок и в кого первого. Если он не глуп, то направляясь к своей главной исторической цели он должен уничтожить препятствие на пути и ухлопать меня, к тому же безоружного. Но к сожалению было слишком поздно для корректив гениального плана. Я широко распахнул дверь, впиваясь в лицо худощавого высокого офицера, одновременно жадно кося глаза в направлении его руки и кобуры Нагана, и отмечая с удовольствием и облегчением, что рука дрожит, а кобура совсем новая и застегнута на застежку и ремешок. Чувствуя в себе прилив артистического вдохновения я торжественно и с самообладанием начал свое любительское

представление с вежливого вопроса: «Что господину ротмистру угодно»?

С породистого, очень симпатичного, но искаженного волнением лица на меня глядели, как мне показалось, беспомощно и просияще голубые глаза 23—25-летнего юноши, как бы молящие о помощи, ищащие вне себя какого-то другого способа развязки тяжелой внутренней борьбы в связи с планом убийства, вероятно искусно навязанным чьей-то чужой волей. Ротмистр трагически дрожащим голосом, вызывающим сострадание и устраниющим всякое опасение, спросил, может ли он видеть Бориса Викторовича «по частному делу»?

«Хорошее частное дело», — мелькнула у меня мысль, а в то же время легкие жадно и глубоко вдохнули оптимистическую порцию нейтрального и безопасного воздуха с сознанием, что на этот раз я, слава Богу, не при чем.

В дальнейшем всё пошло, как по нотам. Я пригласил беднягу в комнату Савинкова, усадил на диван в наилучшем для прицела месте и попросил его подождать, предложив с очаровательной улыбкой, которая, мне казалось, была неотразимой для наиболее завзятого террориста, ящик с папиросами и коробку спичек.

Из темноты моей комнаты мы минутку наблюдали нашего гостя, который проявлял признаки окончательного нервного расстройства. Он, казалось, распадался на части в дрожании и в совершенно некоординированных и нецелесообразных движениях не только рук, но и всего корпуса. Он то хватал папиросу и спички разметанными руками, будучи не в состоянии зажечь, бросал папиросу на ковер и прятал спичку в боковой карман френча. Перед нами была совершенная развалина человеческой физической и духовной личности.

Эти несколько секунд подглядывания вполне обнаженной в своей беспомощности человеческой души изменили направление наших чувств, переведя их с пути защиты почти что на путь сострадания и жалости. Над всем стало доминировать совершенно парадоксальное чувство, как бы нашего сообщества и нашей вины в каком-то большом горе молодого и, вероятно, очень порядочного человека.

Лишь только Савинков сделал первый шаг, я занял свою позицию, внутренне уже не веря, что это будет в какой-либо степени боевая позиция. И вот, перед моими глазами разыгралась единственная в своем роде сцена полная глубокого смысла.

Савинков, этот несомненно большой актер, комедиант в наилучшем стиле, вышел из-за портьеры с добрейшей улыбкой на лице, с протянутой рукой и голосом полным сердечной теплоты, почти радости, как бы обращаясь к хорошему знакомому, воскликнул:

— Здравствуйте, ротмистр.

Ротмистр вскочил, иначе нельзя назвать его броска в направлении к Борису Викторовичу, за ним спокойно и точно прыгнула мушка моего «Смит-Бессона» (я с радостью видел попрежнему застегнутую кобуру Нагана) схватил руку Савинкова и, задыхаясь в пароксизме коротких сухих рыданий, еле взято пробормотал:

— Я пришел вас убить, господин министр.

Савинков с обаятельной простотой и не переставая улыбаться, воскликнул:

— Но за что? За что вы хотите меня убить? Я хочу знать...

В это время перед ним стоял уже не грозный террорист и мститель, не ротмистр, и не враг, а обыкновенный, едва держащийся на ногах, юноша, которому, быть-может, еще так недавно какая-то благородная дама, его мать, душевно говорила: — «Володенька, будь всегда благородным».

Ни к чорту не пригодился наш мудрый стратегический план, — тут приходилось утешать кающегося и исцелять страждущего. Видя что происходит, я вышел из своей засады на крупного зверя с довольно глупым выражением лица, чтобы заняться душевным успокоением благородного ротмистра. Я налил ему стакан хорошего красного вина, сказал тоже несколько слов, подделываясь под кадетский корпусный фасон. При такой необычайной обстановке холод первого знакомства скоро прошел, мы усадили ротмистра между собою на том же диване, который за минуту перед тем был боевым плацдарром, и выслушали трогательный и прекрасный по сердечности и разумности рассказ симпатичного молодого человека, точь в точь современного Печорина. Вся сцена была настолько необычайной, можно сказать даже фантастической, что если бы в эти минуты нам явился дух поэта, мы бы не были ни удивлены, ни поражены, — мы бы и поручика Лермонтова усадили на тот же диван и продолжали бы с ним нашу мирную и очень интересную беседу.

Ротмистр, очарованный нашей любезностью, которая несомненно и тигра могла бы укротить и приручить, быстро

овладел своею неофицерскою слабостью и волнением. Глядя в упор на Савинкова, он с восхищением повторял: «Борис Викторович... Борис Викторович». Он то порывался куда-то итти, то садился опять, чтобы наконец спокойно сказать: «Я счастлив, что не совершил преступления».

А так как и у нас было некоторое основание чувствовать себя счастливыми, то я позвонил и заказал ужин для троих. Пользуясь случаем Савинков, лукаво заглядывая в глаза своего без пяти минут убийцы, фамильярно спросил: «а с водкой или без оной?» На что ротмистр, несколько стесняясь, но уже совсем по-родному, ответил: «конечно, с водкой».

В смысле светском ротмистр оказался человеком вполне «ком иль фо». Он повидимому был из хорошей семьи, отлично воспитан, это был симпатичный юноша — образец безукоризненного офицера и человека общества. Ни одним фальшивым жестом или словом он не опорочил своей деликатной трансформации из убийцы в милого гостя и собеседника. Но самая интересная сцена ожидала нас при прощании.

После ужина, к которому была подана и водка, и хорошее вино, после двух часов содержательной и интересной беседы с боевым офицером и георгиевским кавалером на темы войны, революции, демократии, большевизма, уже в передней ротмистр, вдруг обращаясь к Савинкову, сказал:

— Борис Викторович, прошу вас оказать мне честь и принять от меня на память о трагическом переломе в моей жизни — вот это. — При этом он снял с поясного ремня кобуру с Наганом и положил ее на столик перед зеркалом. Мне показалось, что и Савинков этим глубоко взволнован.

После ухода ротмистра мы поделились впечатлениями.

Но когда разошлись по нашим комнатам, во мне зашевелились пессимистические сомнения, злостно нашептывавшие, что вряд ли все возможные мстительные Наганы станут сувенирами от чьих то душевных переломов и превращений. Но благословенный сон туманом обволок волнения вечера и я заснул сном праведника. На утро мы встали бодрыми и готовыми к новым попыткам объединительных стремлений, в этой неблагоприятной атмосфере всё более определенного разделения на «мы» и «они».

«Мы» это Савинков и я, несомненные представители демократии, он — исторически, я — скорее эпизодически, честно стремящиеся к объединению здоровых государственных сил, оба в соответствии с местным климатом, не настаивающие на

дополнении «социалистической», как не только ненужном и стеснительном, но и архаическом.

«Мы» это люди решившиеся на борьбу за свои идеи, готовые к реализации ее в условиях гражданского единения на почве внепартийного достижения общественного блага и всеобщего мира и справедливости. И еще раз, «мы» это совершенно чужие и чуждые пришельцы из революции в этот смятенный контрреволюционный лагерь честных и героических патриотов, но совершенно лишенных политического чутья, еще блуждающих в мистическом тумане оскорбленных чувств, еще не определивших точно, в каком виде и в какой степени их контрреволюция удержится или, не удержавшись, станет слепым стихийным увлечением победоносной и торжествующей реакции и реставрации. Это именно «они».

Нам не было известно в подробностях, какого рода борьба завязалась вокруг наших имен и какой нажим на членов руководства армией произвел генерал Корнилов, поддержанный Алексеевым и Романовским, но судя по тому, как мы были приняты этим высоким собранием в первый раз, борьба эта и этот нажим были вероятно не прости и не легки.

По тогдашнему нашему сознанию и пониманию обстановки, наше присутствие среди руководителей первого организованного вооруженного движения против большевицкой власти и против проболышевицких настроенных масс нам казалось и естественным и полезным для дела, а поэтому и необходимым. Поэтому на первом заседании Совета мы были не только удивлены отношением к нам большинства членов этой верховной коллегии контрреволюции, но и возмущены теми обвинениями и их уровнем, которые они нам бросили в лицо с определенным желанием, чтобы мы приняли это как оскорблениe. В их сознании это наверное было первым актом реванша или первой победой контрреволюции над революцией. Принимая же во внимание совершившийся факт нашего принятия в качестве равноправных членов этого же совета, роль и активность победителей с точки зрения приличия казалась сомнительной настолько, что рассмотрение ее с точки зрения политического такта стало совершенно излишним.

Так это всё представлялось в то переходное смутное время, полное неустойчивых, непродуманных, недоговоренных форм и положений. Но впоследствии, долго, долго спустя, после того как остывли страсти, стало понятным, что были

правы они, наши противники, а не мы и наши покровители в лице военного командования.

Наше присутствие среди них было не только парадоксальным, но и бесполезным. Оно косвенно свидетельствовало о политической незрелости наших противников, не решившихся открыто нам сказать, вопреки Корнилову и Алексееву: «Удите, здесь вам не место».

Защищаясь, мы старались честно убедить наших антигонистов не столько в нашей правоте, в которую мы сами не твердо верили, сколько в их самообмане. Мы защищались спокойно и с достоинством, поддерживаемые авторитетом Корнилова и Алексеева и выходило так, что как бы ни были почти убедительны для самих обвинителей предъявленные нам обвинения, мы сумели доказать этим несовершеннолетним контрреволюционерам, что наше присутствие среди них необходимо не столько для демократии, сколько для них и для их контрреволюционного дела, ибо на этом этапе истории интересы демократии лишь кратковременно совпадают с целями их контрреволюции в ее борьбе против большевиков.

Неохотно, но нам поверили, легализуя наше присутствие, но оставляя за собой, как частичный реванш, возможность изводить нас грубостью, свойственной людям слишком поверхностного воспитания. Но наше присутствие в совете внешне было признано и наружно одобрено.

Среди бывших на первом с нами заседании кроме генерала Корнилова, Алексеева и Романовского я помню генералов Лукомского, Драгомирова, Деникина, Эрдели и Маркова, но были и другие, фамилий которых я не помню. Генерал Каледин отсутствовал, прислав заместителя, своего начальника штаба. Равным образом отсутствовали тайные советники Корнилова: «черкес» Завойко и астраханский «атаман» Добрынский; они не присутствовали и на последующих собраниях, хотя нам было известно, что генерал Корнилов с ними видится ежедневно и, надо полагать, «советуется». В отношении этих «тайных советников» генерал Алексеев и особенно генерал Романовский никакого энтузиазма не проявляли.

Что касается Савинкова, то он, конечно, превышал своих противников и умом, и талантом диалектика и оратора во всех государственных, революционных и контрреволюционных вопросах. Он сразу выбрал тактику наступления и контрударов, с места перейдя к контробвинениям, убедительность которых состояла в простых вопросах вроде следующего: «А разве можно сказать с уверенностью, что присутствующие

на собрании свободны от вины за прошлое и от ответственности за несчастья родины? Вы обвиняете революционеров за гибель России, а позвольте вас спросить, господа контрреволюционеры, где вы были — претендующие говорить от имени всей России — когда на полях тяжких боев с врагом русские солдаты за недостатком снарядов и патронов камнями и дубинками отражали наступление австрийских и германских войск?»

Главным и ударным аргументом натиска на реакционно настроенных участников собрания было наше ясное заявление, что мы пришли к генеральской контрреволюции добровольно и с сознанием долга поддержать идею вооруженной борьбы с захватчиками власти, чтобы своим присутствием придать этой борьбе более общественный и более демократический характер и тем привлечь к сорока генералам и двум тысячам штаб- и обер-офицеров, составляющим ядро армии, десятки, а может быть и сотни тысяч крестьян и рабочих, вчерашних солдат русской армии.

Мы старались убедить наших противников, что этим крестьянам и рабочим значительно легче будет поверить нам, чем представителям одиозного в их глазах генералитета.

Но дело было не в убедительности наших аргументов. Наши противники не оттолкнули нас не потому что у них не хватило смелости, — они все без исключения были очень смелыми людьми. Они нас не оттолкнули потому что мы были революционерами, а они все бессознательно были всё же под обаянием революции, ослабляющим в какой-то степени связь между их убеждениями и их волей.

Впрочем, некоторые из них не имели права и не могли громко сказать: — «Долой революционеров и демократов», как например генерал Алексеев, который в роковой для монархии момент всем своим авторитетом начальника штаба верховного главнокомандующего, (а главнокомандующим в то время был Царь) поддержал не своего монарха и Верховного главнокомандующего, а именно революцию.

Равным образом не имели основания путаться в трех силах реакции и считать нас ответственными за революцию и такие самостоятельно думающие, умные и высокообразованные люди, как генералы Драгомиров, Романовский, Лукомский, или как генерал Корнилов, который не только по своему уму и образованию, но также по своему инородческому происхождению, не имея ни расовых, ни классовых связей с реакцией, не имел никаких оснований сочувствовать реакции,

хотя не любил демократию, смешивая и отождествляя ее эмоционально с демократом Керенским, которого он ненавидел.

Некоторые члены совета, я думаю что большинство, смотрели на нас свысока, как генерал Деникин, донской атаман Каледин, генерал Эрдели, многие нас игнорировали, но мы, имея в руках формальные мандаты и собственное убеждение в нашей необходимости, не особенно интересовались отношением к нам этих чуждых нам людей, сосредоточивая всё наше внимание на выполнении порученных нам заданий. Савинкову генерал Алексеев предложил руководство заграничной пропагандой, мне поручил организацию отдела национальных меньшинств. Но нам казалось, — и мы почему-то даже были уверены в этом, — что всё это не было серьезно, и что главным стремлением закулисных руководителей совета было избавиться от нас как можно скорее и как можно приличнее.

Прошло несколько дней. В атаманском дворце, в скромных комнатах дворцовых канцелярий, отведенных под «Совет» мы проводили по несколько часов в день, намечая и налаживая первые контуры работы, каждый по своей новой специальности. Вокруг нас уже была клочком организационная, административная и штабная работа молодой Добровольческой Армии. Сновали адъютанты, чиновники, курьеры. Надо честно признать, что в контрреволюции было меньше разговоров, споров и принципиальных осложнений, чем в революции.

Не припомню как долго продолжалось это начало нашего сотрудничества. Но однажды мы были вызваны к Главнокомандующему для собеседования «по текущим делам», как было сказано в любезной записке старшего адъютанта генерала Корнилова — ротмистра Шапрана.

Аудиенция была назначена на завтра на шесть часов вечера на квартире генерала. Не прошло и часа после получения нами записки ротмистра Шапрана, как к нам торопливо явился младший адъютант, корнет, фамилии которого не помню, и конфиденциально сообщил, что завтра вечером, когда мы выйдем на бульвар, направляясь к квартире главнокомандующего, мы вероятно подвернемся покушению на нашу жизнь, поэтому генерал просит нас не выходить завтра из дома. Без всякого предварительного слова Савинков, читая в моих глазах полное одобрение, сказал корнету: «Доложите, пожалуйста, главнокомандующему, что завтра в шесть часов

вечера мы будем иметь честь к нему явиться, как это было условлено».

После ухода адъютанта Савинков стал обсуждать во всех подробностях возможность нового покушения и взвешивать его шансы на успех. Мне казалось, что никто лучше его не может всесторонне оценить все эти возможности покушения и предвидеть обстановку действия. Главным образом, откуда они хотят в нас стрелять, и как — одиночка или группой, из пистолетов или из ружей. Какой-то минимум всего этого надо было предвидеть. Было ясно, что для террористов удобнее всего было бы встретить нас на бульваре, в какой-нибудь наиболее темной его части. Но бульвар широк, если мы пойдем посередине, где есть дорожка для пешеходов, то до нас с каждого места под стенами домов будет не менее двадцати пяти шагов, а это уже значительно понижает, даже почти исключает точность попадания из пистолета.

— А промах, — заметил Савинков — совершенно меняет картину и характер происшествия. Тогда покушение автоматически переходит в сражение... с довольно хорошиими стрелками.

В этом пункте рассуждений Савинкова, как террориста, я позволил себе замечание опытного охотника о том, что наши неприятели могут стрелять из охотничьих ружей крупной картечью, как по волкам, и в таком случае наши шансы значительно поникаются. На это Савинков ответил со свойственным ему юмором:

— Во-первых, они не охотники, а браконьеры, а во-вторых, прошу вас держать вашу охотничью опытность в секрете. — Помолчав немного, Савинков добавил: — Знаете что, это всё уже начинает мне надоедать, становится скучным. Не пора ли нам, ввиду этого настойчивого желания нас уничтожить, подумать об отступлении на заранее заготовленные позиции. В конце-концов, я предпочитаю нападение на собственной квартире, где есть шансы защиты и возможность встречной стратегии, а тут, подумайте, бульвар, ночь, полу-мрак, неизвестно кто стреляет и не видно откуда. Но итти надо. Корнилов тоже пошел бы.

Савинков язвительно посочувствовал мне, что мое свидание с прекрасной Ниночкой на катке, назначенное на шесть часов вечера, пропадет, но что Ниночка, по всей вероятности, будет веселиться с другими, в то время как мой продырявленный во многих местах труп будет охладевать на грязной мостовой бульвара.

Опять не обошлось без смеха.

Чтобы попасть к дому главнокомандующего, нам предстояло пройти две людные и торговые улицы, ярко освещенные, потом пересечь большую площадь перед собором, выйти на бульвар, где шагах в трехстах от площади и был дом генерала.

Проверив оружие, пошли.

Сходя с площади к бульвару, который по сравнению с другими улицами был погружен в полумрак, мы к нашему удивлению встретили симпатичного корнета, адъютанта Корнилова, который нам приветливо сообщил, что по приказу главнокомандующего он отведет нас под охраной к дому генерала. И действительно, из затененных пунктов улицы к нам приблизились несколько человек, с которыми мы молчаливой гурьбой и пришли к дому генерала. Корнет хорошо сделал, что подошел к нам предварительно один, а не с группой этих людей. Могло случиться, что, видя приближающуюся к нам из темноты улицы группу, мы, не имея возможности опознать, могли бы открыть по ней стрельбу, хотя бы уже потому что у страха глаза велики.

Но Савинкова вся эта комедия взбесила. А когда к тому же Корнилов нас встретил смехом и поговоркой — «любишь кататься, люби и саночки возить» — Савинков, непривычно для него, оскалился и церемонно сказал: «Во всем этом радостно и весело лишь только одно, что теперь мы знаем наверно, что вы, Лавр Георгиевич, не охотитесь за нашими чепцами».

Всё складывалось к явной необходимости какого-то разрешения тяжелой проблемы нашего присутствия в Новочеркасске, потому что главнокомандующий, как бы закидывая удоочку, сказал нам доверительно, что у генерала Алексеева (руководителя Политического Департамента Добровольческой Армии) есть проект командировать нас «наружу» с особыми заданиями для каждого и что об этом генерал Алексеев с нами лично будет беседовать в ближайшие дни. Мы поняли, что это сообщение Корнилова — подготовка соответствующего климата и пробный шар.

На обратном пути опять несколько человек шли за нами в некотором отдалении. Довольно глупая картина этих встреч-проводов усилила впечатление ненужности и бессмысленности нашего пребывания в этих краях.

Прошло несколько ничем не замечательных дней, если не считать неприличной демонстрации по отношению ко мне ге-

нерала Деникина, не подавшего мне руки в штабной приемной. Хотя я совершенно искренно не чувствовал себя ни в какой степени оскорблённым в своем достоинстве, довольно-таки чуждом здешнему климату, Савинков, камуфлируя шутливый тон драматическим акцентом, успокаивал меня со своимственным ему юмором, что не подобает ясновельможному польскому пану обижаться на русского крестьянина за то, что тот не подал ему руки. Пришлоось посмеяться сквозь досаду при мысли, — в каких руках, с одной стороны амбициозных, а с другой в беспомощно детских находится судьба дела, которое хотят называть великим, всеобщим и чуть ли не общечеловеческим. Очень мне нужна его рука, хотя бы и генеральская, хотя бы и боевая. Скорее — моя ему нужна — всё-таки меня выбирали сотни тысяч людей.

Вероятно это уже была половина января, когда генерал Алексеев предложил Савинкову направиться в Москву для тайного представительства интересов Добровольческой Армии перед тамошними общественными кругами. Эта командировка была настолько рискованной для жизни Бориса Викторовича, что я позволил себе заметить Алексееву: не являются ли советники Корнилова Завойко и Добрынский авторами этой идеи? Это взорвало Савинкова. И он резко попросил меня не вмешиваться не в свои дела.

Меня генерал Алексеев назначил помощником дипломатического представителя Добровольческой Армии при Украинском Правительстве в Киеве. Представителем туда уже был назначен Игорь Платонович Демидов, член Государственной Думы и товарищ министра Временного Правительства, с которым я лично не был знаком, но который впоследствии стал моим близким другом.

Нам предстояло организовать наш отъезд таким образом, чтобы все, имеющие чины и неимеющие оных, наши личные и политические недоброжелатели и противники были лишены возможности покончить с нами в пути, или еще проще при переходе нами границы Войска Донского на территорию, занятую красной армией, там передать нас из рук в руки в ведение Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, а там уж за правосудием дело не станет.

Савинков, как всегда, не особенно серьезно отнесся к моим предостережениям и повидимому не имел намерения скрывать день своего отъезда, но я на свой страх и риск допустил небольшую военную хитрость. После того, как Са-

вников в штабной канцелярии выправил свои документы на четверг вечером и все были уверены, что он уедет в четверг, я до тех пор его убеждал, просил и надоедал, пока не проводил его на станцию в среду поздним вечером и отправил в путь.

Для себя же я назначил отъезд на субботу и получил на этот день документы и плацкарту в офицерский классный вагон. Уехал же я в пятницу ночью в теплушке переполненной до отказа путешествующими дезертирами, казаками и иногородними.

Савинков благополучно доехал до Москвы. Я же после десяти дней путешествия в теплушке, пешком, на лошадях и в скором поезде, перейдя несколько фронтов и границ, выгрузился в Киеве, сохранив на всю жизнь в памяти все яркие впечатления этого поистине смутного времени.

Описывать подробности я не собираюсь, так как пишу не о себе, а о Савинкове, лишь вскользь упомяну об одной картине, не совсем обычной даже для того совсем дикого времени. Где-то в степи, прия пешком на какую-то станцию, занятую вчера отрядом красных войск, я был опознан солдатом 8 армии, где я был еще так недавно военным комиссаром Временного Правительства. Солдат меня однако не выдал, но желая вероятно иллюстрировать степень своего благородства, он вывел меня на другую сторону станционного двора, где в освещении угасающей морозной вечерней зари стояли у стены в ряд замороженные и обезображеные тела очень молодых контрреволюционеров, как я потом узнал, кадет старших классов, добровольцев какого-то местного отряда. Их было около двадцати, все они были раздеты до гола, уже темно-серые, заиндевевшие на крепком морозе трупы, у всех были отрезаны половые органы и вставлены кому в рот, кому в распоротый живот. Это было время, когда озверение нравов с обеих сторон стало достигать той бездны человеческого упадка, которая граничит с умопомрачением.

Всё это было в январе 1918 года.

Расставаясь с Савинковым мы обменялись явками на Киев и на Варшаву, не зная и не предвидя, что первой нашей встрече суждено быть в Париже в середине 1919 года. Почему-то ни Савинкову ни мне не думалось, что вероятнейшей из всех была бы встреча на том свете.

Дипломатическая, политическая и военная деятельность Савинкова в Москве, как я узнал потом, заключалась почти в бесплодных усилиях убедить демократические круги поддер-

жать Добровольческую Армию морально и материально. Усилия других эмиссаров генерала Алексеева, обращенные к либеральной буржуазии и к более правым контрреволюционным организациям тоже выразились ничтожными успехами. Жертвенность миллионеров дала мизерный результат, показав постыдное равнодушие и тупоумие. Как мне потом рассказывал Демидов, генерал Алексеев скорбел, не понимая почему русские люди для спасения отечества и собственной жизни жертвуют гроши вместо миллионов, а эти миллионы у них отбирают большевики.

Но динамизм Савинкова не ограничился дипломатической и пропагандной деятельностью в пользу Добровольческой Армии. Параллельно, еще глубже в подполье, в смертной затаенности от зоркого глаза чекистов, шпионов и всяких двурушников затевалось контрреволюционное боевое дело, под личным руководством старого боевика, бесстрашного заговорщика Савинкова. Собирались пятерки, передвигались и концентрировались верные отряды, держа направление на Ярославль, затевалась геройская, но недостаточно продуманная диверсия с оружием в руках, получившая в истории русской контрреволюции наименование Ярославского восстания.

Но оно не могло иметь не только успеха, но и того значения, на которое мог рассчитывать Савинков, ибо в то время ни в народной массе, ни в обществе не созрел еще необходимый подготовительный динамизм действительного протеста.

Восстание вспыхнуло и погасло, как кровавый фейерверк, сотни смелых погибли, тысячи разочаровались, но миллионы остались посторонними зрителями, совершенно чуждыми идеи свободы, требующей личной жертвы.

Таким образом наши пути с Савинковым разошлись. В январе 1918 года я приехал в Киев как раз во время кровавой резни офицеров и буржуев на улицах города и в чекистских застенках, а главным образом в Царском саду.

Установив связь с Демидовым, мы по мере нашего умения и внешних условий меняющихся режимов, которых в течение года сменилось пять: — большевики, украинцы, немцы, украинцы-гетманцы, украинцы-петлюровцы — делали свое дело, понимая конечно, что реализация какой бы то ни было дипломатической миссии в пользу Добровольческой Армии была невозможна. В глубокой конспирации проходили разрозненные акты. Секретная информационная почта,

пересылка людей, пропаганда и изошренное в двусмысленности сотрудничество в «Русском Голосе», редактируемом П. Н. Милюковым.

Мне выпала на долю по необходимости двойная, даже тройная конспирация. В одной я был с Демидовым, Милюковым, Родичевым, Степановым, с «Русским Голосом» и «Союзом Возрождения», где был лично душевно связан с небольшой группой замечательных русских людей, имевших центр на квартире засекреченной под великосветским фронтом в Липках.

В другой конспирации, утаенной даже от членов первой группы, являвшейся логическим следствием моей служебной и идеологической принадлежности к революции, я держал теснейшую подпольную связь с моими товарищами по Революционному Комитету 8 армии и в качестве бывшего комиссара Временного Правительства руководил и воссоединял разрозненные действия нескольких отдельных групп сопротивления среди которых Таращанская уездная организация и Киевская городская выполняли весьма ответственную боевую службу преимущественно репрессивного характера по отношению к германским властям, грабившим и угнетавшим беззащитное население суровым полицейским и разбойниччьим режимом.

Третьей моей конспирацией, уже открытой для моих русских друзей, была моя служба в P.O.W. (Polska Organizacija Wojskowa), куда я был принят как рядовой член политического отдела тотчас же по прибытии в Киев эмиссаров Главного Командования в Польше, находившейся под оккупацией немецких войск. При моем посредничестве и по моей инициативе всецело и двусторонне одобренной, состоялись две встречи русских с поляками на «нашей» квартире в Липках. Со стороны русских присутствовали: П. Н. Милюков, Ф. И. Родичев, И. П. Демидов, князь Г. Н. Трубецкой и депутат Государственной Думы Степанов. Поляки были представлены сравнительно молодыми людьми, настолько молодыми, что я буду называть их будущими их чинами и званиями. Присутствовали: будущий председатель Сената Б. Медзинский, будущий польский посол в Турции М. Сокольницкий, писатель Андрей Струг, будущий посланник в Италии Б. Венява-Дlugопольский, будущий товарищ министра Иностранных Дел капитан Шетцель и я.

Это были первые после войны встречи старых русских общественных деятелей с молодою возрождающейся поль-

скою общественностью и хотя они не дали никаких видимых политических результатов, как совершенно случайные собрания, лишенные программной сущности, всё же они оставили яркий душевный след у обеих сторон, использованный мною год спустя в Варшаве для реализации наших целей, выразившихся в создании в Польше русской политической организации под знаменем «Союза Возрождения России», под руководством Б. В. Савинкова.

Подробности этой деятельности Савинкова составляют содержание следующей главы.

Я хочу только добавить, что мой Киевский период окончился для меня печально. Я был опознан на Крещатике молодым монархистом, князем Т., который меня часто видел в Новочеркасске вместе с Савинковым, не зная, впрочем, или не помня моей фамилии. Князь передал меня на улице немецким жандармам, препроводившим меня в Лукьянновку. Так как несколько дней перед этим был убит бомбой на улице Киева фельдмаршал Эйхгорн, главнокомандующий германскими войсками на Украине, то когда немцы услышали от князя пахнущее динамитом имя Савинкова, и узнали о моей связи со знаменитым террористом, то в их туговатых головах создалась уверенность, что я или убийца, или имею с ним связь.

Меня сразу посадили в подвал тюрьмы, где хотя и не пытали, но подвергли пытке страхом (почти мистическим) и отвращением к крысам, которыми кишили подвальные камеры Лукьянновки.

В течение долгих месяцев против меня собирались улики и доказательства виновности, что для меня было очень опасно, принимая во внимание, что я не по фельдмаршалскому, а по другим делам был может-быть еще более уязвим. Умышленно на моих глазах во дворе тюрьмы был повешен Б. Донской, бросивший в фельдмаршала бомбу, который за минуту перед смертью отрицал какое-либо мое участие в убийстве.

Но жизнь моя всё-таки не стоила уже и гроша, если бы не заступничество Великой Княгини Ольги Александровны, сестры последнего Государя, по мужу Куликовской, которая по просьбе своей подруги Александры Владимировны Коссиковской, нашей дорогой и незабвенной Дины, члена нашей Липковской группы, сумела через какого-то из Гогенцоллернов задержать расправу со мною настолько, что я дожил до немецкой революции, которая и открыла перед всеми нами ворота тюрьмы.

И вот, жизнь почти прошла. Время многое стерло. А благодарная память в каждодневном молитвенном сосредоточении чтит имя русской Царевны и ее подруги и будет жить до конца дней.

В конце декабря 1918 года последним поездом после захвата Киева войсками атамана Петлюры я уехал в Варшаву.

K. Вендзягольский

РАБОТА ВО ДВОРЦЕ КН. Ф. ЮСУПОВА¹

ВОСПОМИНАНИЯ

I

В начале 1914 года сверстники Андрея, среди которых находились почти все члены группы Дуодецим,² уже вышли на конкурс и находились в самом разгаре состязания, Андрей же был по горло занят работами на стороне, и потому решил остаться в мастерской Бенуа еще на год, чтобы сделать необходимые для выхода на конкурс проекты.

В это же время Андрей получил новую работу, сложную, ответственную и значительную: перестройку и отделку appartаментов молодого князя Юсупова, который вскоре должен был жениться на племяннице Государя Ирине Александровне.

Так же как и корпус Аничковского Дворца, в котором происходили работы парадного зала, родовой Юсуповский дворец был построен Гваренги во время царствования Екатерины. Позднее уже, при Николае I-м, был к нему пристроен трехэтажный корпус и весь огромный, выходящий на Мойку фасад был изменен в духе времени и потерял свой прежний характер, но со стороны внутреннего, полукруглого двора и сада еще сохранились колоннады и портики истинно Гваренговского стиля. Для appartаментов молодых Юсуповых был предназначен нижний этаж всего левого крыла дворца,

¹ Мы печатаем отрывки из воспоминаний архитектора и художника Андрея Яковлевича Белобородова. А. Я. окончил Академию Искусств в Петербурге. Живопись и гравюры выставлял в лучших галереях Парижа, Рима, Венеции, Берлина. Как архитектор работал во дворцах кн. Ф. Юсупова, гр. Бобринского, в Аничковом; во Франции — замок Коленкур; последняя работа А. Я. — построенная им для Мориса Сандоз вилла в Риме. С гравюрами А. Я. вышли книги Мориса Палеолога, Поля Валери, сейчас в Риме в издательстве Карло Бестетти вышла книга «Рим», текст Анри де Ренье, 24 литографии и гравюры А. Я. Белобородова. Воспоминания А. Я. написаны в третьем лице. Андрей, это — автор. РЕД.

² «Дуодецим» — так назвала себя группа из 12 человек учеников архитектурного отделения Академии Художеств, в которую входил и автор воспоминаний. РЕД.

с отдельным входом и четырнадцатью окнами, выходящими на Мойку и с соответствующими помещениями с окнами в сад.

Исключительность задачи устройства этих appartаментов зависела от многих причин. Прежде всего личность и характер молодого Юсупова были совсем не обычны, а это от него зависели все решения. Княгиня иногда присутствовала при обсуждении возникавших вопросов или при представлении проектов, но ни разу не проронила ни слова; была она чрезвычайно застенчива, и те кто мало знали ее получали благодаря этому совершенно ложное впечатление холода и даже высокомерия. Однажды во время обсуждения какого-то проекта, Юсупов вышел на несколько минут. Оставшись наедине с молчаливой красавицей Андрей невероятно смущился — но еще более смущилась княгиня и все ее нежное, как белая лилия, лицо вспыхнуло ярким румянцем. Так и просидели они в полном молчании пока не возвратился князь, возобновивший прерванное совещание.

При обсуждении будущих работ Юсупов давал полную волю полетам своей фантазии, совершенно не считаясь ни с трудностью ни с осуществимостью своих идей. Иногда идеи эти были сумбурны и даже несуразны, и в этих случаях было не трудно убедить его от них отказаться; но нередко он ставил задачи, которые именно благодаря своей трудности и неожиданности было интересно разрешать. Для Ирины Александровны при ее личных appartаментах, нужно было сделать хрустальную ванну и фонтан слез — и вскоре на посеребренных стенах и сводах алькова «малой гостиной» расписанных фантастическими цветами и птицами вода стала переливаться каплями из одной полукруглой чаши в другую; чаши эти были выточены из разноцветных уральских камней — хрустальная же ванна осталась в проекте, который серьезно изучался. Зато для личной уборной князя был осуществлен бассейн, пол, стекки и ступени которого были сделаны из огромных цельных кафельных плит. (Известный петербургский скульптор В. В. Кузнецов основавший фабрику майолики и взявшийся из спортивного чувства исполнить эти гигантские кафели, рассказывал Андрею, что большинство их лопались при обжигании прежде чем удалось осуществить необходимые для облицовки бассейна плиты).

При уборной Ирины Александровны по желанию Юсупова был спроектирован тайник для драгоценностей, причем задача заключалась в том, чтобы княгиня могла их видеть

все одновременно и сделать свой выбор на данный вечер. Вот как Андрей решил эту задачу: маленькая потайная дверь открывалась в узенькую галлерейку проделанную в толщине стены и приводившую в низкое восьмиугольное помещение, стенки которого состояли из металлических дверей. Достаточно было нажать потайную кнопку чтобы верхние части дверей опустились и открыли ярко освещенные витрины со всеми сверкающими драгоценностями. Эта «волшебная пещера Аладина» была в то же время и тщательно спрятанным несгораемым шкафом.

Другой более обширный тайник был устроен при библиотеке и в него попадали через маленькую дверь скрытую за шкафом, который поворачивался вместе со всеми книгами. Здесь было спрятано много ценностей и удивительно что большевики очень долго не могли найти их; правда тайник был окружен глухими капитальными стенами, но достаточно было взглянуть на план, чтобы догадаться о его существовании, но был он открыт лишь после того, как лежавший в бреду Бужинский³ о нем проговорился.

Между прочим Юсупов захотел чтобы воздух во все его помещения приходил из сада и эта его затея была осуществлена при помощи сложной системы проводов и особой фильтровальной комнаты. Много было причуд во всех аппартаментах, но больше всего в той части, которая предназначалась для возможных приездов князя в периоды, когда княгиня отсутствовала и парадные апартаменты были закрыты. Здесь был целый лабиринт небольших помещений с винтовой лестницей, спускавшейся в подземелье, которое должно было служить столовой.

Были у Юсупова и грандиозные проекты, но они касались уже не домашних затей; Андрею хорошо запомнилось, как во время одного из посещений подмосковного имения «Архангельское» князь рассказывал ему о своих планах: изменить русло далеко протекавшей реки, приблизив ее к парку и продолжить террасы и монументальные лестницы до самой воды; восстановить спектакли в великолепном театре в декорациях Гонзага, как это было при Екатерине II и т. д. «Все это мы с вами сделаем после окончания войны», с уверенностью сказал он.

Одной из причин исключительности работы для Юсуповых было их несметное богатство. Для молодого князя не

³ Дворецкий Феликса Юсупова и его личный доверенный.

существовало вопроса о стоимости той или иной работы: его интересовал лишь ее результат. Не было в нем и тени мелочной скрупульности, так часто свойственной очень богатым людям. В его натуре странно сочетались наивное ребячество с верой в собственное высокое назначение, проделки школьника с жестами большого барина. Однажды, в то время когда большинство парадных помещений были закончены и начались их обмеблирование, Юсупов попросил Андрея сопровождать его в поездке по антиквариям. У одного из них Андрей увидел небольшой вышитый крестиком ковер, фриз которого повторял мотив одной из «Колокольцевских» шалей, которыми он тогда интересовался, и он хотел купить его для своей скромной квартиры. «Ничего подобного, — заявил князь, — ковер мне нравится и я его покупаю», и князь долго подсмеивался над повесившим нос Андреем. Но на другой день неожиданно появился Бужинский, вручивший Андрею кроме этого ковра великолепные тарелки с видами Парижа, которые он расхвалил, завтракая на днях у князя.

В сущности Юсупов ездил по антиквариям лишь потому что это развлекало его, т. к. в его распоряжении находились совершенно сказочные богатства.

В законченных залах нашли место, свернутые до тех пор в бесчисленных кладовых великолепные «обюссонсы» всех размеров, цветов и рисунков; удивительные люстры, из которых каждая была произведением искусства, статуи, вазы и картины больших мастеров всех школ и любой эпохи. Так, например, для его личной гостиной были взяты из картинной галереи четыре больших картины Клода Лоррена и великолепный портрет предка, того Юсупова, которому Пушкин посвятил свое стихотворение «Вельможа».

Никто из Юсуповых не знал всего того что им принадлежало. Однажды князь и Андрей отправились на чердак с целью посмотреть не найдется ли там чего-нибудь для обстановки. Тут были склады самых разнообразных предметов, среди которых были тончайшие шедевры старинной мебели и ужасающие («кошмаричные», как говорил князь) пуфы дурной эпохи. В углу одного из бесчисленных помещений Андрей увидел груду сундучков и окованных медью ларцов, и спросил что в них находится. — «Не имею ни малейшего понятия», ответил князь и велел открыть один из них. Оказалось, что это был дорожный несессер Наполеона, в котором находились многочисленные туалетные предметы массивного

золота, все помеченные большим № с императорской над ним короной.

При первом же свидании в Юсуповском дворце на Мойке молодой князь поручил Андрею составить проекты для перестройки части дворца, предназначенной для апартаментов будущих супругов. Еще до свадьбы состоявшейся в начале января 1914 г., были выяснены в общих линиях все необходимые проекты и тотчас же после отъезда молодых заграницу, все левое крыло дворца превратилось в громыхающий, звенящий кромешный ад. Раньше здесь были служебные помещения и конторы и, чтобы превратить их в нарядные залы, возводились новые стены и рушились старые, отбивалась штукатурка и с грохотом падающие на нее кирпичи поднимали клубы белой пыли. Старый князь относился ко всему этому весьма неодобрительно. Когда впоследствии, приглашенный молодым Юсуповым, Андрей приехал в Архангельское, грозный старик встретил его словами: — «Вы и сюда приехали разрушать?»

В самый разгар «разрушительных» работ на Мойке, вспыхнула мировая война и Юсуповы оказались отрезанными в Германии. Когда после целого ряда невероятных приключений им удалось вырваться и добраться наконец до Петербурга, молодой князь, подъехав ко дворцу, прежде чем подняться к себе наверх появился, в сопровождении Ирины Александровны, на постройке. Усталые от долгой дороги и пережитых волнений, оба они сели рядышком на большой ящик среди мешков с цементом, сложенных кирпичей и железных балок. — «Ну вот, — сказал князь, — мы здесь совсем как настоящие беженцы, будто на какой-то станции ждем поезда!»

Вначале война мало отразилась на ходе строительных работ и они продолжались нормально. В Академии Андрей сдал наконец необходимые проекты и осенью вышел на конкурс. Осенью 1914 г. наступил момент «клаузуры» и была объявлена тема конкурсного проекта: «Университет на четыре факультета в столичном городе». Каждый конкурент получил по жребию отдельную мастерскую, где, не покидая ее в течение трех дней, нужно было сделать на заданную тему общий проект, главные линии которого должны были сохраняться в представленной впоследствии на конкурсе работе. Разработка же окончательного проекта длилась весь учебный год до конца мая.

В то время Андрей увлекался архитектурой Рафаэля, как в его постройках так и в написанных им фресках, и для своего «Университета» вдохновился архитектурой, изображенной великим мастером в его «Афинской Школе», сохранив эту идею и в окончательном проекте.

Тотчас после клаузуры Андрей вернулся к работам на стороне. Чтобы не разрываться на части он решил отложить конкурсный проект и забыть о нем до конца года. Когда изредка он наведывался в Академию и его конкуренты бывшие уже в разгаре работы спрашивали, почему он не начинает своего проекта, он отшучивался, говоря, что любой закоулок на постройке его интересует больше, чем все великолепия «Университета в столичном городе». Но с января 1915 г. он начал всецело работать над конкурсным проектом и на этот раз постарался забыть о всех прочих работах.

По жребию Андрею досталась самая маленькая мастерская, тогда как его проект был задуман с грандиозным размахом и некоторые чертежи в должном масштабе было бы невозможно ни внести ни вынести из узкого помещения. При первом же случае Андрей попросил профессора Бенуа⁴ дать ему более просторную мастерскую — но оказалось что все таковые были уже заняты другими конкурентами; немногого подумав, профессор сказал, что т. к. занятия в классах кончаются раньше срока представления конкурсных проектов, то Андрею будет предоставлен большой рисовальныи класс, как только он освободится. Примирившись с этим компромиссным решением, Андрей придумал для главных проектов подрамники,⁵ которые могли бы заниматься или складываться как триптихи и начал работать на них по частям, в надежде закончить свой проект уже в рисовальном классе.

Как всегда, с приближением срока конкурса, нарастала нервная атмосфера среди его участников. Для Андрея чувство беспокойства усиливалось тем, что он не мог закончить проект в своей маленькой мастерской. Уже немногого дней оставалось до фатальной даты, когда наконец кончились занятия в классах и Андрей немедленно же побежал в канце-

⁴ Л. Н. Бенуа не только руководил мастерской выходящих на конкурс, но был в то время и ректором Академии.

⁵ А. заказал эти подрамники столяру Платонову, исполнявшему самые тонкие работы для Юсуповского дворца. Были они так великолепно сработаны, что приятели Андрея, подшучивая, называли их «великокняжескими».

лярию чтобы получить обещанное помещение, но здесь, злопамятный и мстительный инспектор наотрез отказал открыть его, под предлогом что весь нижний этаж с прекращением занятий в классах был закрыт до осени.

Что делать? Ректора в Академии в это время не было, и не теряя ни минуты Андрей выбежал на улицу и наняв извозчика полетел к нему на квартиру. Открывшая на звонок горничная, заявила что «фрыштык подан и профессор уже кушают», но Андрей попростили все же доложить о себе «по страшно спешному делу».

Почти тотчас любезный профессор, слишком хорошо понимавший психологию конкурсников, вышел к Андрею с заложенной за ворот белоснежной салфеткой, благоухающей французским вином и запахом отличной кухни⁶ и узнав в чем дело, тотчас распорядился по телефону открыть оспариваемый рисовальный класс.

Вскочив на ожидающего у подъезда извозчика Андрей понесся обратно в Академию.

Наступили дни великой страды. Андрей работал в огромной нижней зале, вмещающей во время приемных экзаменов до полутораста претендентов. Места для рисующих были расположены амфитеатром в виде постепенно поднимающихся деревянных, окрашенных темно-серой краской ступеней, за которыми полукругом были расставлены гипсовые статуи, казавшиеся огромными от покрывавших их белых саванов, и все эти странно жестикулирующие, похожие на привидения фигуры как будто замерли в каком-то фантастическом танце.

Андрей расположил собранные подрамники на полукруглой площадке, служившей для постановки моделей и освещавшейся несколькими низко висящими лампами, так что темные ступени амфитеатра и призрачные фигуры задрапированных статуй тонули в полумраке. Здесь у него были два помощника: тихий похожий на монастырского служку Кринский и юркий, нетерпеливый Лейферт — верные его спутники в напряженной работе и более чем он сам зараженные лихорадкой состязания.⁷ Последние два дня уже ни-

⁶ Леонтий Николаевич славился своим гастрономическим вкусом.

⁷ Задания конкурсных проектов были настолько грандиозны, что их невозможно было довести до конца без помощников (обычно академистов третьекурсников). У некоторых конкурентов, к концу работы их бывало до пяти человек.

кто из конкурентов не уходил домой и все работали две ночи напролет до самой последней минуты. Когда утром академические сторожа стали уносить законченные проекты и поднимать их по прилегавшей к мастерской чугунной лестнице, у Андрея было полное впечатление выноса покойников. В то же утро⁸ Совет Академии решал судьбу конкурентов, и Андрей остался в опустевшей мастерской ожидать результата. Кринский прикурнул после бессонной ночи где-то в углу, а неугомонный Лейферт побежал наверх, где собирались все конкуренты в ожидании решения Совета. Наконец задремал и Андрей, но вскоре был разбужен громким топотом и неистовыми криками. Это был Лейферт, сбегавший по звонкой чугунной лестнице и вопивший во всё горло: — «Андрей Якович! ура!! победа! поездка, поездка!!» То была минута когда Андрей получал звание архитектора-художника, становился пенсионером Академии и выходил на большую дорогу архитектурной деятельности.

Через несколько дней ему вручили свидетельство о том, что как получивший заграничную поездку, он навсегда освобождается от воинской повинности,⁹ а в конце месяца он получил нарядно-торжественный диплом за подписью «Мария»¹⁰ с великолепной, гравированной Уткиным заставкой и огромной печатью на муаровой ленте с двуглавым орлом, по-пирающим дорическую капитель и атрибутами скульптуры и живописи.

II

Весь год после окончания Академии Андрей был занят начатыми еще раньше работами в Юсуповском дворце на Мойке. Несмотря на продолжающуюся войну, работы шли полным ходом; апартаменты молодых постепенно принимали законченный вид и для исполнения своих проектов стенной росписи и плафонов, Андрей привлек Чехонина, Тырсу и Конашевича.

В гостиной княгини Чехонин написал акварелью тончайшие узоры плафона, где лебеди чередуясь с причудливыми

⁸ 3 июня 1915 г.

⁹ В этом году были, несмотря на самый разгар войны, освобождены от воинской повинности один архитектор, один живописец и один скульптор.

¹⁰ Великая княгиня Мария Павловна была в то время президентом Академии.

вазами, держат гирлянды самых разнообразных цветов, между которыми порхают и гоняются за бабочками райские птицы. Он же исполнил небывалую по размерам финифть, в виде корзины с цветами для мраморного камина в спальней княгини.

Конашевич вначале помогал Чехонину и затем, уже самостоятельно, написал на щелку вставки в боковых дверях большой гостиной, исполнил роспись на серебряных стенах «фонтана слез» и расписал плафоны личных апартаментов княгини.

В гостиной князя, роспись исполненная Николаем Тырса состояла вся из скульптурных мотивов на синих и зеленых фонах. На двух сторонах зеркального свода с кессонами, колесницы Аполлона и Авроры сопровождаются трубящими в раковины тритонами и крылатыми гениями. Над дверьми из «пирамидки» красного дерева с резными на них черными перунами, упругие серые грифоны сплелись хвостами на густо-синих фонах.

Все двери парадной амфилады были украшены резными мотивами, золочеными или черного дерева. Для скульптуры с фигурами Андрей обратился к Борису Яковлеву (тогда только что окончившему Академию Художеств), который вылепил вставки высокого рельефа над зеркалами полуротонды, расположенной меж двойной колоннадой танцевального зала и зимним садом. Здесь зеркальные полукруглые двери, вместе с зеркалами в простенках давали впечатление бесчисленных галлерей окружающих помещение, которое друзья Андрея прозвали «зеркальным засильем». (Лишь средняя дверь полукруглой залы имела прозрачные стекла, что позволяло видеть ионические колонны, обрамлявшие глубокую нишу центрального фонтана зимнего сада).

В этот период Андрей несколько раз ездил по поручению князя в подмосковное Архангельское. В первый раз он приехал туда летом когда в имении жили все Юсуповы и за ним выслали на станцию необыкновенно легкий одноместный шарabanчик на резиновых шинах с монументальным кучером, затянутым в белоснежный замшевый кафтан, с большими серебряными часами на шарообразном наваченном заде и в блестящем черном кучерском цилиндре над золотисто-рыжей бородой лопатой. В этот раз вызвался быть «чичероне» молодой князь, который во время подробного осмотра громадного поместья рассказывал Андрею о своих грандиозных планах.

Другие поездки в Архангельское были связаны с работой и происходили зимою в отсутствие владельцев. Во время одной из них Андрею было поручено подобрать цвета для покраски внутренних зал дворца; эту работу можно было делать лишь при дневном свете и, по зимнему времени; оставались свободными длинные вечера, которыми Андрей решил воспользоваться, чтобы порыться в обширной библиотеке помещавшейся в отдельном павильоне парка. Огромные богатства этого собрания не имели никакого описания, не было ни каталога, ни даже электрического освещения, и управляющий имением, усатый отставной полковник, заявил, что хочет присутствовать при «раскопках» и вызвался держать свечу над рассматриваемыми книгами.

Добравшись через снежные сугробы до павильона библиотеки, и раскрывая наугад старинные увражи, среди прочих великолепий, Андрей наткнулся на альбом, все листы которого были нарисованы рукой Гваренти; эти рисунки, изображавшие нескончаемое коронационное шествие, были исполнены пером и раскрашены любимыми тонами мастера, среди которых преобладали холодно-розовый и бледно-зеленый. Андрей был в восторге от находки и никак не мог понять причины разочарованного вида бравого полковника и лишь позднее о ней догадался, когда кто-то спросил его видел ли он знаменитое, якобы находящееся в библиотеке Архангельского, собрание эротических французских гравюр 18-го века.

Если не считать поездок в Архангельское и в Киев к графине Бобринской, Андрей до конца лета 1916 года не отлучался из Петербурга, но в августе этого года ему пришлось совершить уже настоящее большое путешествие. Еще в июле, русские войска, быстро продвигавшиеся по Турецкой Армении взяли штурмом Ерзерум и заняли Ердзинджан, после чего Петербургская Академия Наук решила отправить туда экспедицию для исследования памятников армянской архитектуры, до той поры недоступных. Эту экспедицию возглавлял профессор Н. Л. Окунев, который убедил Андрея принять в ней участие в качестве архитектора. (Роль Андрея заключалась в рисунках, обмерах и руководстве снимками фотографа, бывшего третьим членом экспедиции).

Только к зиме, после путешествия в Армению и в Крым, Андрей вернулся в Петербург, где нашел Феликса Юсупова в очень мало ему идущей форме Пажеского корпуса, поне-

вole изучающего нисколько его не интересующие военные науки. Без всякого сомнения его гораздо больше занимали работы на Мойке, где он каждый день проводил по несколько часов.

Тут вскоре разыгралось событие, взволновавшее весь мир и наложившее свой отпечаток на ход истории: трагическая смерть Распутина. Приводим здесь выдержки из записок самого Андрея, написанных еще под свежим впечатлением происшедших во дворце событий.

ИЗ ЗАПИСОК А. Я. БЕЛОБОРОДОВА¹¹

В период непосредственно предшествовавший роковой ночи убийства Распутина и в ближайшие дни после нее мне приходилось почти неотлучно находиться в Юсуповском дворце и по много часов проводить в обществе молодого князя. Не имея никакого отношения ни к «заговору», ни к его осуществлению, мне невольно пришлось быть свидетелем и «приемником» рефлексов настоящих участников заговора, в сценах происходивших на моих глазах, в обращенных ко мне словах, во всей той странной напряженной атмосфере, которой были проникнуты эти трагические дни.

Ноябрь 1916

Невский Проспект по пути из Юсуповского дворца в Гостиный Двор, куда мы едем в машине князя выбирать материи для новых помещений. У него необычно рассеянное и взволнованное лицо. Внезапно он прерывает разговор об оттенках шелков: — «Читали-ли вы отчет о вчерашней речи Пуришкевича в Думе? Я был на этом заседании... Так не может, не должно продолжаться! Подумать, что Россия гибнет из-за одного невежественного, чудовищно развращенного мужика».

Начало декабря

Дворец Юсупова. Работы по отделке appartаментов в полном разгаре и их посещает великий князь Дмитрий Павлович. Меня представляют ему в Гобеленовой галлерее, где

¹¹ В этих записках, как и во всех прочих, касающихся событий в России даты сообщены по «старому стилю».

он стоит у колонны поддерживающей мраморный бюст Николая I-го. Меня поражает сходство двух лиц: мраморного и живого. Но его лицо тоже как будто высечено из мрамора — до такой степени оно неподвижно и непроницаемо. Его императорское высочество выражает желание посмотреть подземное помещение. Ряд зал через которые мы проходим как будто мало его интересуют. В подземельи он остается долго и внимательно его осматривает. Пристально смотрит на окна, выходящие на Мойку, помещенные в распалубках гранитных сводов. Единственный вопрос который он задает мне: «Как закрываются окна на ночь? Нужно чтобы были прочные, массивные, дубовые ставни».

Через несколько дней

Работы во дворце посещает Александр Бенуа в сопровождении князя Аргутинского-Долгорукого. Они с интересом осматривают главные залы, начинающие уже принимать свой окончательный облик. Почти закончены расписные плафоны и стенная живопись, расставляется драгоценная мебель, развешиваются картины больших мастеров, находят свое место статуи и редкостные предметы выбранные из неисчерпаемых богатств Юсуповских собраний.

Очень их занимает и та часть апартаментов, которая образует как бы гарсоньерку молодого князя. Эта часть дворца отделенная от прочих покоев парадным входом молодых Юсуповых включала в себя расположенную над нижним помещением студию, могущую служить спальней. (Кровать была замаскирована тяжелыми занавесками между колоннами портика обрамляющего монументальное окно с видом на уходящую в глубину Мойку).

К студии примыкал целый ряд маленьких помещений: ванная, шестиугольная туалетная, стены которой состояли из шести зеркальных дверей, гардеробная и полукруглая прихожая соединенная с парадным вестибюлем молодых.

Помещение расположенное под землей должно было, в случае приезда князя, служить столовой; в нее спускались по винтовой лестнице, на пол-пути которой был выход в боковой наружный двор, отделенный решеткой от набережной Мойки.

После осмотра подземелья, поднимаясь по дубовым ступеням лесенки, Бенуа говорит мне: «Ну и нафантализировали же вы здесь, батенька, — это какой-то Роккамболь! Вот увидите, что-нибудь да произойдет здесь».

14 декабря

Князь Юсупов говорит мне: «Андрей Яковлевич, послезавтра у меня собираются несколько друзей, я бы хотел их принять в нижней столовой, постарайтесь закончить в ней всё к вечеру этого дня. На другой день мы поедем с вами в Москву и оттуда в Архангельское».

16 декабря

С раннего утра кипит работа под землей. Еще недавно здесь был банальный погреб для угля. Теперь все стало неизнаваемо. На квадратные плиты пола опираются могучие своды серого гранита. Сюда приносят старинную мебель массивного темного дуба, перед монументальным камином из темно-розового полированного гранита расстилаются шкуры белых медведей.

Мало мебели, мало предметов, но все они носят печать какого-то сложного и причудливого далекого прошлого. Против камина, в глубине закругленной части, образующей род абсиды, через раскрытые дверцы старинного «кабинета», видна фантастическая перспектива резных колонок и их бесконечные амфилады отраженные маленькими зеркалами. Наверху — чаша сделанная из страусового яйца в серебряной оправе. В распалубках, образующих род звезды в сферическом своде, — глубокие, мягкие кресла и низкие столики, покрытые старинной парчей. На полу медные сосуды причудливой формы с живыми растениями.

В нише галлерей ведущей на винтовую лестницу, против одной из арок отделяющих галлерею от главного помещения, ставится шкаф резного черного дерева увенчанный древним распятием из слоновой кости.

Весь этот день прошел в лихорадочной работе в подземелье. Вечером мне нужно было отлучиться на заседание Общества Архитекторов, казавшееся тогда мне, молодому только что вышедшему в свет архитектору, чрезвычайно важным. По окончании заседания и уже в поздний час я поехал опять в Юсуповский дворец, где меня должен был ждать князь, чтобы бросить последний взгляд на помещения приготовленные к ночному приему.

16 декабря полночь

Мне открывает большую парадную дверь старый швейцар в пышной ливрее, весь увешенный орденами и медалями.

— Их сиятельство просят вас пройти в нижнюю залу.

Через анфиладу личных парадных покоев молодого князя, слабо освещенных дежурными лампами, я спускаюсь вниз по маленькой винтовой лестнице из темного, почти черного дуба между оранжевыми стенами.

В комнате никого нет и она слабо освещена; сажусь у стола ожидать прихода Юсупова. В полной тишине проходит несколько минут.

И вдруг я вздрагиваю от неожиданности, услыхав голос князя из глубины абсиды: — «Какое удивительное настроение в этой комнате; какая тишина и покой, как далеко, кажется, находимся мы здесь от всяческой мирской суеты!»

О чём думал он и какие картины того, что должно было вот сейчас произойти здесь проходили перед его глазами, пока он сидел и молчал в кресле, скрытый от меня пиластрой абсиды?

17 декабря

Морозное утро все залитое золотисто-розовым светом; в хрустальном воздухе застыли обсыпанные белым инеем деревья; искрящийся снег скрипит под половьями быстро скользящих санок. Мы подъезжаем к Юсуповскому дворцу и санки останавливаются у железной решётки. Пересекаю наружный двор и звоню у маленькой двери ведущей на винтовую лесенку. Дверь отворяет дворецкий князя Бужинский — его личный доверенный. Меня прежде всего поражает его смертельно бледное лицо и беспокойно бегающий взгляд.

Ковры на лесенке сняты и ступени залиты водой: брызги ее темными пятнами выступают на нижней части оранжевых стен.

— Что случилось?

— Нет, ничего. Гости долго засиделись, мыли руки перед отъездом и уезжая забыли закрыть кран в умывальнике туалетной комнаты. Вода долго текла по лестнице и залила немного нижнюю залу.

Его глаза не смотрят на меня, когда он мне отвечает. На узенькой лестнице мне уступают дорогу домашние люди

князя молча и сосредоточенно трущие отсыревшие дубовые ступени. Работы во дворце продолжаются, но какая-то странная, напряженная атмосфера повисла в воздухе. Не слышно ни обычных песен рабочих, ни их громких разговоров. У проходящих служащих какое-то странное, сосредоточенное выражение лиц. Князя нет против обыкновения.

Я продолжаю осмотр работ. Далеко телефонный звонок ясно слышится в необычной тишине и меня зовут к аппарату.

Голос князя: «Андрей Яковлевич, я очень занят сегодня весь день и не знаю смогу ли побывать на Мойке. Вечером мы с вами едем в Москву как условились. Приезжайте за мной во дворец Александра Михайловича и оттуда мы поедем прямо на вокзал».

В полуденный перерыв я вернулся домой к завтраку; развертываю газету и мне бросается в глаза странная статья о таинственных выстрелах во дворе одного дворца на Мойке, о причастности чрезвычайно высокопоставленных лиц к какой-то разыгравшейся ночной драме — статья полная неясных и тревожных намеков на таинственное исчезновение одного хорошо известного всем лица. По городу ползли странные, противоречивые слухи, назывались лица хорошо мне известные...

17 декабря вечером

В условленный час с дорожным чемоданом приезжаю во дворец великого князя. Юсупов еще не вернулся — просят обождать.

Долгое ожидание в огромном двусветном вестибюле — приемной. По распашной лестнице, ведущей в верхние покоя, время от времени бесшумно поднимаются и спускаются люди великого князя. У них сосредоточенно озабоченные, закрытые лица. Кто-то звонит у парадного подъезда, слышно как отворяется тяжелая дверь и после тихого разговора вновь захлопывается.

Наконец ливрейный лакей подходит ко мне и говорит, что князь только что звонил по телефону, прося сообщить мне, что поездка откладывается на завтра, о часе отъезда он сообщит мне из Мойки.

18 декабря

Кабинет Юсупова во дворце на Мойке. Князь по телефону сообщает мне что мы едем в Москву вечерним экспрессом. Встретимся на вокзале.

18 декабря вечером

Вокзал Николаевской железной дороги. Мы встречаемся с Юсуповым на перроне перед московским экспрессом. Его сопровождает брат княгини Федор Александрович, который должен ехать с нами в Москву.

Юсупов берется рукой за медную штангу лестницы ведущей в вагон.

— Наши места готовы, едем...

В это время, отделившись от небольшой группы офицеров, к нему подходит гвардейский генерал; он очень импозантен, но у него необычайно взволнованное лицо. Юсупов отходит с ним в сторону и генерал тихо говорит ему несколько слов. Видно как ему трудно произнести эти слова.

Князь очень спокойный, тихо наклоняет голову в знак согласия, затем подходит ко мне и протягивает мне руку: — «Андрей Яковлевич мы не едем сегодня в Москву... До завтра!»

Второй раз я возвращаюсь домой всё с тем же чемоданом.

19 декабря днем

Студия Юсупова во дворце на Мойке. Князь вызывает меня к телефону: — «Андрей Яковлевич, ну как идут работы?..»

Короткая пауза, тихий, как будто чуть напряженный смех: — «Вы знаете, я арестован... да, в Сергиевском дворце. Я был бы рад вас видеть — хотите навестить меня? Вы не боитесь?.. Тогда завтра в 5 часов, боковой подъезд».

20 декабря 5 ч. пополудни

Дворец Сергея Александровича на Невском. Небольшой вооруженный пикет в сенях бокового входа предупрежден о моем приходе и пропускает меня. По сводчатой лестнице поднимаюсь наверх мимо второго пикета. В большой квадратной гостиной обтянутой золотисто-желтым штофом, пусто. Лег-

кие шаги приближаются к лакированной белой двери направо. Пауза. Поворот ключа, дверь открывается и появляется Юсупов.

— Вы знаете, я смотрел в замочную скважину чтобы убедиться что это вы. Здесь происходят странные вещи. Кажется клика Распутина поклялась во что бы то ни стало убить меня. Трепов предупредил меня опасаться Протопопова. В тот вечер, что вы приезжали за мной во дворец Александра Михайловича, какая-то женщина долго ждала меня у подъезда. Меня во время предупредили. Еще вчера произошел странный инцидент с охраной: вооруженные солдаты пикета, явившиеся на смену прежнего, уже начали подниматься сюда наверх по лестнице, когда мажордом догадался спросить у них письменное предписание. Ему ответили, что не подумали его взять с собой и что они вернутся с письменным приказом. Люди эти никогда не вернулись. Теперь моя охрана контролируется Треповым... Вы знаете, что меня обвиняют будто я убил Распутина?

Никогда не забуду я выражения его глаз когда он произносил эти слова. Смертельный ужас прошел в них. Казалось что какое-то магическое зеркало посыпало ему отражение недавней трагической сцены. И в этот момент, когда слова его как бы отрицали его участие в драме, исчезли мои последние сомнения и реальная правда предстала передо мной во всей своей трагической несомненности.

Этими словами заканчиваются записки Андрея, в которых он говорит лишь о том, чему ему пришлось быть непосредственным свидетелем. Все знают как развернулись события после убийства Распутина; Дмитрий Павлович был сослан на персидский фронт, а Юсупов в далекое «Ракитное» Курской губернии.

В изгнании страшные воспоминания не мешают Феликсу Юсупову живо интересоваться тем что происходит на Майке и Андрей получает от него ряд писем с вопросами и желаниями.

В первое время работы во дворце еще продолжались нормально несмотря на глухие волнения, недостаток хлеба и хвосты на улицах, но к концу февраля работы постепенно приостановились из-за уже открытых демонстраций, стычек с полицией, с войсками; началась революция.

А. Белобородов

УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЕ РУКОПИСНЫЕ СБОРНИКИ

Черты умственной жизни старообрядцев
Русского Севера в XVIII-XX веках

I

Усть-Цильма, в округе которой были найдены рукописи, о которых идет речь в этом очерке, — старинный городок на русском Севере, в Печорском крае, при впадении реки Цильмы в Печору, в Пустозерском уезде, бывшей Архангельской губернии. Городок основан в XVI веке пришельцами из Новгорода. Исконными населителями этой местности были зыряне (коми). Пустозерск находится ниже по Печоре, близ впадения ее в Ледовитый океан, уже в области самоедов (ненцев). Туда в конце его жизни был сослан протопоп Аввакум. Там он и был сожжен в 1682 году. В настоящее время Усть-Цилемский округ — один из крупных районов Коми АССР.

Печорский край лежит в восточной части русского Поморья (бассейна Ледовитого океана и Белого моря). Издавна, еще с Новгородских времен, поморы отличались деятельным и предпримчивым характером. Когда в Московском государстве возникло крепостное право, оно на Поморье не распространялось.

До секуляризации церковных земель при Екатерине II крупными вотчинниками на русском севере были монастыри, в особенности знаменитый Соловецкий монастырь, в поместья же служилым людям Московское правительство земель на севере не раздавало. Благодаря этому в XVII веке основой общественного строя в Поморье были крестьянские миры, подлежащие государственному тяглу, но состоявшие из лично свободных крестьян.

Поморы издавна занимались рыболовством в море, реках и озерах (в море также били моржей и тюленей), лесными промыслами, солеварением, охотой на пушных зверей, оленеводством и скотоводством и где можно было — земледелием,

а кроме того постройкой морских и речных судов. Сыном одного из таких судостроителей был М. В. Ломоносов.

Громадные пространства русского севера были мало населены. Первая железная дорога, достигшая Белого моря — из Вологды в Архангельск, — была построена лишь в конце XIX века. Зато в этом глухом краю до наших дней сохранились в народе остатки духовной культуры древней Руси, в особенности эпос. Именно на севере, от местных сказителей и сказительниц, записано было, начиная с середины XIX века, наибольшее количество старин (былин), вошедших в основные сборники их. В 1860-х годах главным местом бытования эпоса считался Олонецкий край. Там записывали былины Рыбников, Гильфердинг и корреспонденты Киреевского. Позже собиратели эпоса обратили внимание на все Поморье, включая Пинегу и Мезень. Былины Печорского края записаны были Ончуковым (сборник его был напечатан в 1904 году). Поиски новых вариантов былин на русском севере продолжаются и в настоящее время.

Эпос, как и народная песня в различных ее видах, творился и передавался из поколения в поколение устно. Лишь в редких исключительных случаях эпическое произведение записывалось (как это было со «Словом о Полку Игореве»). В эпосе и народной песне слово неразрывно слито с музыкой. И опять-таки древний музыкальный строй лучше всего сохранился на севере.¹

Древнерусская письменная литература первоначально развивалась главным образом под эгидой церкви. И церковная и светская письменность создана была на Руси людьми образованных кругов — епископами, монахами и князьями (вспомним «Поучение» Владимира Мономаха), словом — тогдашней церковной и светской интеллигенцией. Понемногу в письменность проникали и темы народной устной словесности. Примером влияния былины на письменную повесть в XVII веке является недавно открытая В. И. Малышевым «Повесть о Сухане».² Записывались также и духовные стихи, в основе которых, кстати сказать, почти всегда и лежат книжные повести более или менее церковного происхождения.³ Первая известная нам запись духовного стиха относится к последней четверти XV века. В XVII веке записано было уже много произведений этого рода.

Несмотря на церковно-книжную основу большинства духовных стихов, многие из них сложены в тоническом размере былинного эпоса. Другого вида духовные стихи облечены в

силлабический размер и рифмованы. Эту форму занесла в Великороссию в XVII веке малороссийская духовная школа. Западно-русские (украинские и белорусские) духовные стихи — все силлабические.

II

Крутой поворот патриарха Никона к западно-русской и греческой учености в середине XVII века сопровождался, как известно, переменами некоторых черт богослужебного обряда русской церкви и исправлениями богослужебных книг для приведения московского обряда к единобразию с киевским и греческим. Смута, вызванная этим в русской церкви, привела к расколу старообрядчества. Произошел трагический разрыв в русском религиозном сознании и русской культурной традиции.

С общеисторической точки зрения, во всей этой серии конфликтов во время патриаршества Никона и суда над ним дело шло не только о разногласиях в церкви, но о столкновении двух общественных направлений — клерикального и государственного. Государственное направление — его можно назвать и светским — вело к принятию западной науки и техники, необходимой для развития производительных сил России. Новые веяния проявились и в литературе и искусстве. Борьба между «никонианами» и старообрядцами болезненно отразилась на народной психологии и ослабила русскую церковь. Этим самым подготовлена была почва для реформ Петра Великого.

Против светского миросозерцания и роста западных влияний были не только старообрядческие наставники, но и значительная часть «никонианского» духовенства. Лишь немногие из великорусских епископов сочувствовали петровским преобразованиям. Петру пришлось опираться в церковном управлении главным образом на проникнутый уже западной культурой малороссийский епископат. Одного из выдающихся киевских ученых — Стефана Яворского — Петр назначил местоблюстителем патриаршего престола на переходное время подготавливавшейся коренной реформы церковного управления. Стефан не сочувствовал, однако, принципам этой реформы, считая их проникнутыми духом протестантизма. Не он, а другой питомец Киевской Духовной академии — Феофан Прокопович, человек необыкновенного ума и способностей, сделался главным помощником Петра по церковным делам и вместе с тем главным идеологом возникавшей Российской Империи.

В богословском отношении, говоря словами Юрия Самарина, «Степан Яворский понял в православии и выразил начало антитестантское, Феофан Прокопович понял и выразил начало антикатолическое... Оба были православные, оба были преданы Церкви, оба защищали ее, но против разных врагов... Степан Яворский обратился лицом к протестантизму (для борьбы с ним), Феофан Прокопович лицом к католицизму».⁴

Дух московской культуры сохранился прочнее и дольше у старообрядцев, чем у «никониан». Усть-Цилемские сборники, о которых идет речь в настоящей моей статье, как раз и знакомят нас с пережитками в Печорском крае этой культуры, элементы которой удержались в старообрядческой среде до ХХ века.

Уже вскоре после начала раскола в русской церкви среди старообрядцев распространились апокалиптические настроения. Ждали пришествия антихриста и конца света, долженствующего наступить, по расчетам некоторых книжников, в 1699 году. Защитники старой веры искали спасения от ненавистной им власти на далеком севере, за Волгой, на Дону, на других окраинах Московского государства, уходили за Польский рубеж.

III

Большой церковный собор, заседавший в Москве в 1666-1667 годах с участием восточных (греческих) патриархов, осудил Никона за его стремление поставить патриаршую власть наравне с царской (царь и патриарх — «богомудрая двоица»), а вслед за этим наложил клятвы на противников Никона — старообрядцев. Проклятие произнесено было восточными патриархами. Постановление собора 1667 г. закрепило церковный раскол и сделало невозможным примирение между двумя церковными течениями. На основании этого Московское правительство получило полномочия принять меры воздействия на старообрядцев, включая смертную. Одним из первых сожжен был протопоп Аввакум (в царствование Федора

Во время правления царевны Софьи правительство начало систематическое гонение против старообрядцев. Указ 1684 года грозил «срубом» (сожжением) упорным и нераскаянным приверженцам старой веры. В религиозном экстазе, ввиду ожидаемого светопреставления и наступивших гонений, люди думали не о том, как жить, а о том, как бы умереть достойнее.⁵

Многие духовные руководители старообрядцев боялись, что под влиянием мучений со стороны властей их пасомые не выдержат и отрекутся от истинной веры. Отсюда призыв — не ждать прихода властей, а принять «самоубийственную смерть» путем самосожжения. «А как уж сгорел, ото всего уже ушел!.. Все-то грехи очистит огонь». Крайние фанатики самосожжения мечтали спалить всю Россию — а за Россией сгорела бы, может быть, и «вся вселенная».⁶

Считают, что между 1684 и 1691 на Руси сожглось не меньше двадцати тысяч человек. После этого эпидемия самосожжений стала утихать. Конец света не приходил, а прямые гонения на старообрядцев при новом царе — Петре — также стихли, хотя ревнители благочестия и считали этого царя антисристом. Впрочем, вспышки самосожжения случались и в XVIII веке (о некоторых из них будет сказано ниже) и даже позже.

Кончина света не пришла. Ревнителям старины пришлось жить в новых условиях. И тут обнаружилось, что старообрядческая церковь к этому не подготовилась. Для продолжения жизни церкви нужна была непрерывность и преемственность иерархии. Между тем у старообрядцев не было ни одного епископа. Посвященные до Никона священники старели и умирали. Наконец их вовсе не стало. «Как миру быть без попов?» спрашивал еще Аввакум. Тут наметилось два решения. Одни — «поповцы» — пошли на компромисс и решили принимать священников Никонианского поставления, соглашавшихся отречься от господствующей церкви. Десятилетиями поповцы старались добыть себе архиерея. Искания эти увенчались успехом только в 1846 году, когда старообрядцы получили привилегию от австрийского императора Иосифа II на основание епархии в Белой Кринице, в Буковине, на австрийской территории. Первый Белокриницкий епископ — серб, бывший епископ босно-сараевский, немедленно рукоположил своего преемника — уже русского старообрядца.

Только часть старообрядчества пошла этим путем. Другие — беспоповцы — не желая прибегать к уловкам и компромиссам, пришли к решению обойтись вовсе без священников и, значит, без церкви и таинств, за исключением таинств, которые могут совершать и миряне (крещение и покаяние). Это решение требовало упорной работы мысли и большой духовной смелости. Старообрядчество психологически поклонилось ведь на соблюдении традиции. Беспоповцы, исходя из этого основания и продолжая соблюдать старинный обряд — поскольку это

могло было без священства и таинств, — пришли на самом деле к совершенно новым взглядам на церковно-общественную жизнь. Беспоповщина возобладала на всем русском севере. Довольно скоро, однако, беспоповцы раскололись на несколько толков. Главными из них были «поморский» и «Федосеевский».

Мощным средоточием духовной жизни поморского толка в XVIII веке было общежительство, созданное на реке Выге в Заонежье братьями Андреем и Семеном Денисовыми. Происходили они из рода обедневшей ветви князей Мышецких. Оба были люди глубокой веры и выдающиеся писатели. Андрей был особенно крупной личностью.⁷ Человек широкого кругозора, Андрей Денисов понял необходимость систематического образования. О школе, в которой он учился, существуют среди историков разные мнения. В. Г. Дружинин думал, что Андрей Денисов занимался в Москве, в школе братьев Лихудов, а потом в Новгороде. Н. Барсов считал, что Денисов обучался в Киевской Духовной академии у Феофана Прокоповича (который был профессором этой академии от 1708 до 1715 года). Мнение Барсова мне кажется более убедительным. Известно, что Феофан Прокопович уважал братьев Денисовых и переписывался с ними.

Денисов сумел завязать сношения — и религиозные и деловые — со всем старообрядческим миром. При Петре Великом старообрядцы получили возможность легального существования при условии платить двойной подушный оклад. Много непримиримыхказалось это сделать, не желая входить в сношения с антихристовым государством. Денисов решил исполнить требование правительства и тем укрепил положение Выговской обители. Денисов согласился даже на требование молиться за царя, объясняя своей братии, что древняя церковь молилась же за языческих царей. Выговская «пустынь» разбогатела и завела большие хозяйствственные предприятия. На берегу Онежского озера поставлена была пристань, суда обители развозили свои и чужие запасы. В соседнем Каргопольском уезде были куплены и взяты в наем большие пространства пашни. Выговские рыболовы и звероловы плавали по Белому морю и Ледовитому океану, доходили до Шпицбергена и Новой Земли.⁸ Обитель обстроилась, при ней собрана была большая библиотека, открыты школы для переписчиков, певчих и иконописцев, наложены различные мастерские. Выговская пустынь сделалась рассадником духовного просвещения для всего старообрядческого севера. По ее образцу возникли обители и скиты на Мезене и Печоре, в том числе и в Усть-Цилемском крае.

Около 1720 года мезенец Парфений Клокотов совместно с последователем выговцев, бывшим соловецким старцем Феофаном, основал на «Великих Лугах», на реке Пижме, в пределах теперешнего Усть-Цилемского района, скит быстро выросший в крупное общежительство Выговского типа — Великопоженское. Наставником обители сделался Иван Акиндинов, ранее связанный с Выговской пустынью. При Великопоженском общежительстве была заведена «грамотница», где обучали чтению, пению, письму и переписке рукописей. В середине XVIII века был основан и другой скит — Цилемский — в верховьях реки Цильмы. И Выговская пустынь и скиты Усть-Цилемского района просуществовали до конца царствования Николая I, когда они были закрыты правительством.

IV

Старообрядческие обители и скиты сыграли большую роль в распространении грамотности и любви к книге и вообще в развитии умственной жизни населения русского севера в XVIII и XIX веках. В этом движении продолжались традиции духовной культуры Московской, до-Никоновской, Руси. Проводниками этой духовной культуры на севере и в частности, в Печорском крае, были главным образом беспоповские наставники и «отцы». Большое значение имели и переписчики книг. В скитских библиотеках и во многих старообрядческих семьях хранились и старые печатные книги, но их не хватало. Для переписчиков открылось поэтому обширное поле деятельности. Звание переписчика считалось почетным.

После закрытия северных беспоповских скитов в середине XIX века покровителями старой письменности сделались местные богатеи, главным образом купцы, у которых были связи со старообрядческой Москвой. В период религиозной терпимости при Александре I правительство признало существование двух беспоповских общежительств в Москве — Преображенского кладбища и Покровской Монинской часовни, основанных еще в 1770-х годах. Первое учреждение было в руках Федосеевского толка; второе управлялось «поморцами», т. е. именно северным толком беспоповства, к которому принадлежали и Печорские скиты. Старообрядческие общежития севера тесно связаны были с местным населением, хребтом которого было крепкое зажиточное крестьянство. Скиты представляли собою своеобразные народные общины, с выборным началом и монастырским уставом жизни.

Перед закрытием Великопоженского общежительства и Цилемского скита братии удалось заранее спрятать часть рукописей и старопечатных книг. Многим местным богачам и наставникам удалось также выкупить конфискованные книги у властей. У некоторых видных старообрядцев Усть-Цилемского края составились таким образом, большие книжные и рукописные собрания. Книги — печатные или рукописные — были почти в каждой старообрядческой семье. Даже во многих бедных семьях бывало хотя бы по несколько книг. Их читали дома, но иногда брали и в отъезд, когда отправлялись в дальние поездки — на рыбалки, например.

Литературоведы (С. В. Максимов, Н. Е. Ончуков, Е. А. Ляцкий и другие) начали посещать Печорский край в поисках рукописей и старопечатных книг еще со второй половины XIX века и продолжали свои исследования в XX веке. В 1937 г. Владимир Иванович Малышев решил проверить сведения Максимова и Ончука и с этой целью побывал на Печоре в Ненецком округе и Усть-Цилемском районе Коми АССР. Малышев повторил свою поездку в 1938 г. На основании представленных им сведений в следующем году Институт истории Академии наук и филологический факультет Ленинградского университета предположили организовать совместную археографическую экспедицию на Печору. Международные осложнения и война помешали этому плану осуществиться. После окончания войны планомерное археографическое исследование Печорского края и в первую очередь Усть-Цилемского района взял на себя сектор древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук. За десятилетие 1949—1959 было организовано семь научных командировок. Во всех них участвовал В. И. Малышев. Как видно, он был душой всей этой работы. Рукописи, собранные этими экспедициями, составили основу Печорского собрания Института русской литературы Академии наук. Самой ценной частью Усть-Цилемской коллекции являются рукописные сборники XVI-XX веков разнообразного содержания. В. И. Малышев составил тщательное описание этих сборников (их 154), написав к нему обстоятельное предисловие («Из истории рукописно-книжной традиции на низовой Печоре») и поместив ценные приложения.⁹

В предисловии В. И. Малышев дает сжатый очерк заселения Усть-Цилемского края и устройства Великопоженского общежительства и Цилемского скита, а затем сообщает любопытные данные о напряженной работе Усть-Цилемских пере-

писчиков книг и прилагает довольно длинный список их для XIX — первой трети XX века («далеко не полный», как он сам говорит). О некоторых из этих переписчиков Малышеву удалось собрать и биографические данные. Старинные богословские сочинения и книги церковного обихода переписчики, разумеется, передавали слово в слово. Иные повести и жития переписчики перерабатывали, стремясь сделать их более доступными современному им читателю.

Начало этой творческой литературной работе переписчиков положил Иван Степанович Мяндин (умер в 1894 году, в глубокой старости), очень начитанный человек, у которого было большое собрание рукописей и старопечатных книг. По рассказам местных жителей, отец Мяндина был суворовским солдатом. В молодости И. С. Мяндин ездил учиться в Выговскую пустынь. Позже Мяндин бывал и в Москве. Любил читать также и «мирские» книги, журналы и газеты. Мяндин первый в Усть-Цильме начал переплétat и реставрировать книги. У его внуков хранится его самодельный переплетный пресс. Как переписчик, Мяндин был одним из главных создателей местного почерка, так называемого «печорского полуустава», возникшего на основе «поморского» (Выговского) полуустава. Печорский полуустав менее строен и строг, чем поморский, но зато им можно писать скорее. В книге Малышева помещено несколько снимков с рукописей печорского полуустава (иллюстрации на стр. 13 и 15 — почерк Мяндина).

Нужда старообрядцев в переписывании необходимых для них книг кончилась в начале XX века. 17 апреля 1906 г. вышел указ о старообрядческих общинах, легализировавший их организацию и предоставивший старообрядцам право печатать их книги. Немедленно возникло несколько старообрядческих издательств, выпускавших книги самого разнообразного содержания (церковно-служебные, духовно-нравственные, исторические, полемические). Поток этих печатных книг хлынул в центры расселения старообрядцев, в том числе и на Печору. Понятно, что такой оборот дела должен был нанести — и действительно нанес — сильный удар ремеслу переписчиков книг. Некоторые из них сделались теперь комиссионерами старообрядческих издательств, другие принуждены были искать новые профессии. Но небольшое число переписчиков продолжали свое дело, работая теперь уже главным образом для выполнения специальных частных заказов, например, переписывая поминания, каноны и кафизмы. Малышев во время своих поездок в Усть-Цилемский край познакомился с несколькими такими пере-

писчиками. Писали они уже не старинным полууставом, а почерком, подражавшим печатному шрифту. Таким образом рукописная традиция старообрядческого мира в Усть-Цилемском крае дожила до наших дней, хотя в измененном и урезанном виде.

В дальнейшей части своего предисловия Малышев дает общую характеристику содержания Усть-Цилемских сборников и отмечает научное значение материала этих сборников. Некоторые произведения, помещенные в этих сборниках, были еще до выхода книги Малышева опубликованы им самим или другими литераторами в «Трудах Отдела древнерусской литературы». «Повесть о царевне Персике» Малышев издал уже после издания своей книги. Другие произведения подготавливаются к печати.

Описанные им сборники Малышев разделяет на три отдела: 1) «Сборники и сборные рукописи смешанного состава» (стр. 47-136); 2) «Сборники стихов» (стр. 137-156) и 3) «Сборники определенного состава» (стр. 157-164). В первом отделе описывается 101 сборник. Из них два XVI века, один смешанный XVI-XVII вв., за ними следуют десять сборников XVII века (иногда XVII-XVIII веков) (номера 4-13), много сборников XVIII в. (частью XVIII-XIX вв.) (номера 14-48). Большинство сборников относится к XIX веку (номера 49-93); остальные написаны в XX веке (номера 94-101). В некоторые сборники, наряду с более ранними рукописями (XVI века), включены и более поздние (XVIII века) (так в сборнике номер 2).

Содержание сборников весьма разнообразное. Сборники рукописей XVI и XVII веков заключают в себе большей частью «слова» и толкования отцов церкви и выписки из них, но также и отрывки из сочинений московских книжников XV-XVI веков (Иосифа Волоцкого, митрополита Макария), повести (о Петре и Февронии, о царице Динаре) и т. д.

В сборниках, содержащих рукописи конца XVII века и более новые, в добавление к тому же содержанию, что имеется в ранних сборных рукописях, видное место занимают произведения собственно старообрядческой литературы, начиная с писаний протопопа Аввакума, его духовника инока Епифания, одного из основателей Выговской пустыни инока Корнилия, а затем сочинения братьев Денисовых и других поморцев.¹⁰

Для истории беспоповщины очень ценна «Исповедь» историка Выговской пустыни Ивана Филиппова, список которой

считался утраченным. «Исповедь» подготовлена В. И. Малышевым к печати. Интересна и значительная напечатанная Малышевым полностью «Повесть о самосожжении на Пижме» (Мезенский уезд) в 1743-1744 гг. Об этой повести будет подробно сказано ниже.

Сочинений «никониан» старообрядцы, разумеется, избегали, но списки некоторых произведений киевских ученых — Стефана Яворского (его «Риторическая рука») и Феофана Прокоповича — попадаются в выговской письменности и в Усть-Цилемских сборниках. Возникновение интереса старообрядческих книжников к киевским писателям отчасти можно объяснить упомянутой выше поездкой Андрея Денисова в Киев и перепиской с ним Феофана Прокоповича.

С точки зрения развития собственно Усть-Цилемской письменности большой интерес представляют сборники XIX века. Повидимому оригинальным Усть-Цилемским произведением является «Повесть о быке» (сборник номер 67). По мнению Малышева, это произведение основано на местном фольклоре. Оно издано Малышевым в «Трудах отдела древнерусской литературы». (т. VII, стр. 476-480).

Как было уже упомянуто, некоторые повести перерабатывались Усть-Цилемскими переписчиками — сокращались и переиначивались на более современный лад для того, чтобы сделать их более доступными и привлекательными для читателя.

Второй отдел в описании Малышева составляют сборники стихов. Основная часть этого отдела — духовные стихи в записях XVIII-XX веков. Наряду с ними встречаются стихи, посвященные наставникам Выговской пустыни, а также и написанные на исторические темы. Кроме того, есть стихи-песни и стихи-сатиры. Среди них включены редкие стихи, нигде еще не напечатанные или опубликованные лишь в недавнее время. Из старых духовных стихов в Усть-Цилемских сборниках помещены стихи об Адаме, об Иоасафе царевиче индийском, об Иосифе Прекрасном, о Борисе и Глебе, об Алексее человеке Божием, о страшном суде. Из цикла стихов Выговской пустыни отметим стихи об Андрее Денисове, в том числе «Плач» о смерти его. Андрею Денисову приписывается и сочинение некоторых стихов, в том числе стиха о прекрасной пустыне. Многие стихи силлабические и рифмованные, Киевского размера. Форма эта, появившаяся в русской поэзии в эпоху смуты начала XVIII века, распространилась еще до Никона и была излюблена старообрядцами. Возможно, что текст некоторых стихов в сборниках конца XIX и начала XX века выписан из печатных

изданий, например, из Сборника русских духовных стихов, составленного Варенцовым (1860 г.). В своем описании Малышев указывает варианты в печатных изданиях, в том числе у Варенцова. В некоторых же случаях Малышев замечает, что сравнительно с текстом Варенцова разнотений нет.

Третий отдел своего описания Усть-Цилемских рукописей Малышев называет «Сборники определенного состава». Говоря попросту, содержание этих сборников можно определить как богослужебное и духовно-учительное. Сюда входят: Евангелие учительное (список третьей четверти XVI века), Евангелие от Матфея с толкованиями (список первой трети XVIII века), Паренесис Ефрема Сирина, Пролог, три Торжественника и Цветник священно-инока Дорофея. В этот же отдел включено два переводных католических сборника, которые пользовались большой популярностью у русских читателей во второй половине XVII-го и в XVIII веке — «Звезда Пресветлая» и «Великое Зерцало». По повелению царя Алексея Михайловича, «Великое Зерцало» было переведено на русский язык с польского в 1677 г. (уже после смерти царя Алексея). Это был сборник, составленный иезуитами (первоначально по-латыни) из средневековых христианских легенд и повестей. Содержавшиеся в нем рассказы служили материалом для проповедников, чтобы оживить проповедь и овладеть вниманием слушателей. Некоторые рассказы, сожравшиеся в «Звезде» и «Зерцале», послужили сюжетами для особых повестей. Однако ни «Зерцало», ни «Звезда Пресветлая» не относятся, собственно к богослужебной книжности, и с этой точки зрения, казалось бы более уместным было поместить описание рукописей этих двух произведений не в III, а в I отдел.

V

Переходим теперь к приложениям. Их три: «Повесть о сасмосожжении в Мезенском уезде в 1743-44 гг.»; помянник сгоревших в Великопоженском общежительстве в 1743 г.; и списки книг Великопоженского скита (остатков скитской библиотеки).

Повесть — ценный источник для истории старообрядчества и вместе с тем выдающееся литературное произведение. Изданию Повести Малышев предпослав содержательное предисловие, в котором он проанализировал источники произведения и его литературный стиль. «Повесть», несмотря на ее интерес и значение, до сих пор не была опубликована. Известны

два списка полного ее вида и четыре — краткого. Историю события, которому посвящена «Повесть» изложил в свое время Д. И. Сапожников в своем труде «Самосожжение в русском расколе» (Москва, 1891). Для установления фактической стороны событий Малышев обследовал сохранившиеся архивные документы, касающиеся этого происшествия, а именно два канцелярских «дела», одно из которых теперь хранится в Центральном Государственном архиве древних актов в Москве, а другое — в Центральном Государственном историческом архиве в Ленинграде. Первое дело содержит рапорт Архангельской губернской канцелярии в Сенат об отправке на Мезень из Архангельска воинской команды (с представителями духовенства). Отправка команды вызвана была доносом крестьянина Артемия Ванюкова, который, будучи обижен местными властями, в отместку сообщил архангельскому архиепископу Варсонофию о большом количестве старообрядческих скитов в Мезенском уезде. Этим «делом» пользовался и Сапожников. В другое «дело» входит доношение архиепископа Варсонофия в Синод о той же экспедиции и отчет о ее действиях, составленный прикомандированным к ней консисторским канцеляристом Иваном Поповым. Это дело было изложено Г. Есиповым в «Отечественных записках» в 1863 году. Попов описал весь ход событий с большей обстоятельностью, чем это было сделано в рапорте архангельской канцелярии. И светские и духовные власти снабдили всех представителей соответствующей инструкцией. Инструкции эти отличались одна от другой. Владыка Варсонофий рекомендовал относиться к старообрядцам «со смирением, не показывая никакой к ним злости». После «надлежащего с ними разглагольствия» рекомендовалось всех «раскольников за множеством (их) оставливать в тех скитах», за исключением их наставников, которых приказано было взять за караул и прислать в архиерейский дом для дальнейшего «разглагольствия». Инструкция губернской канцелярии предписывала начальнику воинской команды майору Ильицеву принять более строгие меры, а именно собрать все население «раскольничьего пристанища», переписать имущество живущих в скитах «без всякой утайки и прикрытия», а «по окончании всей той переписки явившихся всех раскольников, сколько их где найдется, положа им на ноги колодки что может за благо изобретено быть, чтобы в дороге не учинили, и со всеми их пожитками и учиненными к переписям... отправлять конвойными... в губернскую канцелярию... а на прежних местах оставлять не надлежит». Ин-

струкцию майор Ильищев должен был хранить в совершенном секрете. Команде его приказывалось ехать в скиты как можно скорее, «где можно на лошадях, а где нельзя, то на оленях и на лыжах (дело было в конце ноября 1743 года). Для отвода глаз Ильищеву велено было говорить, что он послан в Пустозерск. К скитам велено было подъезжать в ночное время, чтобы жители не успели разбежаться или «сгореть» (сжечься).

Несмотря на все эти меры предосторожности, наставник Великопоженского общежития Иван Акиндинов заранее узнал о предстоящем прибытии команды. По словам «Повести», когда майор Ильищев с командой приехал на Мезень, чтобы оттуда повернуть к Великопоженскому скиту (вместо того, чтобы ехать на Пустозерск, как они объявляли), там находился тайный осведомитель старообрядцев, печорец. Узнав «от добрых людей», что экспедиция направляется на Великие Луга (Великопоженский скит), этот печорец «побежал прямо ко оным жителям (великопоженцам) прямым путем, куда он знал, на лыжах». Он прибежал на Великие Луга за два дня до приезда команды.

Можно думать, что в самой губернской канцелярии в Архангельске у старообрядцев Выговской пустыни был свой секретный осведомитель, возможно, чиновник канцелярии, тайный старообрядец, или же никонианин, сочувствующий старообрядцам, а то и просто подкупленный старообрядцами. Он и мог дать знать о цели экспедиции «добрым людям», которые предупредили гонца-печорца.

Как бы то ни было, когда экспедиция приблизилась 7 декабря к Великопоженскому скиту, то ни в мужских, ни в женских кельях уже никого не было. Вместе с наставником все братия и сестры приготовились к самосожжению, запервшись в высокой часовне и отломав у нее крыльца и лестницы. Заранее приготовлены были и запасы горючего. Оставив команду подальше, майор Ильищев и консисторский канцелярист Попов с тремя понятыми из Усть-Цилемских крестьян подошли к часовне и стали стучать в стену под окном. После долгих переговоров запершиеся в часовне старообрядцы согласились прощать увещание владыки Варсонофия и выбросили из окна ремень, на котором подняли к себе одного из понятых, Василия Чупрова, дочь которого была в часовне. Прочтя грамоту (увещание архиепископа), запершиеся в часовне часа два ее обсуждали. Часть их высказывалась против того, чтоб сжечься, но возбладали сторонники самосожжения, руководимые Иваном Акиндиновым. Чупрова с грамотой спустили назад в

окно. По словам «Повести», с ним выпустили и его дочь, которую он уговорил выйти из затвора. После этого стоявшие под окном, к которым подошел и прикомандированный к экспедиции священник, еще полдня убеждали запершихся в часовне не сжигаться. Увещания не подействовали, и Иван Акиндинов с братией и сестрами сожглись. «А как зажглись, то великий между ними учинился крик и визг».

Согласно помяннику Великопоженского скита (Приложение II), сожглось в этот день 78 человек (во главе помянника стоит имя раба Божия Иоанна, т. е. Ивана Акиндинова). В рапорте Архангельской губернской канцелярии в Сенат показана цифра 79. В «Повести» сказано, что сожглось 86 или 88 человек обоего пола.

У сгоревших великопоженцев было значительное количество скота и всякого другого имущества. В «деле» об этом есть только глухое упоминание. Согласно «Повести», «посланные» (т. е. команда) «вое себе взяша, а овое записавши» (для представления отчета в губернскую канцелярию). По подсчету «Повести», в руки команды попало 600 четвертей молоченного хлеба, 30 куч немолоченного, 12 лошадей, 300 овец, более 50 дойных коров и множество иного имущества, в том числе «63 книги и икон множество». Для охраны и коры скота оставлен был караул — солдат и мужики. Данные об имуществе, захваченном командой, свидетельствуют о зажиточности и о широком размахе хозяйственной деятельности великопоженцев — первых наследников Пижемского края.

Из Великопоженской обители экспедиция направилась в другие скиты, арестуя по дороге старообрядческих главарей. В том числе арестован был Парфен Клокотов, бывший основатель Великопоженского общежития, откуда он ушел в более уединенное место, где основал новый скит. Клокотов был направлен в Холмогоры, но ему удалось бежать с пути.

Кроме Великопоженского скита, сожглись обители еще двух небольших скитов при подобных же обстоятельствах (приготовление «сруба» при получении известия о высылке команды, увещания со стороны православных, разногласия и споры).

Рвение «команды» было, однако, в скором времени прекращено. Еще 24 ноября 1743 г., при отправлении экспедиции против старообрядческих скитов, Архангельская губернская канцелярия направила «промеморию» в Сенат с рапортом об отправлении команды и копией инструкции, данной ей. 23 декабря Сенат осудил самовольные действия архангельского гу-

бернатора, предпринятые без предварительного доклада Сенату, и жестокость инструкции. 26 декабря последовал указ, предписывавший майору с командой прекратить разорение скитских жителей и вернуться в Архангельск.

«Повесть» заключает свой рассказ об этом так: «И аще бы указ не подоспел скоро, то бы вся Мезень разорилась от клеветников и враждебников».

Сравнение «Повести», опубликованной полностью Малышевым, с изложенным им содержанием двух официальных «дел» показывает, что в общем автор «Повести» стремился быть правдивым и точным в своем изображении хода событий. Вместе с тем видно, что задачей его было не просто составление исторической справки о событиях, а увековечение нового подвига страдальцев за «древнее благочестие», их стойкости и непоколебимости. Поэтому, например, в «Повести» не говорится, что решение сжечься было принято только после длительных споров. В «Повести» лишь упомянуто, что Иван Акиндинов с прочими «трепетаху... да некоторые малодушные, боящиеся мук, отпадут древлеотеческого церковного благочестия.»

В официальных актах дано фактическое описание событий. «Повесть», оставаясь по возможности верной фактам, освещает как бы изнутри духовный мир Великопоженских самосожигателей их чувства и переживания. Так, в «Повести» полностью приведена молитва, которую прочел Иван Акиндинов перед сожжением. Никто из стоящих вне часовни не мог слышать и запомнить слов этой молитвы. Текст ее очевидно подготовлен был заранее, на основе образцов подобной молитвы при прежних самосожжениях. Копия молитвы, надо думать, была оставлена верным людям на хранение.

Как литературное произведение, «Повесть» складно построена, изложение сжатое и последовательное, тон ровный и спокойный. Язык простой и доступный, хотя довольно много церковно-славянских выражений. По мнению Малышева, «Повесть» примыкает к литературной традиции поморской (Выговской) школы. В Выговской пустыни создался к середине XVIII века тип «повестей» и житий старообрядческих мучеников, в котором простота и доступность изложения предпочтена была прежнему «плетению словес».

Видным деятелем этой школы был историк Выга Иван Филиппов. Малышев именно его и считает автором «Повести» о Великопоженском и других Мезенских сожжениях 1743-1744 гг. Иван Филиппов умер 4 декабря 1744 г. в возрасте

83 лет. По свидетельству его «Жития», он до самых последних дней сохранил ясность ума и работоспособность. После разгрома Мезенских скитов немало братии их искало себе спасения в Выговской пустыни. От них Иван Филиппов мог получить точные сведения о совершившихся событиях. Кроме того, не следует забывать, что у выговцев, как уже об этом сказано было выше, были свои осведомители среди чиновников Архангельской губернской канцелярии, которые по всей вероятности, сообщили Филиппову копию официального «дела» или сведения, извлеченные из него. Иначе трудно понять, каким образом могла быть включена в «Повесть» хорошо освещенная заметка о «промемории» Архангельской губернской канцелярии в Сенат и о последовавшем решении Сената, прократившем дальнейшее разорение скитов.

VI

Богатые рукописные материалы, собранные Малышевым, описанные им и отчасти уже изданные, имеют большое научное значение для изучения и понимания духа древнерусской литературы и ее эволюции в изменявшихся исторических условиях. Среди этих материалов, как было уже раньше упомянуто, находятся произведения ранние неизвестные, или неизвестные полностью, а также варианты ранее опубликованных сочинений. Весь этот материал ценен не только потому, что в нем сохранились произведения древнерусской письменности в ранее неизвестных списках, но также и потому, что он уясняет духовные запросы и развитие умственной жизни значительного слоя населения русского Севера — старообрядцев — в XVIII-XX веках.

На примере Усть-Цилемских сборников можно видеть, в каких формах древнерусская литература и старинное мировоззрение продолжали жить и развиваться в новых условиях жизни в новую эпоху. Круг чтения старообрядцев русского севера в новое время, поскольку он отразился в Усть-Цилемских материалах, состоял из нескольких пластов. Древнейший из них — Московская до-Никоновская старина, представленная некоторым количеством подлинных рукописей XVI-го — первой половины XVII веков. То, что эти произведения продолжали интересовать читателей, засвидетельствовано наличностью в сборниках позднейших списков произведений этого рода. Следующий историко-литературный пласт — собственно-старообрядческие произведения ранней эпохи старообрядчества. Мощ-

ным источником этого течения была творческая деятельность чистателей Выговской пустыни, в первую очередь Андрея Денисова, а затем Ивана Филиппова. Дальнейшая ступень — проявления, на основе Выговской школы, самостоятельного творчества усть-цилемских книжников, в первую очередь переписчиков рукописей.

Основным вопросом в истории старообрядчества, в особенности беспоповства, был вопрос о приятии или неприятии мира, об отношении ревнителей древнего благочестия к антихристову государству. Для непримиримых в конце XVII — начале XVIII веков радикальным решением этого вопроса было самосожжение. Более умеренные, как Андрей Денисов, были против такого решения. Большинство пошло за ними — жизнь брала свое. Но и для умеренных поморцев (выговцев) самосжигатели были выразителями идеала, взыскателями царства небесного. «И тако старейший Иоанн Акиндинов скончался огнем за древнее благочестие», говорится в «Повести» о самосожжении в Мезенском уезде (о которой сказано было выше). «Повесть» эта, как мы знаем, включена была в один из Усть-Цилемских сборников. Прямой проповеди самосожжения мы в этих сборниках не встречаем.

Другой острый вопрос, волновавший беспоповскую среду, был вопрос о браке. Первоначально беспоповцы отрицали не только церковное таинство брака, но не признавали и семью. Гражданская же (в юридическом смысле) форма брака была неизвестна в древней Руси. В этом отношении и Андрей Денисов стоял на непримиримой точке зрения: «Женатые, разженитесь, неженатые — не женитесь». Жизнь, однако, вынуждала большинство отказаться от безбрачия. Но при этом семья, поскольку она создавалась и существовала, не могла быть прочной. Вопрос требовал пересмотра и был решен заново беспоповцем Федосеевского толка, Иваном Алексеевым. В своем сочинении «О тайне брака» (1762) Алексеев развил мысль о том, что в церковном браке священник есть только свидетель супружеского союза от лица общины; «церковное действие» есть простой «общенародный обычай», цель которого установить гражданскую крепость и действительность брака. Древняя церковь признавала ведь законными браки, заключенные во всякой вере. Поэтому и беспоповская церковь может признавать браки, венчанные в Никонианской церкви. Беспоповец поморского (выговского) толка, настоятель Покровской Монинской часовни в Москве, Василий Емельянов, не согласился допустить церковное венчание, но признал необхо-

димость «чина» при заключении браков. Такой чин он сам написал и по нему стал венчать в Покровской часовне. Одно время такие браки были признаваемы и правительством.¹¹

В своем предисловии (стр. 32) Малышев отмечает интерес усть-цилемских книжников к проблеме семьи и супружеской верности. «Среди многих старообрядцев, особенно женщин, развернулась борьба за крепкую, скрепленную браком, семью, за укрепление семьи, семейных отношений. Начался поход против половой распущенности, достигшей на Печоре, благодаря отсутствию оформления брака, огромных размеров». Выражение этого движения Малышев видит в вошедших в Усть-Цилемские сборники повестях, в основе сюжета которых лежит семейный конфликт. Таковы «Повесть о царевне Персике», «Повесть о царице и львице» и «Повесть о двух снохах».

Следует, однако, отметить, что теоретических сочинений в защиту оформления семьи мы в Усть-Цилемских сборниках не встречаем. Ни трактат Ивана Алексеева, ни «чин» Василия Емельянова не включены ни в один из описанных Малышевым сборников. В то же самое время в некоторых полемических сочинениях против никониан, включенных в сборники, проповедуется безбрачие (Малышев, предисловие, стр. 32).

На основании этого можно сказать, что в описанных Малышевым сборниках не видно определенной постановки вопроса о необходимости оформления семьи каким бы то ни было «чином». Конечно, собранные Малышевым рукописные материалы только уцелевшая часть усть-цилемской письменности. В конце XIX века многое было куплено и вывезено из Усть-Цилемского края скупщиками старины. Малышев сам слышал от стариков Пустозерска и Усть-Цильмы — «рассказы о скупщиках рукописей, о том, что увозили они их отсюда целыми кулями и мешками» (предисловие, стр. 22). Возможно, поэтому, думать, что в недошедших до нас (во всяком случае, пока не обнаруженных) старообрядческих рукописях, бытовавших в Усть-Цилемском крае, затрагивались и темы, на которые не обращено было (или мало обращено) внимания в дошедших до нас сборниках, в том числе, может быть, и тема о форме заключения брака.

Немало других вопросов жизни и нравственности обсуждается в дидактических сочинениях, вошедших в Малышевские сборники. Это — поучения о том, как надо жить христианину вообще, в частности, поучения против сребролюбия, алчности, пьянства и т. д. Все это традиционные темы старой московской письменности, но некоторые из этих поучений, по мнению Ма-

лышева, переработаны и написаны в Усть-Цильме. Как указывает Малышев, вопросы эти стали особенно волновать устьцилемцев ввиду того, что в XIX веке в старый уклад их жизни все больше начали проникать влияния развивавшегося капиталистического строя (предисловие, стр. 32).

Для истории местной устьцилемской литературы особенно интересны попытки создания новых повестей (как «Повесть о быке») и обработка некоторых ранее созданных повестей, как, например, «Повесть о царевне Персице», напечатанная Малышевым в 1961 году.¹²

«Повесть» находится в устьцилемском сборнике номер 67 (первой четверти XIX века). Другой список этой повести видел Н. Е. Ончуков, также в Усть-Цильме, в 1905 году (этот список пока не обнаружен). По словам Ончукова, в приписке к виденному им экземпляру сказано, что «Повесть» переведена с латинского в 1720 году. О происхождении «Повести» высказывались различные мнения. А. И. Яцимирский (в 1911 году) отметил близость «Повести» к аналогичной легенде из сборника чудес пресвятой Богородицы, составленного в XVII в. Агапием Критянином и переведенного с греческого на русский язык в Москве в самом конце XVII или начале XVIII-го века. По мнению В. Д. Кузьминой, «Повесть» — русская «творческая переделка» этой легенды, сделанная в начале XVIII века.¹³ Вопрос не может считаться решенным. Близкие обработки сюжета о чудесах Богоматери встречаются и в западных средневековых легендах и их сборниках, как «Звезда пресветлая» (из которой, как сказано было выше, есть заимствования в Усть-Цилемских сборниках). На какую-то связь сюжета «Повести» с Балканской письменностью указывает то обстоятельство, что отец Персики — царь Болгарии.

Основа «Повести» как душеспасительного чтения — рассказ о чуде пресвятой Богородицы — исцелении отсеченных рук невинно-гонимой царевны. Но читателей должен был привлекать и занимательный сказочный фон «Повести», любовные переживания героя и героини, драматические моменты преследований царевны Персики ее мачехой.

В полном своем виде «Повесть о царевне Персице» переведена на русский язык (если считать, что она — переводное произведение) тяжеловесным и витиеватым языком. Сюжет загроможден сложными деталями.¹⁴ Переработавший «Повесть» устьцилемский писатель — повидимому И. С. Мяндин (сборник написан его почерком) — сохранил основную фабулу, несколько упростил ее, выкинув или сократив некоторые

эпизоды. Язык «Повести» существенно изменен. Выкинуто большое количество греческих и церковно-славянских словообразований. Изложение стало проще и стройней, стиль яснее и ближе к народно-разговорной речи (см. два примера сопоставления отрывков из полной «Повести» и усть-цилемской ее обработки в статье Малышева, стр. 329).

Переработка на Усть-Цильме «Повести о царевне Персице» — один из примеров перерождения старинных литературных форм в новые, более близкие и доступные читателям. Характерно при этом, что строились эти новые формы на основе древней фабулы и традиционной тематики. Так шел органический рост литературы на Усть-Цильме. Это было лишь одним из выражений общего процесса развития умственной и духовной жизни старообрядческого населения русского Севера в XIX и начале XX-го века — постепенного видоизменения мысли и литературы под влиянием новых условий и форм культуры и жизни.

Г. В. Вернадский

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. И ОрийАрбатский, *Humanitas Heroica*, «Новый Журнал» 64 (1961), стр. 287-291.
2. См. Г. В. Вернадский, «Повесть о Сухане», «Новый Журнал» 59 (1960), стр. 196-202. Издавая «Повесть о Сухане», В. И. Малышев, на основании прежних указаний в литературе, допускал возможность существования еще одного самостоятельного списка «Повести», кроме открытого им. Теперь Малышев установил, что такого списка не существует; см. Малышев, «Некоторые замечания к „Повести о Сухане“», *Русская Литература*, 1961, № 3, стр. 195-196.
3. Г. П. Федотов, «Стихи духовные» (Париж, 1935), стр. 7-9.
4. И ОрийСамарин, Сочинения, т. 5 (Москва, 1880), стр. 456.
5. П. Н. Милюков, «Очерки по истории русской культуры» (юбилейное издание), т. 2, ч. 1, стр. 74.
6. Милюков, там же.
7. Об идеологии братьев Денисовых см. статью С. А. Зеньковского, *The Ideological World of the Denisov Brothers*, *Harvard Slavic Studies*, 3 (1957), стр. 49-66.
8. Милюков, «Очерки», стр. 82.

9. В. И. Малышев, Усть-Цилемские рукописные сборники XVI-XX вв. (Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии Наук СССР) (Сыктывкар, 1960). Из появившихся откликов на труд Малышева отметим рецензии А. А. Зимины в «Известиях Академии Наук, Отделение литературы и языка», т. 21, выпт. 1 (1962), стр. 68-70, и В. Н. Автократова в «Вопросах архивоведения», 1962, № 1, стр. 120-124.
10. О «Житии» Епифания см. недавно вышедшую статью С. А. Зеньковского “The Confession of Epiphany”, Studies in Russian and Polish Literature in Honor of Waclaw Lednicki (Гаага, 1962) стр. 46-71. Зеньковский пользуется в этой своей работе и «Житием» Корнилия по одному из Усть-Цилемских списков, фотостат которого был прислан ему Малышевым.
11. Милюков, «Очерки», т. 2, ч. 1, стр. 86-90
12. В. И. Малышев, Усть-Цилемская обработка «Повести о царевне Персике», Исследования и материалы по древнерусской литературе (Академия Наук, Институт мировой литературы) (Москва, 1961), стр. 326-337).
13. В. Д. Кузьмина, Источники «Повести о царевне Персике», Труды отдела древнерусской литературы, 14 (1958), стр. 449-452.
14. Текст напечатан у В. В. Сиповского, Русские повести XVII-XVIII вв. (С. Петербург, 1905), стр. 254-267.

РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ И ЕВРЕИ

Вл. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, В. Розанов

Павел Абрамович Берлин скончался 12 апреля 1962 года в Париже после тяжелой и долгой болезни. Известный публицист, до революции сотрудник «Научного Обозрения», «Жизни», «Мира Божьего», П. А. был также автором ряда книг — «Германия накануне 1848 г.», «Очерк развития экономических идей в 19 веке», «Карл Маркс и его время», «Русская буржуазия в старое и новое время» и др. В эмиграции П. А. сотрудничал в «Днях», в «Новой России», в «Соц. Вестнике», в «Новом Журнале». Печатаемая ниже статья П. А. передана нам Д. Н. Шубом, которому П. А. прислал эту рукопись для опубликования ее в еврейской печати, где она и была напечатана. По-русски эта статья П. А. печатается впервые. РЕД.

В. С. СОЛОВЬЕВ

Рассуждения Вл. Соловьева по еврейскому вопросу уводят нас на большие высоты. Часто вульгаризировали эти воззрения, выставляя Соловьева каким-то приторным юдофилом. На самом деле это не так. Соловьев наговорил очень много жестких слов по адресу современного еврейства и несимпатичных ему тех или иных его особенностей. Но он никогда не смешивал этот эмоциональный подход с принципиальным. Еврейский вопрос он ставил во всей глубине исторической роли, этической и религиозной сущности иудаизма, в отношении его к христианству, к его исторической миссии. Если у Достоевского была непроходимая пропасть между его публицистическими рассуждениями по еврейскому вопросу и его христианскими взглядами, то у Соловьева это было слито в одно неделимое целое. К еврейскому вопросу Соловьев подходил, как глубоко верующий христианин, этим всецело была определена его позиция. Христианство, как его понимал В. Соловьев, диктовало ему совершенно определенное, неот-

клонимое отношение к еврейскому вопросу. Те или иные черты евреев ему могли очень не нравиться и вызывать с его стороны суровые осуждения, но он никогда не считал их имманентными качествами евреев, объясняя их историческими условиями времени и места, и никогда не лишал евреев права, подобно всем народам, иметь у себя своих негодяев, паразитов и спекулянтов.

Все это ни на один градус не отклоняло его христианского подхода к еврейскому вопросу, исключавшего самую возможность какого бы то ни было антисемитизма. Для него еврейский вопрос был в то же время русским вопросом, вопросом русской совести и справедливости, и вопросом христианского понимания и отношения.

Перспектива тысячелетий раскрывала ему иудаизм, как религию откровения, как провозглашение для всего мира нового слова, без которого не могло бы возникнуть и христианство.

К современному еврейскому вопросу Соловьев подходил, не забывая о его религиозных корнях, и помня о метрических свидетельствах христианства. Ему при этом был совершенно чужд и антисемитизм, и сентиментальное юдофильство. Он брал вопрос гораздо глубже.

Он сам писал об этом:

«Меня одни величают юдофилом, другие упрекают в следом пристрастии к еврейству. Благо, что не подозревают меня в подкупности еврейским золотом. Но в чем, хотел бы я знать, сказывается мое юдофильство? или мое пристрастие к евреям? Разве я не признаю слабые стороны иудеев, или разве я их оправдываю? Обнаружил ли я когда-либо малейшую склонность идеализировать еврейство? В действительности я настолько же далек от юдофобства, как и от юдофильства. Но не могу в угоду дурному вкусу и плохой нравственности закрывать глаза, чтобы не видеть очевидных фактов, не хочу и не могу кривить душою и делать по примеру антисемитов одних евреев ответственными за все грехи и несчастья, постигшие нас. Я не скрываю, что живо интересуюсь судьбою еврейского народа, но это потому, что она сама по себе в высшей степени интересна и поучительна во многих отношениях».

«Но иногда я заступаюсь за евреев? Да, только к сожалению не так часто, как я бы хотел и должен был делать в качестве славянина и христианина. Как христианин я сознаю,

что обязан был иудейству величайшею благодарностью, ибо мой Спаситель был иудеем по плоти и иудеями же были пророки и апостолы, и краеугольный камень вселенской церкви взят был в доме израилевом, а, как славянин, я чувствую великую вину против евреев и хотел бы искупить ее чем только могу. Еврейский вопрос в сущности вопрос правды и справедливости. В лице евреев попирается справедливость, потому что преследования, которым подвергаются евреи, не имеют ни малейшего оправдания, ибо обвинения, возводимые антисемитами на них, не выдерживают самой снисходительной критики — они большею частью злоумышленная ложь».

«Кровожадная толпа, собравшаяся у Голгофы, состояла из иудеев, но иудеи же были те три тысячи, а потом и пять тысяч человек, которые по проповеди апостола Петра крестились и составили первую христианскую церковь. Иудеи были Анна и Каиафа, иудеи же Иосиф и Никодим» («Статьи по еврейскому вопросу». Берлин, 1925, стр. 48).

«К одному и тому же еврейскому народу, — говорит Соловьев в другом месте, — принадлежали и Иуда, продавший Христа на распятие и Петр и Андрей сами распятые за Христа. Иудей был Фома, неверующий в воскресение Христа и он не переставал быть евреем, когда уверовал в Христа и сказал ему: Господь мой, Бог мой! Иудеем был Савл, гонитель Христа, иудеем из иудеев оставался Павел, гонимый за его христианство и «паче всех потрудившийся для него». И что самое важное, говорит Соловьев, что нельзя ведь забывать, что и «он сам, преданный и убитый иудеями Богочеловек Христос по плоти и душе человеческой был чистейшим иудеем!»

В этих прекрасных словах В. Соловьев определил свою общую точку зрения на еврейский вопрос и трудно найти во всей русской литературе более благородных и достойных христианина слов, чем эти слова загадочного русского рыцаря-философа, умевшего сочетать религиозный мистицизм с земною справедливостью. Поясняя в другом месте свою точку зрения на еврейский вопрос, Соловьев писал: «Мне приходилось несколько раз указывать (сначала с кафедры, а потом в духовной и светской печати) на ту несомненную истину, что еврейский вопрос есть прежде всего вопрос христианский, именно вопрос о том, насколько христианское общество во всех своих отношениях к евреям способно руководствоваться

на деле началами евангельского учения, исповедуемого ими на словах...» («Статьи по евр. вопросу», стр. 133).

На упреки по адресу евреев в том, что они погрязли в денежных делах и расчетах, что они поклоняются золотому тельцу, Соловьев устами евреев дает такой ответ: «Если бы то христианское общество, среди которого мы живем, не ставило денег выше всего, то нам не было бы причины заниматься денежными делами. Денежное жидовство — мог бы сказать еврей христианину, — есть продукт вашей цивилизации: когда мы были самостоятельны, мы славились религией, а не деньгами, храмом, а не биржею. То, что есть хорошего в нашей натуре, идет от праотца нашего Авраама; то что есть хорошего в нашем быту идет от нашего законодателя Моисея, а то, что есть дурного и в нашей натуре и в нашем быту есть плод нашего приспособления к тому обществу, в котором мы жили и живем, сначала к обществу язычников, а потом и в особенности к обществу христиан» (стр. 33).

Тонкий и глубокий богослов, блестящий публицист Соловьев постоянно и неустанно следит за всею литературою по еврейскому вопросу, откликается на все новые явления, связанные с обсуждением еврейского вопроса и не довольствуясь этим, углубляется в изучение еврейских религиозных книг в переводах, а затем, не довольствуясь и этим, принимается за изучение древне-еврейского языка, чтобы читать еврейские книги в подлиннике. В восьмидесятых годах, будучи уже в пожилом возрасте, он сближается с знатоком древне-еврейского языка и еврейской религии — Ф. Гетцом и усердно принимается за изучение еврейской религиозной литературы.

«Бывало, рассказывает Ф. Гетц,* придет В. Соловьев ко мне часов в десять вечера, чтобы читать со мною Ветхий Завет в подлиннике и остается до двух часов ночи и позже. При этом Соловьев не довольствовался одним этимологическим и грамматическим разбором текста, а, главным образом, интересовался объяснениями и толкованиями талмудических и раввинских комментариев, чтобы получить более полное понимание святого писания. Чем больше он изучал святое писание и чем больше углублялся в Ветхий Завет, тем ему яснее становилось, что для полноты понимания Библии необходимо ближе познакомиться с идеальным миром талмудиче-

* «Об отношении В. Соловьева к еврейскому вопросу». Журнал «Вопросы философии и психологии». Кн. I. 1901.

ских мудрецов, из среды которых вышли первые и главные основатели христианства. И В. Соловьев взялся за изучение талмуда. Он прошел у меня трактаты «Абот», «Абода-зара», «Иома», «Сукку» и неутомимо много читал о талмудических письменах, преимущественно по немецким источникам».

В 1887 году Соловьев с удовлетворением сообщает Гетцу, что прочел в подлиннике всех еврейских пророков. «Теперь, слава Богу, пишет он, могу отчасти исполнять долг религиозной учтивости, присоединяя к своим ежедневным молитвам и еврейские фразы».

В. Соловьев прежде всего отмечает своеобразное сочетание в еврействе космополитического и национального элементов. Этим сочетанием двух противоположных начал объясняется, что евреев одновременно обвиняют и в узком национализме и в широком космополитизме. Но это, по мнению Соловьева, вырастает из того, что еврейская этико-религиозная концепция была концепцией исключительно национально-еврейского творчества, но в тоже время она провозгласила универсальное начало.

«Можно ли упрекать евреев в космополитизме, когда этот единственный в мире народ сумел сохранить свою национальную особенность, свое национальное лицо, пройдя через долгие века гонений и преследований? И можно ли, с другой стороны, говорить о полной национальной обособленности евреев, об их отгораживании от всего мира, если народ этот умел так быстро приспособиться к новой среде, в которую перебрасывала его мачеха-история, если даже он утрачивал свой национальный язык и говорил по возвращении из Вавилона по-халдейски, в Александрии заговорил по-гречески, в Багдаде перешел на арабский язык?» (стр. 123).

Не национализм, в котором яростно обвиняют евреев, и не космополитизм, за который их не менее резко осуждают, сами по себе, по мнению Соловьева, не составляют их исключительную национальную черту; а своеобразное сочетание этих двух качеств объясняют их историческое долголетие. С той же точки зрения подходит Соловьев и к вопросу о материализме евреев. В своем житейском воплощении этот материализм принимает зачастую у евреев черствый и отталкивающий характер, вызывающий справедливые осуждения и отчуждения. Но этот житейский материализм присущ не одним евреям и, как мы указывали, истолковывается, не как врожденная черта, а как черта, приобретенная ими уже в христианскую эпоху и в христианской среде. Что же касается того

материализма, который вошел составною частью в этико-религиозное мировоззрение иудаизма, то он представляет собою не отрицание, не противопоставление идеализму и духовности, а родство и неделимость, которые замечаются в национализме и космополитизме евреев.

Твердо веря в единого и всемогущего Бога, говорит Соловьев, еврей при этом не теряет своего я, не растворяется в божественном экстазе. Иудаизм видел в Боге «не бесконечную пустоту всеобщего субстрата, а бесконечную полноту существования, имеющего жизнь в себе и дающего жизнь другому».

Религия евреев не требует растворения человека в универсальном божестве, а взаимодействия и взаимопонимания между Богом и человеком. И, по мнению Соловьева, благодаря именно этому Бог и провозгласил евреев избранным народом.

«Бог избрал, говорит Соловьев, их (евреев), открылся им, заключил с ними союз. Союзный договор или завет Бога с Израилем составляет сосредоточие еврейской религии. Явление единственное во всемирной истории, ибо ни у какого другого народа религия не принимала этой формы союза или завета между Богом и человеком, как между двумя существами, хотя и неравносильными, но нравственно однородными».

«Это высокое представление о человеке нисколько не нарушает величия Божьего, а наоборот дает ему обнаружиться во всей силе. В самостоятельном нравственном существе человека Бог находит себе достойный предмет действия, иначе Ему не на что было бы воздействовать. Если бы человек не был бы свободен лично, как возможно было бы Богу проявить в мире свое личное существо?» (Собр. соч. т. IV, стр. 129).

«Несмотря на земной материализм своей природы, несмотря на прокаженный характер своего ума, народ еврейский все-таки остается избранным народом Бога, народом богочеловеческого воплощения. Ибо в глубине души своей, лучшею частью своего существа этот народ сильнее и полнее всех других хочет того самого, что составляет и окончательную цель дела Божия на земле — именно совершенной материализации, полнейшего воплощения божественной идеи, ее ощутительного оправдания на деле, чтобы вода из источника пролилась на сушу, проникла в нее до конца и стала бы в ней живою кровью» (там же, стр. 191).

Считая эту черту характерною особенностью еврейской религиозной сущности в отличие от всех других религий, Соловьев и практический характер евреев и те их отрицательные качества, на которые он не закрывает глаза, ставит в связь и зависимость с этою основною особенностью их религии, видит в них религию, отраженную в кривом зеркале.

«Евреи, верные своей религии, говорит он, вполне признавая духовность божества и божественность человеческого духа, не умели и не хотели отделять это высшее начало от материального выражения, от их телесной формы и оболочки, от их конечного осуществления. Для всякой идеи и всякого идеала еврей требует видимого и осязательного осуществления и явно полезных и благотворных результатов, еврей не хочет признавать такого идеала, который не в силах покорить себе действительность и в ней воплотиться, еврей способен и готов признать самую высшую духовную истину, но только с тем, чтобы видеть и ощущать ее реальное действие. Он верит в невидимое (ибо всякая вера есть вера в невидимое), но он хочет, чтобы это невидимое стало видимым и проявляло бы свою силу, он верит в дух, но только такой, который проникает во всё материальное, который пользуется материей, как своею оболочкою и своим орудием» (там же, стр. 398).

«Между тем как практический материалист подчиняется вещественному факту как закону, между тем как дуалист отворачивается от материи, как от зла, религиозный материализм евреев заставлял их обращать величайшее внимание на материальную природу, но не для того, чтобы служить ей, а чтобы в ней и через нее служить высшему Богу. Они должны были отделять в ней чистое от нечистого, святое от порочного, чтобы сделать ее достойным храмом высшего существа. Идея святой телесности и заботы об осуществлении этой идеи занимают в жизни израиля несравненно более важное место, нежели у какого-либо другого народа. Сюда принадлежит значительная часть законодательства Моисеева о различии чистого и нечистого, о правилах очищения. Можно сказать, что вся религиозная история евреев была направлена к тому, чтобы приготовить Богу Израилеву не только святые души, но и святые тела» (там же, стр. 399).

«Израиль мог вступить в личное отношение к Ягве, стать с ним лицом к лицу, заключить с ним договор, служить ему не как пассивное орудие, а как деятельный союзник: наконец, в силу той же деятельной веры, стремясь к конечной реализа-

ции своего духовного начала, через очищение материальной природы, Израиль подготовил среди себя чистую и святую обитель для воплощения Бога-Слова. Вот почему еврейство есть избранный народ Божий, вот почему Христос родился в Иудее».

Горячо и глубоко верующий еврей не чувствует себя «рабом» Божьим, как охотно называет себя христианин, он как бы заступник перед Богом за все земные и человеческие дела. Он как бы добивается у Бога, чтобы человек был счастлив на земле. Еврей, по толкованию Соловьева, чужд дуализма между земным и небесным.

При всей проницательности этих рассуждений Соловьев, однако, односторонне заостряет вопрос на материализации духовного начала у евреев; правильно противопоставляя их по отношению к христианам, он игнорирует, что наряду с этим в еврействе была, в разные эпохи его истории, очень сильна аскетическая стихия. Это сочетается с сильно выраженным началом заботы о семье и о широко понятой «святой плоти», — что так поражает Соловьева.

«Если талмудический мир, говорит Соловьев, поясняя свою центральную мысль о евреях, переходит меру в своих стараниях свести все подробности общественной и частной жизни к религиозному закону, то наш псевдо-христианский мир не только на практике произвел, но и в принципе возвел совершенное разделение между религиозной истиной и действительной жизнью, между религией и политикой, между идеальными нормами, которые превращаются у нас в пустые слова, и реальными отношениями, которые мы стараемся всячески закрепить в их явной ненормальности. Против этого безбожного принципа, против этого безнравственного разделения, талмуд и иудейство восстают всем своим существом и в этом их оправдание. Для талмудистов, которые в этом отношении стоят всецело на почве моисеевой торы, религия есть закон жизни человека» («Стат. по евр. воп.», стр. 19).

В еврейском национальном характере Соловьев различал три основных качества: живую и непоколебимую веру в Бога, сильнейшее чувство своей индивидуальной и национальной личности, неутолимое стремление до крайних пределов реализовать и материализовать свою веру и свой идеал, поскорее облечь их в плоть и кровь.

В. Соловьев вновь и вновь подчеркивает, что иудейство, в отличие от христианства, сумело сочетать идею о святых

душах с идеей о святых телах, создать идею «святой телесности», как он выражается.

Говоря о великой и величавой роли, сыгранной еврейством в истории, о христианстве, которое было выношено в лоне еврейства, Соловьев вместе с тем подчеркивает, и это одна из его основных идей, что еврейский народ заблудился на своем историческом пути, не понял своего исторического призвания и не узнав отвернулся от того настоящего Мессии, который ниспослан был ему в лице Христа. Еврейский народ, по мнению Соловьева, явил картину национального заблуждения и ослепления. Он остановился перед самым важным шагом своей истории, не понял гласа Божьего и этим открыл путь своей трагедии. Христианство пришло завершить все великое дело иудейства, несло его великое венчание, но еврейский народ отвернулся от всего им же рожденного и подготовленного.

«Окончательная цель, говорит Соловьев, и для христианства и для иудейства одна и та же — вселенская теократия, осуществление божественного закона в мире человеческом. Но в христианстве вместе с тем нам открылся и путь к этой цели; этот путь есть крест. Вот этого крестного пути не сумело понять тогдашнее иудейство».

Крест требовал от евреев отречения от своего национального эгоизма, признания Голгофы и христианской вселенской идеи и времененного отказа от земного благополучия.

«Если для иудеев, говорит Соловьев, идея Креста, налагаемого на человека, уже явилась большим соблазном, то крест, поднятый самим Богом, стал для них соблазном соблазнов. Доказать им, что они ошибаются можно только фактически осуществляя на деле христианскую идею. Вот почему еврейский вопрос есть вопрос христианский».

В. Соловьев мечтал о том, что «лучшая часть еврейства» поймет, что христианство есть наивысшее завершение иудейства и сольется с ним, внося в него свой большой рай «святой телесности», земного идеализма, стремление создать царство Божье не только внутри, но и вне нас.

«Как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения Божества, так и грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, идеже правда живет.»

Но если ставился вопрос в религиозной плоскости, В. Соловьев не переставал повторять, что еврейский вопрос есть воп-

рос христианский, что христианство предопределяет всё отношение к этому вопросу, и перенося этот вопрос на почву действительности, беря его в житейском разрезе, Соловьев далее доказывает, что преследования направленные против евреев, никогда не могут быть локализированы только против них одних. Направляемые против евреев преследования и несправедливости создают зараженную атмосферу, отравляющую весь воздух, которым дышит и народ, практикующий эти преследования против евреев.

В составленном Соловьевым протесте русских писателей против антисемитизма говорится (1890 г.):

«Сознание и применение этих элементарных истин (против антисемитизма) важно и необходимо для нас самих. Усиленное возбуждение племенной и религиозной вражды, столь противной духу христианства, подавляет чувство справедливости и человеколюбия, в корне разворачивает общество и может привести к нравственному одичанию, особенно при ныне заметном упадке гуманных идей и при слабости юридического начала в нашей жизни. Вот почему уже из одного чувства национального самосохранения следует решительно осудить антисемитское движение, не только как безнравственное по существу, но и как крайне опасное для будущности России».

В. Соловьев мечтал о духовном союзе между Россией и еврейством, считая, что на этом встретится русская и еврейская история.

«Помню, рассказывает Н. Минский, как я еще юношей присутствовал в актовом зале университета на одной из лекций Соловьева об еврействе. Перед изумленной тысячной толпой стоял бледный аскет покоряющей красоты. Голосом глубоким, с частыми напряженными паузами, он не говорил, а как власть имеющий вещал об обязанности русского народа-богоносца духовно сличиться с народом еврейским,ечно богорождающим. Признаться в то время слова Соловьева, глубоко волнуя, казались мне парадоксом. И только долго спустя я понял их сокровенное значение.»

Надо ли говорить, что то вдохновенные, то спокойно логические слова Соловьева по еврейству вопросу с прославлением иудаизма и защитой евреев от преследований и наветов, навлекали на замечательнейшего из русских философов травлю, к которой он относился с насмешливым равнодушием.

«Против меня, пишет он с благодушным юмором, начался здесь настоящий штурм. Сегодня я сделался иезуитом, а зав-

тра, быть может, приму обрезание, нынче я служу папе и епископу Штроссмайеру, а завтра наверное буду служить Альянс Израелит и Ротшильдам.»

Относясь равнодушно и презрительно к ведшейся вокруг него травле, Соловьев советовал и самим евреям относиться с глубоким равнодушием к антисемитской травле.

«Неужели, пишет он, невозможно хотя бы на мгновение вообразить, что после всей этой славы и чудес, после всей этой удивительной сороковековой жизни Израиля ему следует бояться каких-то антисемитов?»

Увы, рыцарь и философ христианства не мог себе представить, что в самом центре христианской Европы «какие-то антисемиты», к которым он советовал относиться с полным и презрительным равнодушием, предадут мученической смерти пять миллионов евреев. Евреи таким образом имели полное основание бояться «каких-то антисемитов.»

Известный русский философ, кн. С. Н. Трубецкой рассказал в журнале «Вестник Европы» о последних минутах Соловьева («Вест. Евр.», сент. 1900).

«После причастия Соловьев мало говорил, молчали и окружавшие его. Затем он продолжал молиться то вслух читая псалмы и церковные молитвы, то тихо осеняя себя крестом. Молился он в сознании и в полу забытьи. Раз он сказал моей жене: «Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться», и стал громко читать псалом по-еврейски.»

Это необычайный факт во всей многовековой истории еврейства, когда знаменитый христианский философ, человек глубоко верующий, в великую минуту пришедшей смерти перед ее лицом горячо молился бы за еврейский народ и читал по-еврейски еврейские псалмы. Эта молитва за евреев перед переходом в другой потусторонний мир, в который Соловьев так непоколебимо верил, показала, как глубоко религиозно переживал Соловьев еврейский вопрос, связывая его нераздельно с христианством. Религиозное и мистическое сознание продиктовали Соловьеву всю его позицию в еврейском вопросе, исключив всякую иную.

В благодарной и неизбалованной памяти еврейского народа замечательнейший из русских философов воздвиг себе памятник нерукотворный и к нему не зарастет еврейская тропа. В. Соловьев и в религиозном и в философском плане (на него сильное влияние оказал Спиноза) был чрезвычайно чуток к ос-

новным мотивам иудаизма, оставаясь при этом глубоко верующим христианином с тяготением к католицизму.

Но это не значит, что его идеи были приемлемы для иудаизма. В. Соловьев всегда оставался глубоко убежденным, что иудейство, выносяв в своем лоне христианство, само не поняло своего вселенского призыва раствориться в христианстве, принять Христа.

«Народ, предназначенный дать миру христианство, говорит Соловьев в «Русской идее», выполнил эту миссию лишь против воли своей, что в громадном большинстве своем и на протяжении восемнадцати веков отмечает упорно божественную идею, которую он носил в лоне своем и которая была истинным смыслом его существования.»

«Не субъективный предрассудок христиан, а памятник национальной мысли самих евреев ясно доказывает, что вне христианства историческое дело Израиля потерпело крушение и что следовательно народ может при случае не понять свое призвание.»

В этих словах В. Соловьев высказал одну из своих центральных идей по еврейскому вопросу, но вряд ли с еврейской точки зрения (а Соловьев адресует эти слова евреям) она покажется убедительной и соблазнительной, ибо требует от евреев национального и религиозного самоубийства.

Само собою разумеется, что если бы все еврейство обратилось в христианство, то неизбежно евреи бы слились с христианским обществом и вышли бы из-под того густого града преследований, который идет долгие века. Но тогда бы закончилась великая, «славная», «тайнастенная», как выражается Соловьев, история евреев, ибо став христианами, евреи исчезли бы не только как религия, но и как нация. Соловьев ведь об этом говорит не как о внешнем, вынужденном принятии христианства, а как о его внутреннем, религиозном приятии, как утверждании, что христианство пришло завершить дело начатое иудаизмом, что оно и есть то явление Мессии, которое так долго и так страстно призывал еврейский народ. Но сам Соловьев чрезвычайно ярко и проницательно охарактеризовал глубокое различие, существующее между всем мироозерцанием, всем мироощущением христианства и иудейства и в религиозных истоках и в их реальном выявлении. Христос пришел, конечно, не исполнить, а нарушить Ветхий Завет еврейской религии и все еврейское миропонимание, мироощущение, все еврейское представление и о Боге, и о реальной жизни. Эту сторону

иудейства в его отношении к христианству с необычайною глубиною понял и ярко изобразил другой русский талантливый писатель В. Розанов. Он указывал на неустранимое противоречие между Ветхим и Новым заветами, между Христом и Моисеем и подходил к этому вопросу совершенно иначе, чем Соловьев. Еврейский народ не принял христианства, доказывает Розанов в противоположность Соловьеву, не по недомыслию, не по ошибке, не по непониманию, а наоборот потому, что он понял, почувствовал всю непримиримость между христианством и иудаизмом.

В «Апокалипсисе нашего времени» (Сергиев Посад 1918 г.), написанном в совершенно особом неповторимом стиле, которым владел только Розанов, мы находим коротенькую статью «Туфля», в которой Розанов в полунасмешливой форме говорит о том, как евреям приписывают непонимание, заблуждение, как причины их отказа принять христианство.

«Неужели же, пишет Розанов, неужели же все европейцы, и первые ученые из них, и так вообще «толпа» воображают об евреях и об их отношении к Христу, что это одно лишь упорство народа, народа, сделавшего ошибку, но затем ни за что не желающего исправиться, сознать свою ошибку? Хотя теперь то уже очевидно все превосходство христиан перед законом моисеевым, таким узким, таким обрядовым?»

Эти слова Розанова дают ответ Соловьеву на его утверждение, что евреи лишь по какой-то роковой ошибке не признали христианства и не признали Христа Мессией.

Н. А. БЕРДЯЕВ

По своей исходной точке зрения Н. А. Бердяев в еврейском вопросе очень близко подходит к В. Соловьеву, привнося однако и свои особые историко-религиозные соображения. Для Н. Бердяева, как и для Соловьева, еврейский вопрос является вопросом христианским в глубоком смысле этого слова. Он всецело определяется христианским учением и из него неотвратимо вытекает его решение. Оставаясь верным христианству, на еврейский вопрос можно дать только один ответ не с гуманитарной, а с религиозной точки зрения. Примыкает Бердяев и к взгляду Соловьева, учащему, что еврейство, выносив в своем лоне христианство, как свое высшее задание и достижение, не поняло своей исторической миссии, отреклось от креста и Голгофы и в Христе не узнало и не признало своего Мессию.

Но сходясь с Соловьевым в исходной принципиальной позиции по отношению к еврейскому вопросу и в частности по отношению к антисемитизму, Н. А. Бердяев при этом внес в постановку и освещение этого вопроса много оригинальных, глубоких мыслей. По всему своему общефилософскому и религиозному миросозерцанию Бердяев подходит к этому вопросу не с позитивистической, не с гуманitarной и не с политической точки зрения, а с точки зрения религии и философии истории.

«Еврейский вопрос, говорит Бердяев в «Христианстве и антисемитизме», не есть просто вопрос политический, экономический, правовой или культурный. Это вопрос неизмеримо более глубокий, религиозный вопрос, затрагивающий судьбы человечества. Это ось, вокруг которой вращается религиозная история. Таинственна историческая судьба евреев. Непостижимо самое сохранение этого народа и необъяснимоrationально» (стр. 4).

Подобно Соловьеву Н. Бердяев чужд всякого сентиментального филосемитизма. Он николько не закрывает глаза на большие недостатки в национальном характере евреев и их нынешнем эмпирическом обличии, но это ни в какой степени не меняет его принципиального отношения в еврейскому вопросу. Для него, как христианина и как философа истории, антисемитизм представляет нечто недопустимое.

«Не имеет никакого принципиального значения, говорит он, вопрос о недостатках евреев. Нет нужды отрицать эти недостатки, их много. Еврейский народ полярно противоположных свойств, в нем соединены черты высокие с чертами низкими, жажды социальной справедливости со склонностью к наживе и капиталистическому накоплению. О еврейском народе, народе религиозного призыва, нужно судить по пророкам и апостолам, а не по еврейским ростовщикам» (там же, стр. 6).

Поистине поразительно легкомыслие христиан, говорит он далее, которые считают возможным быть антисемитами. Христианство по своим человеческим истокам есть религия еврейского типа, т. е. типа мессианского, пророческого. Еврейский народ внес мессианский, прореческий дух в мировое религиозное сознание, этот дух был совершенно чужд греко-римской духовной культуре, как и культуре индусской. Арийский же дух не мессианский и не прореческий, ему чуждо еврейское напряженное чувство истории, чуждо ожидание явления мессии в истории, прорыва метистории в историю.

Для Н. Бердяева, как и для Соловьева, еврейский народ не является народом, подобным другим народам, отличающимся от них только своими национальными особенностями. У этого народа не только своя национальная, но и вселенская миссия. Этот народ, по взглядам и Соловьева и Бердяева, отмечен печатью Божьей избранности, таинственной миссией, возложенной на него историей и отягощенный тяжелою миссией, ношеною невыполненного им исторического призыва.

«Евреи, говорит Н. Бердяев, не могут быть просто названы национальностью. Целый ряд признаков нации у евреев отсутствует и есть признаки, которых у других наций нет. Евреи народ особой исключительной религиозной судьбы, избранный народ Божий и этим определяется трагизм их исторической судьбы. Избранный народ Божий, из которого вышел мессия и который отверг Мессию, не может иметь исторической судьбы, похожей на историческую судьбу других народов. Этот народ скреплен и навеки объединен не теми свойствами, которые обыкновенно скрепляют и объединяют народы, а исключительностью своей религиозной судьбы. Христиане приуждены признать богоизбранность еврейского народа, этого требует христианское вероучение, они это делают неохотно и часто забывают об этом. Необычайно парадоксальна еврейская судьба: страстное исkanие земного царства и отсутствие своего государства, которое имеют самые незначительные народы, мессианское сознание в избранности народа и гонение со стороны других народов, отвержение креста, как соблазна и распятие этого народа на протяжении всей его истории. Может быть более всего поразительно, что отвергнувший крест его несет: те же, которые приняли крест, так часто распинали других» (там же, стр. 8).

Н. Бердяев мог бы прибавить к этим прекрасным словам, что евреи, распявшіе Христа, вышедшего из их среды и проповедовавшего по их мнению учение, которое они сочли за нарушение всех их божеских и житейских заветов, проклинаются и преследуются за это христианством целые века, тем христианством, которое провозгласило великие начала прощения и милосердия.

В книге «Смысл истории» Н. Бердяев высказывает ряд интересных и оригинальных мыслей о роли евреев, как зачинателей понимания исторического процесса. Историческая идея, идея истории, как развертывающегося процесса, движущего человечество к иному будущему, принесена евреями. Для древ-

них греков история представлялась, как круговорот, не имеющий цели, не продвигающийся вперед к какому-то завершению. Сознание еврейства в отличие от сознания элинского всегда было повернуто навстречу грядущему, осмысляющему и завершающему весь исторический процесс. Еврейский народ преисполнен был напряженного и нетерпеливого ожидания великого события, к которому, как к своему завершению, ведет и приведет история.

«Этот характер построения исторического процесса, говорит Н. Бердяев, конструировался впервые в еврейском сознании, здесь впервые появляется сознание ‘исторического’ и поэтому философия истории не в истории греческой философии, а в истории еврейства» («Смысл истории», стр. 38).

Н. Бердяев подробно развивает эту идею, повторяя, что в этом отношении еврейский народ не только создал свою конструкцию истории, но и самое понятие истории не как идеи круговорота, как у греческих историко-философов и не созерцательного, а развертывающегося творимого процесса. Для эллинского мира история представлялась, как застывший гармонический космос, а для еврейского она была полна движения, изменения, борьбы и в перспективе должна была завершиться великим событием, которое изменит всю судьбу человечества на земле.

Эта мессианская идея, говорит Н. Бердяев, и есть специфическая идея, свойственная исключительно еврейскому народу. Заметим, что развиваемая Н. Бердяевым идея о понимании истории, как движущегося вперед процесса, впервые про возглашена евреями, уже была высказана и подробно обоснована известным немецко-еврейским писателем, соратником Маркса Мозесом Гессом в его во многих отношениях замечательной книге «Рим и Иерусалим» вышедшей в 1862 году. Кстати, в социалистическом учении Маркса Н. Бердяев видит лишь новое, так сказать, светское воплощение все той же мессианской идеи, которое через драмы, борьбу создаст царство Божье на земле. Хотя Маркс крестился, был атеистом и материалистом, но в его социализме Н. Бердяев усматривает все ту же, характерную для древних евреев, религиозную идею мессианства, принявшую лишь свое земное воплощение. Н. Бердяев находит, что как бы Маркс в буквальном и переносном смысле не откращивался от еврейства, у него звучит мотив еврейских пророков и он остается типичным евреем. Чрез всю историю еврейства от древнего времени, от еврей-

ских пророков до Карла Маркса, видоизменяясь и перевоплощаясь, проходит всё та же мессианская идея, все тот же волонтаристический взгляд на исторический процесс, как на целевой процесс.

«Еврейский народ, говорит Бердяев, есть по существу своему народ исторический, активный, волевой и ему чужда та своеобразная созерцательность, которая свойственна вершинам духовной жизни избранных европейских народов. Карл Маркс, который был очень типичным евреем, в поздний час истории добивается разрешения все той же древне-бibleйской темы: в поте лица своего добывай хлеб свой. То же еврейское требование земного блаженства в социализме Карла Маркса сказалось в новой форме и в совершенно другой исторической обстановке. Учение Маркса внешне порывает с религиозной традицией еврейства и восстает против всякой святыни. Но мессианскую идею, которая была распространена на народ еврейский, как избранный народ Божий, Карл Маркс переносит на класс — на пролетариат. И подобно тому, как избранным народом был Израиль, теперь новым Израилем является рабочий класс, который есть избранный народ Божий, народ, который призван освободить и спасти мир. Все черты богоизбранности, все черты мессианства переносятся на этот класс, как некогда перенесены они были на народ еврейский. Тот же драматизм, та же страстность, та же нетерпимость» («См. ист.», стр. 109).

Вряд ли можно согласиться с таким внешне соблазнительным и убедительным уподоблением классового социализма Маркса учению библейских пророков и ожидания прихода Мессии — ожиданию воцарения социализма. Соблазнительное сближение избранного народа с избранным классом (пролетариатом) у Маркса и объяснения этого тем, что Маркс оставался типичным евреем и бессознательно явился наследником древнееврейских пророков, едва ли основательно. Прежде всего пролетарский классовый социализм не был изобретен Марксом, хотя Маркс и явился его крупнейшим теоретиком. У Маркса в этом направлении было много предшественников и современников-христиан, так что идея пролетарского социализма не есть еврейская идея. Что касается Маркса, то тут скорее влияние не еврейских пророков, а немецкой философии, Гегеля, учившего, что дух мировой истории в своем поступательном шествии воплощается то в один, то в другой избранный народ истории и возлагает на него великую вселенскую миссию быть знаменосцем и завершителем великой исторической идеи.

Вся конструкция у Маркса самой идеи класса пролетариев, как воплощавшего великую мировую идею социализма, шествующего к торжеству и господству, сделана по образцу гегелевского исторического духа, будучи при этом лишена того глубокого этического и религиозного пафоса, которым дышут проповеди еврейских пророков и неотделимы от них. Это подтверждается и тем фактом, что русские славянофилы, а также и Достоевский, будучи тоже учениками немецкой философии, несмотря на все различие с миросозерцанием Маркса, тоже построили схему, где оказался и избранный народ-богоносец (русский народ), воплощающий великую историческую миссию разрешить во вселенском масштабе и религиозную и социальную правду и где тоже особый социальный класс (русский крестьянин) является носителем правды и справедливости и призван сказать спасающее слово всему миру. Это носилось в общем философском воздухе той эпохи, которым одновременно дышали и Маркс и русские славянофилы, при всем глубоком между ними различии. Это нисколько не мешает тому, что по справедливому замечанию Н. Бердяева, Маркс, несмотря на все свои отречения от еврейства, не мог совлечь с себя ветхого завета. Идеал социализма Н. Бердяев связывает со всем миросозерцанием иудаизма в его характерных особенностях. Тут оказывается общее миропонимание иудаизма, стремящегося устроить счастье людей на земле, устранив всякий разлад между идеалом и действительностью.

«Ожидание чувственного царства Божьего на земле, говорит Бердяев в «Философии неравенства», есть еврейский хилиазм. Евреи ждали Мессию, земного царя, который устроит на земле блаженное царство Израиля. И они отвергли Мессию, который явился в образе раба и учил, что царство его не от мира сего. Мессия распятый есть вечная противоположность Мессии, осуществляющему царство Божье на земле, приносящему земной рай. Утопия социального земного рая есть переживание еврейского хилиазма. Материалистический ее характер не должен закрывать от нас ее острых религиозно-иудаистических истоков. Христос распятый противится хилиастической утопии, проникшей в христианский мир и отвергающей его. Весь мир должен пройти через распятие, Голгофу, прежде чем наступит царство Божье, царство Христово. Без свершения до конца тайны искупления, человечество и мир не войдут в царство Божье. А это значит, что царство Божье есть совершенное преображение мира, переход в иное измерение

бытия. Еврейский хилиазм хочет мессию-царя, который осуществит царство Божье на земле без креста и распятия. И еврейский хилиазм забывает Христа Распятого и хочет перескочить через искупление в чувственное тысячелетнее царство Христово на старой еще земле, под старым еще небом».

В этих словах Н. Бердяев противопоставил еврейский «хилиазм», практически сказывающийся в стремлении устроить на старой грешной земле без искупления справедливую, счастливую, сытую жизнь — христианскому аскетизму готовому принять крест и Голгофу, открывающие райские врата. Позволим себе только заметить, что еврейство берется здесь в его реальном воплощении, христианство же в «писании» или избранных его носителях. Мы знаем множество евреев, борящихся за царство божье на земле и несущих свой тяжелый крест. Эта их борьба находится в полной гармонии со всем их «хилиазмом», как говорит Бердяев, со всем их миропониманием. Мы знаем и множество христиан, ведущих ту же борьбу под тем же в сущности «хилиазтическим» знаком, но у христиан это не вяжется с их религиозною верою, противоречит ей. Но знаем ли мы христиан как массовое движение, которые готовы нести крест и пройти еще через искупление прежде чем им откроются врата будущего царства Божьего? Христиане, борящиеся за лучшее будущее на сегодняшней земле, вряд ли чувствуют в этом возвращение к истокам еврейской веры. Конечно, нынешнее социалистическое движение питается не еврейским хилиазмом, а проснувшимся и растущим социалистическим сознанием народных масс и экономическим прогрессом позволяющим осуществить эти властные и нарастающие требования социальной справедливости. Но если нынешнему социализму неправильно было бы выдавать еврейское метрическое свидетельство, то прав Бердяев, сближающий современное социалистическое движение по типу его исконного миросозерцания с еврейским — «хилиазмом», т. е. со стремлением иудейства устроить царство божье не только внутри, но и в мире сем. Для христианства такого, как оно существует в писании, в вероучении, нынешний социализм по своим мотивам и целям, по своему земному замыслу и смыслу, чужд. Христианство принимает его под давлением народных масс, не выдвигая вопроса об искуплении, о Голгофе, что должно предварить вопрос об устроении человека на земле. «Христианский» социализм, поскольку он охватывает народные массы, отличается от светского социализма только тем, что его адепты религиозно ве-

рующие люди, но, конечно, и они не откладывают устройство человека на земле до искупления и Голгофы.

Все это только доказывает, что еврейская религия несравненно в большей степени, чем христианская, оказалась способной вместить в себя нынешнее социальное движение, все шире охватывающее весь мир и при этом нисколько и ничем не поступаясь от начал своей веры, и наоборот, давая ей новое и мощное подкрепление. В этой жизненности и земности одно из проявлений и одна из причин исторической живучести еврейского народа. Его «хилиазм», — выражаясь излюбленным словом Бердяева — оказался, несмотря на древнейшее дохристианское происхождение, созвучен современной эпохе и ее основной борьбе...

«Идея социальной справедливости, говорит Н. Бердяев, была внесена в человеческое сознание главным образом евреиством. ‘Арийцы’ легко примирялись с социальною несправедливостью. Древне-еврейские пророки были первыми, требовавшими правды и справедливости в социальных отношениях людей, они защищали бедных и угнетенных. Библия повествует о том, что происходит периодический раздел богатств, чтобы богатства не сосредоточивались в одних руках и не было бы резкого различия между богатыми и бедными» («Христ. и антис.», стр. 23).

Я уже отметил, что и для Н. Бердяева, как и для В. Соловьева, отношение к еврейскому вопросу всецело предопределяется христианским вероучением, исключающим самую возможность постановки вопроса о расовой борьбе и антисемитизме. Но хотя для Н. Бердяева отношение к антисемитизму всецело вытекало из христианского вероучения и таким образом было обязательно применимо для всех времен и народов, это, конечно, не мешало ему останавливаться на конкретном проявлении антисемитизма в России и не ограничиваться просто ссылкою на христианскую веру.

«Русские антисемиты, говорит Н. Бердяев, живущие в состоянии афекта и одержимые маниакальной идеей, говорят, что евреи правят сейчас Россией, и гонят там христиан. Это фактически неверно. Совсем не евреи по преимуществу стояли во главе воинствующего безбожия, русские играли в этом очень большую роль. Я даже думаю, что существует русский воинствующий атеизм, как явление специфически русское. Русский барин, анархист Бакунин был его крайним и характерным выражителем. Таков же был Ленин. Неверно и то, что Россией

правят евреи. Главные правители не евреи, видные евреи-коммунисты расстреляны или сидят в тюрьмах. Троцкий есть главный предмет ненависти. Евреи играли не малую роль в революции, они составляли существенный элемент в революционной интеллигенции, это совершенно естественно и определялось их угнетенным положением. Что евреи боролись за свободу я считаю их заслугой. Что евреи прибегали к террору и гонениям, я считаю не специфическую особенностью евреев, а специфическую и отвратительную особенностью революции на известной стадии ее развития. В терроре якобинцев евреи ведь не играли никакой роли. Евреи же наполняют собою и эмиграцию. Я вспоминаю, что в годы моего пребывания в советской России, в разгар коммунистической революции, еврей, хозяин дома, в котором я жил, при встрече со мною часто говорил: «какая несправедливость, вы не будете отвечать за то, что Ленин русский, я же буду отвечать за то, что Троцкий еврей». Подвергая критике антисемитизм русских революционных кругов, Н. Бердяев при этом, однако, резко отзыается и о постановке и решении еврейского вопроса советским правительством. В книге «Философия неравенства», Н. Бердяев под жутким впечатлением советских опытов над людьми написал страстные и прекрасные слова о достоинстве и неприкосновенности человеческой личности, справедливо доказывая, что советский режим совершенно несовместим со свободою и самоценностью личности человека. Говоря при этом о еврейском вопросе, казалось бы, самым коренным образом разрешенным в Советской России, Н. Бердяев доказывает, что вопрос этот там не только не разрешен, но совершенно не понят, глубоко и оскорбительно искажен в своей самой сокровенной сущности. Если при этом Н. Бердяев заволакивает метафизическими туманом реальную государственную постановку вопроса, смешивая государственный и философский подход к вопросу, то все же нельзя не признать, что он наносит тут сильные и смелые удары не только советскому, но и всяческому вообще поверхностному разрешению еврейского вопроса.

Обращаясь к советскому правительству, Н. Бердяев говорит: «Вы очень чувствительны к еврейскому вопросу. Вы боретесь за права евреев, но чувствуете ли вы «еврея»?, чувствуете ли вы душу еврейского народа, проникали ли вы когда-либо в эти тайны, в эти таинственные судьбы еврейства, восходящие к древним истокам человечества?.. Нет, ваша борьба за евреев не хочет знать еврейства, не хочет призна-

вать существование еврейства, она есть лишь интернациональная борьба за уравнение, борьба за человека абстрактного. Вы не знаете конкретного человека в плоти и крови, в роде и племени, человека национального.

Я не хочу угнетать еврея и еврейское, но не хочу освобождать отвлеченно, как абстракцию, человека, теряющего все свое еврейство.

Я глубоко чувствую еврея и еврейство, всю особенность и неповторимость еврейской судьбы, всю исключительность и непреодолимость ее. Это мое чувство переходит в сочувствие. Но я не верю в уравнительное и спасительное разрешение еврейского вопроса.

Если вы хотите прикоснуться к тайнам национального бытия, то задумайтесь глубже и серьезнее над еврейским вопросом. Если неистребимая, неповторимо оригинальная и таинственная сила еврейства в истории не дает вам чувства национальности, то вы безнадежны. Вы придумываете разные способы решения еврейского вопроса, чтобы угасить всю остроту этого вопроса. Но вы бессильны даже подойти к этому мировому вопросу. Вам никогда, никогда не справиться с «еврейством», оно сильнее всех ваших учений, всех ваших смешений и упражнений. Еврейство существует в мире для того, чтобы доказывать всем народам существование тайны национальной и тайны религиозной. По истине слишком легко и поверхностно рассуждают и философы, и антисемиты. На большой глубине надо брать этот вопрос. На этом народе чувствуется судьба Божья в истории. Еврейство имеет свою миссию в мировой истории и миссия эта переходит за границу национальной миссии» («Философия неравенства», стр. 73).

В этих страстных словах, адресованных советскому правительству, сказалась шуйца и десница блестящего русского философа. Рассматривая вопросы, в том числе и еврейский, «на большой глубине», Бердяев поднимает при этом чрезвычайно тонкие и сложные вопросы, но ставит их вне времени и пространства, за метафизикой упускает физику, за метаполитикой не видит политики. Если бы он свой монолог адресовал только Ленину, как философу и социологу, то это было бы как нельзя более справедливо, так как взгляды Ленина на национальный вопрос вообще, и на советский в частности, как мы увидим далее, отличались большою поверхностью и упрощенчеством. Но Бердяев обращается к советскому правительству, которое в еврейском вопросе стало на совершенно

правильную позицию, — ту, которую еврейский народ только и может ждать и требовать от всякого иного правительства. Н. Бердяев ставит правительству задачу и обязанность дать евреям полное уравнение в правах, но и сверх того углубиться в рассмотрение и понимание «таинственной силы еврейства в истории», его биологической природы, его миссии в истории и т. д.. Но если правительства при обсуждении и решении еврейского вопроса будут становиться на эту углубленную религиозную, или исторически-философскую позицию, то это таит в себе огромные опасности. Ведь и Гитлер по еврейскому вопросу стоял на позиции оценки «таинственной силы еврейства в истории», его исторической миссии и т. д., только он вкладывал в это совершенно иное содержание, чем Н. Бердяев, и поступал соответственно. Конечно, если во главе правительства будут стоять люди так чувствующие и понимающие христианство как В. Соловьев и Н. Бердяев, то эта «большая глубина», к которой призывает Н. Бердяев, позволит им поставить и решить еврейский вопрос во всей его широте и глубине на великое благо евреев. Но к сожалению, во главе правительства не стоят Соловьевы и Бердяевы и лучше будет, чтобы правительства решали еврейский вопрос не столь углубленно. Как рискованно при рассуждении по национальному вопросу слишком углубляться в общие рассуждения, показывает такой пример.

«Ваш принцип ‘право самоопределения национальностей’, пишет Н. Бердяев, обращаясь к советскому правительству в «Философии неравенства», — столь опошленный в русской революции, есть антиисторическая абстракция, выдуманная теми, которые отрицают ту неповторимую реальность, которая именуется национальностью. Каждая национальность в разные периоды своего существования имеет разные права. Эти права не могут быть уравнены. Существует сложная иерархия национальностей. Бессмысленно и нелепо уравнивать права на самоопределение русской национальности и национальности армянской, грузинской или татарской.

Вопрос о правах самоопределения национальностей не есть вопрос абстрактный, юридический. Это вопрос биологический, или в конце концов мистико-биологический. Он упирается в национальную жизненную основу, которая не подлежит никакой юридической или моральной рационализации. Все исторические национальности имеют совершенно различные неравные права и они не могут предъявлять одинаковых пре-

тензий. В историческом неравенстве национальностей, неравенстве их национального веса, в историческом преобладании то одних, то других национальностей есть своя большая правда, есть напоминание нравственного закона исторической действительности».

Но разрешим ли, однако, вообще еврейский вопрос, беря его во всем объеме? Отвечая на это, Н. Бердяев указывает на всю глубокую трагичность этого вопроса. «Он не разрешим, говорит он в очерке «Христианство и антисемитизм», просто путем ассимиляции. В это разрешение верили в девятнадцатом веке и это делало честь гуманности века. Но мы живем совсем не в гуманном веке и события нашего времени дают мало надежды на разрешение еврейского вопроса путем слияния и растворения еврейства в других народах. Да и это означало бы исчезновение еврейства. Немного надежды также на разрешение еврейского вопроса путем образования самостоятельного еврейского государства, т. е. путем сионизма. И на собственной древней земле евреи испытывают преследования. Да и такое решение представляется противоположным мессианскому сознанию еврейского народа. Еврейский народ остается народом-странником. Можно было бы сказать, что судьба еврейского народа эсхатологическая, она разрешима лишь в перспективе конца времени.»

Н. Бердяев полагает, что еврейский вопрос был бы разрешен, если бы евреи признали в Христе Мессию и пошли за ним. В этом отношении он вполне сходится с В. Соловьевым. И для Н. Бердяева, как и для Соловьева, еврейский народ совершил трагическую ошибку, отвернувшись от того величайшего венчания и завершения всей его великой истории, которое представляло явление Христа. Но как я уже указывал, говоря о Соловьеве, христианство пришло не исполнить, а нарушить весь еврейский и религиозный и житейский завет, и признав и приняв по убеждению христианство, уверовав в Христа и в его учение, еврейство перестало бы существовать и как религия, и как нация.

С. Н. БУЛГАКОВ

С. Н. Булгаков по всему своему подходу к еврейскому вопросу вращается в том же круге идей, что и Соловьев и Бердяев. Он не занимался специально этим вопросом, но из всех замечаний, которые он делал, его принципиальная позиция ясно определяется. Для него, как и для Соловьева и Бердяева,

определяющим моментом является христианство, из учения которого принудительно вытекает решение еврейского вопроса и отношение к антисемитизму. Но при этом в одном месте у Булгакова проглядывает свое особое отношение к иудаизму, чуждое соловьевскому. В своей работе «Карл Маркс как религиозный тип» Булгаков пишет:

«Исторические и духовные судьбы еврейства связаны с отношением иудаизма к христианству. Именно религиозные утверждения и отрицания, притяжения и отталкивания определяют в основе исторические судьбы еврейства. Шахерство, мировая роль еврейства в истории капитализма есть лишь эмпирическая оболочка своеобразной религиозной психологии еврейства. Несмотря на весь атеизм значительной части теперешнего еврейства, на весь его материализм, и практический и теоретический, подо всеми историческими напластованиями все-таки лежит религиозная подпочва, которую умел почувствовать и так поразительно обнаружить В. Соловьев».

Эту религиозную подпочву у современных евреев В. Соловьев действительно умел «почувствовать и так поразительно обнаружить», но в смысле диаметрально противоположном Булгаковскому. Отмечая делячество, жизненный материализм современных евреев, Соловьев указывал при этом, что все эти черты присущи вообще нынешнему веку и христианскому миру и что у евреев эти черты появились, когда они жили в христианском мире и приспособлялись к нему; у древних же евреев, живших своею самостоятельною, самодовлеющею жизнью, этих черт не было. Поэтому видеть в чертах делячества «подпочву» европейской религии, как это делает Булгаков, это во всяком случае противоречит мнению Соловьева, на которое Булгаков нарасло ссылается.

Одно из двух, или отрицательные черты, указываемые Булгаковым в характере и в исторической роли евреев являются лишь «историческими напластованиями» и тогда не выражают ни религиозной, ни вообще какой-либо «сущи» еврейства, как и считал, в противоположность Булгакову, Соловьев, или же они выражают «своебразную религиозную психологию еврейства», но тогда они не являются только «историческими напластованиями».

Любопытное явление. По утверждению Бердяева, социалистическое движение по своим истокам является движением еврейским, рожденным еврейским религиозным вероучением и чуждым христианскому вероучению. По мнению же Булгакова,

капиталистический дух внесен в историю евреями и отвечает религиозной подпочве еврейства. Оставляя в стороне вопрос о правильности или неправильности этих противоречивых утверждений, спросим лишь, что же остается на долю христианства в современной жизни, если и социализм и капитализм по своим истокам рождены еврейским религиозным духом?

В этюде «Карл Маркс, как религиозный тип» Булгаков подвергает резкой и справедливой критике известную статью Маркса, посвященную еврейскому вопросу. Карл Маркс происходил из семьи, насчитывающей в своей родословной длинный ряд видных раввинов, но уже его отец принимает христианство и сам Маркс женится на немке из аристократической семьи. Маркс никогда не обнаруживал ни малейшего интереса к евреям и еврейскому вопросу, за исключением пресловутой статьи, напечатанной им в начале своей литературной деятельности. Это не мешает тому, что в его социальном пафосе явно слышатся мотивы библейских пророков, их акцент, а в его диалектических построениях в «Капитале» гегелевская диалектика причудливо переплетается с талмудической. В молодые годы, в пору сильного увлечения гегелевской философией, Маркс и напечатал свою пресловутую печальную статью по еврейскому вопросу. Она представляла собою критику статей Бруно Бауера по тому же вопросу.

Бруно Бауэр доказывал, что никакой эманципации евреев в государстве, построенном на христианской религии, быть не может и поэтому евреи, оставаясь евреями, не могут ни требовать, ни ждать уравнения. Для Бауера, как и для всех тогдашних писателей, не исключая и еврейских, евреи представляли собою чисто вероисповедную, но не национальную группу. И пока они оставались евреями, т. е. исповедывали еврейскую религию, христианское государство не могло им дать равноправия, так как эти две религии несовместимы. Поэтому Бауэр и считал, что евреи должны бороться против всякой религии, и христианской и иудейской, и только на этом атеистическом пути евреи могут добиться своей правовой и политической эманципации.

Полемизируя с Бауером, Маркс справедливо доказывал, что правовая эманципация евреев и уравнение их в правах с остальным населением могут быть достигнуты и в христианском государстве, т. е. в Германии. И сам Маркс переносит вопрос из религиозной области в экономическую. Он считает, что евреи не нация, а только религия и его интересует

не еврейская религия; как атеист, он считал всякую религию опиумом для народа. Он рассматривал евреев, как носителей известного начала, определенной миссии в истории и в современном обществе. Об этой-то экономической сущности еврейства, об их экономической миссии в истории Маркс и написал строчки, под которыми охотно подпишутся самые махровые антисемиты и которые многих, и в их числе Булгакова, Бердяева и известного историка еврейства С. Дубнова заставили заговорить об антисемитизме Маркса. Вот эти строки в числе многих других в этой печальной статье, не делающие чести Марксу:

«Каково мирское основание еврейства? — Практическая потребность. Своекорыстие. Каков мирской культ еврейства? — Торгашество. Каков его светский Бог? Деньги. Итоги. Эманципация от делячества и денег, стало быть, от практического реального еврейства — была бы эманципацией нашего времени.»

«Деньги есть ревнивый Бог Израиля, рядом с которым не может существовать никакой другой Бог. Вексель есть действительный Бог еврея.»

«Эманципация евреев в ее конечном значении есть эманципация общества от евреев.»

«Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека.»

Статья Маркса заканчивается словами: «Как только удастся обществу уничтожить эмпирическую сущность еврейства, торговчество и его предпосылки, еврей станет невозможным, ибо его сознание не будет больше иметь объекта, ибо субъективная сущность еврейства, практическая потребность станет человеческой. Общественная эманципация есть эманципация общества от еврейства» (К. Маркс, К еврейскому вопросу. Собр. соч. Москва 1929 г. стр. 394, 395).

Ссылаясь на эти неожиданные рассуждения Маркса по еврейскому вопросу, С. Булгаков пишет: «Ради чего же сын поднял руку на мать, холодно отвернулся от вековых ее страданий, духовно отрекся от своего народа? Ответ совершенно ясен: во имя рационализма и вражды к религии, во имя последовательного атеизма. Маркс, конечно, не мог примириться с религиозной точкой зрения; ему пришлось пожертвовать своей национальностью, произнести на нее хулу, впасть в своеобразный не только практический, но даже религиозный антисемитизм.» (Ср. С. Булгаков, «К. Маркс, как религиозный тип.» Варшава, 1929 г. стр. 319, 329 и 333).

Н. Бердяев также говорит об антисемитизме Маркса, а известный историк еврейства, С. Дубнов в «Новейшей истории еврейского народа» (стр. 101-103) также с негодованием указывает на антисемитизм Маркса.

Приведенные выдержки из статьи Маркса действительно отдают дурным запахом вульгарного антисемитизма. Но именно потому, что они звучат таким грубым антисемитизмом, а вместе с тем написаны глубочайшим мыслителем-евреем, которому чужды были какие бы то ни было национальные предрассудки, всё это заставляет глубже вдуматься в эту статью и не ограничиваться наклейкою на нее ярлыка антисемитизма.

Эту статью нельзя понять вне условий времени и места, когда и где она писалась, вырвав ее из контекста тогдашних настроений и течений среди немецкого еврейства и среди немецкой интеллигенции вообще. Эта статья была написана в пору увлечения немецкой интеллигенции философией Гегеля, увлечение, которое разделял и Маркс. Каждый вопрос, каждое явление рассматривались тогда, как прогоняемые сквозь философский строй, пока из него не получалась тощая абстракция, своего рода вытяжка, призванная символизировать данное явление. При этом исторический дух в своем величавом шествии в отдельные моменты проходил через ту или другую нацию, воплощался в ней и эта нация символизировала торжество исторической идеи. Это было время, когда и русская интеллигенция с Герценом, Бакуниным и Белинским во главе увлекалась этой философией и когда «неистовый Виссарион» Белинский в припадке этого увлечения написал по поводу Бородинской годовщины, статью, в которой пламенно прославлял самое неприкрытое самодержавие на основании философии Гегеля, признающей все действительное разумным. Впоследствии, как известно, Белинский неистово откращивался от этой статьи и раскланялся с «философским колпаком Федора Ивановича», т. е. Гегеля.

Потерявшись в туманах гегелевской философии, Маркс сотворил из евреев абстракцию, категорию буржуазного духа, сделал их историческими носителями капитализма и подверг их, как таковых, жестокой критике. Еврейский вопрос был насыжен на булавочку «буржуазия» в засущенном виде и рассматривался в этом философском тумане.

Булгаков считает, что Маркс писал свою статью, как атеист, и этим объясняет его «антисемитизм». Но для Маркса, как атеиста, христиане и евреи были одинаково неприемлемы.

Разница была лишь та, что вместе с тем Маркс не видел в евреях национальности и отрицал ее. Для него евреи были только религиозная группа. Поэтому, если у немцев, помимо христианства, оставалась национальность, то у евреев с уничтожением религии, ничего не оставалось, как у обособленной общественной и исторической группы и она теряла свое историческое право на существование.

Гегель, создавший теорию воплощения исторического духа в ту или иную страну, избрал свою Германию, конечно, как страну, которая в данное время воплотила и несет высочайшую историческую идею. Маркс же избрал евреев как носителей и воплощение наиболее для него ненавистной идеи «торгашества». Частью тут сказалось чувство нередкое у крестившихся и открещивающихся от всякого касательства к евреям людей, к которым принадлежал и Маркс. К этому надо еще прибавить, что живя в богатой Рейнской провинции, где была богатая европейская буржуазия и не было еврейского пролетариата, Маркс получал дополнительный материал, чтобы избрать евреев, как народ, в который вселился исторический дух капитализма.

По всему этому печальную статью Маркса, которой он согрешил в пору своего, как он впоследствии выражался, «кокетничанья» с Гегелем и о которой, надо думать, он и сам пожалел, можно правильно понять только в контексте с историей того времени, биографией Маркса и с гегелевским подстрочником в руках.

Чтобы закончить характеристику взглядов Булгакова по еврейскому вопросу, отметим еще его мысль, близкую к Соловьевской, о том, что сочетание русского и еврейского типов, русской и еврейской культуры, создает особо привлекательную человеческую разновидность. В одной своей книжке Булгаков вкладывает в уста беженца слова: «Есть какое то загадочное и совершенно удивительное тяготение еврейства к русской душе. Это по-своему чувствовал Соловьев, даже Достоевский, теперь Розанов. Это избирательное родство есть очень интимная, но очень значительная черта» («На пирамидах Богов», стр. 21).

П. Б. СТРУВЕ

По своему религиозному и философскому миросозерцанию, по своим христианским убеждениям, П. Б. Струве был близок к Бердяеву и Булгакову. Можно было поэтому ожидать, что в своем отношении к еврейскому вопросу он, подобно этим писателям, будет рассматривать его с точки зрения

христианства и свяжет его не только с христианским учением, но и с религиозной философией и с религиозной гносеологией.

Но как это часто случалось с этим замечательным писателем, его позиция оказалась неожиданной и не связанной с его общим миросозерцанием. Он подошел к этому вопросу больше эмоционально и с политической точки зрения, чем углубленно философски или религиозно.

Говоря очень сжато о религиозно-исторической стороне еврейского вопроса, П. Б. Струве сходится с Соловьевым и Бердяевым в том смысле, что считает, что иудейство, породив и подготовив христианство, не сумело или не захотело понять, что этим самым оно должно было раствориться в христианстве, целиком в него перейти как в выполнение своей высшей мечты, своего же страстного призыва и ожидания Мессии, которого оно не захотело признать в образе Христа.

В статье «Извнутри» («Русс. Мысль», 1920), написанной по поводу сборника статей русских кающихся евреев «Россия и евреи», П. Струве сжато формулировал свой общий взгляд на еврейский вопрос, взятый в религиозно-философской плоскости.

С позитивно-исторической или социологической точки зрения, говорит он здесь, христианство есть сознательно преодолевшее национальные рамки, победоносно выходящее из них, охватывающее мир и религиозно себя с ним объединяющее и тем упраздняющее себя еврейство. Исторически породив христиан, как свою универсализацию и свое упразднение, еврейство национально и религиозно отвергло это свое рождение. В этом исхождении христианства из еврейства и в этом отпадении первого от последнего или — что то же — отвержении последнего первым заключается вся трагическая значительность и глубина еврейского вопроса. Развитие еврейства в своей общей формулировке может быть изображено так: из племени и нации рождается религия, а затем для всего остального, нееврейского мира, и даже для самих евреев, религия превращается в «кровь». Превращение религии в кровь есть социально-психологический процесс вульгаризации и затмения еврейского вопроса. Отрицание расового характера за еврейской проблемой не может стать отрицанием за ней всякого содержания, сведения ее к правовому вопросу законодательства, или управления, или к моральному назиданию в духе гуманности и благожелательности. Никакое законодательство, никакая административная практика, никакая гу-

манность не могут снять или упразднить эти проблемы. Наоборот, в известном смысле еврейская проблема возникла или возникает только с правовым разрешением еврейского вопроса. До утверждения начала равноправия евреи были тем, чем их сделала история: народом гостем, или чужеродцем на положении париев. Их рассеяние (диаспора) было великим проникновением чужого (еврейского) народа на территорию и в хозяйственное общение христианских по преимуществу народов. Началась эпоха проникновения еврейства в самую ткань чужих народов. Но проникновения не сопровождало подлинной и окончательной ассимиляцией евреев в чужих национальных телах на основе равноправия. Такое проникновение может сочетаться либо с духовной цельностью (традиционизмом), либо с духовным распадом (радикализмом) еврейства.

«Еврейский революционализм есть на самом деле отпадение, отступничество от еврейской традиции, есть разложение самого же еврейства. Трагедия революционного или радикального еврейства и состоит в том, что оно в своем рационализме разрушает в самом корне еврейскую духовную самобытность, купленную дорогой ценой многовековых угнетений, ради водительства более или менее призрачного в мировом революционном движении и в частности в революционном разрушении России».

В приведенных словах у П. Струве, как и во всех его суждениях по еврейскому вопросу, сказывается вообще характерный для этого замечательного писателя спуск с большой теоретической высоты на плоскую землю. Начав с христианства, которое якобы пришло на историческую сцену, чтобы завершить дело, начатое евреями, и перейдя к евреям, якобы не понявшим, что христианство есть их увенчание, П. Струве заканчивает вульгарным обвинением евреев в «водительстве» мировым революционным движением и в «революционном» разрушении России. При этом П. Струве иногда становится на чисто губернаторскую точку зрения, изображая еврейство не то, как какое-то акционерное общество, не то как кагал, правление которого постановило перейти от традиционализма к «водительству» революционным движением и разрушению России. Суждения П. Струве по еврейскому вопросу порою, как это всегда у этого писателя, ярко освещаются вспышкой оригинальной мысли, но в общем остаются противоречивыми и непоследовательными. П. Струве, отвергая ан-

тисемитизм и филосемитизм, выдвинул точку зрения асемитизма, т. е. отталкивание от недружелюбия к евреям. При этом (вопреки тому, что писал даже Достоевский, не говоря уж о В. Соловьеве доказывавшем, что в русском народе не существует враждебных чувств к евреям) П. Струве утверждает, что в русском народе существует отталкивание от евреев, но в дальнейшем запутывается сам в своей аргументации, и оказывается, что это не русский народ испытывает отталкивание от евреев, а это евреи отталкивают русский народ своей замкнутостью и нетерпимостью. Вопреки тому, что писали Соловьев и Бердяев, а отчасти даже Достоевский и Розанов об «избирательном родстве» между русскими и евреями, П. Струве продолжает писать о чуждости и отталкивании душ этих двух народов, но затем неожиданно признает, что никто не мог так проникновенно почувствовать и передать русский пейзаж, как еврей Левитан. В статьях, помещенных в «Слове» в 1909 г. и в свое время наделавших большой шум, П. Б. Струве писал: «Сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях русского населения очень велика и нужна большая моральная и логическая ясность для того, чтобы несмотря на это отталкивание, бесповоротно решить еврейский правовой вопрос. Его трудность не только в этом. При всей силе отталкивания от еврейства широких слоев русского населения, из всех инородцев евреи нам всех ближе, всего теснее с нами связаны. Это культурно-исторический факт и это так. Русская интеллигенция всегда считала евреев своими русскими и не случайно, не даром, не по недоразумению. Сознательная сила отталкивания от русской культуры, утверждение еврейской национальной особенности принадлежит не русской интеллигенции, а тому еврейскому движению, которое известно под названием сионизма».

Трудно в немногих словах так основательно запутать вопрос, как это сделал Струве в приведенных строках. Непонятно, что же евреи ближе всех других «инородцев» русскому народу, как утверждает Струве, или же они вызывают отталкивание со стороны русского народа, как утверждает тот же Струве? И что же это отталкивание вызывается неприязнью русских к евреям, как утверждает Струве в одном месте, или же замкнутостью и неприязнью евреев к русским, как он же утверждает в другом месте? В конце же концов оказывается, что во всем виноваты сионисты, сочинившие идею о том, что евреи представляют собой особую национальность, чем оттолкнули евреев от русских и русских от евреев.

Если к этому прибавить, что русский народ имеет весьма смутное представление о сионистах и весьма мало ими интересуется, то аргументация Струве принимает и совсем беспомощный и бездоказательный характер. «Нет в России других инородцев, — пишет Струве в другом месте, — которые играли бы в русской культуре такую же роль, какую играют евреи. И еще другая трудность: они играют ее, оставаясь евреями. Неоспорима роль немцев в русской культуре и, в особенности, в русской науке. Но немцы, оплодотворяя русскую культуру, без остатка растворялись и растворяются в ней не индивидуально, а именно в культурном смысле. Не то евреи; если в самом деле есть европейская «национальность», как утверждают сионисты. Допустим, что Брюллов был великим живописцем (в чем я сомневаюсь). Можно спорить о том, какая национальность, немецкая или русская вправе претендовать на эту честь, но совсем другой смысл имеет вопрос, был ли Левитан русским или еврейским живописцем. Если бы я даже был антисемитом и если бы конгресс сионистов соборне и официально провозгласил Левитана еврейским художником, я бы все-таки продолжал твердить: а все-таки Левитан был русский, а не «российский» художник и хотя я вовсе не антисемит, я скажу: Левитана я люблю именно за то, что он русский художник».

Оставим в стороне вопрос о немцах, якобы «без остатка» растворяющихся, в противоположность евреям в русской культуре. Со времени Ломоносова мы знаем сколь произвольно это утверждение.

Основным пороком рассуждений Струве является его убеждение, что это сионисты сочинили ложную идею о национальности евреев и отсюда и пошло все зло, хотя этому противоречит простая хронология, ибо антисемитизм много старше сионизма. Пушкин написал поэму «Цыгане». Предположим, что какой-либо цыганский писатель нашел, что в этой поэзии Пушкин с гениальной силой и проницательностью изобразил цыганскую душу. Но навряд ли на этом основании ему пришла бы в голову идея, что Пушкина надо считать цыганским, а не русским писателем. Левитан изобразил русский пейзаж с такой проникновенностью и покоряющей художественной правдой, что Струве провозглашает его великим русским художником. Но почему он считает, что Левитан перестает быть евреем и что только сионисты могут назвать его евреем. Выходит, что если бы Левитан безталанно изобразил русский пей-

заж, не поняв его души, то Струве считал бы его евреем, но если он гениально проник в душу русского пейзажа, то он перестает быть евреем и становится русским.

Свои рассуждения по еврейскому вопросу Струве заканчивает здравицей по адресу «асемитизма», но при этом успокаивает евреев: «Этот самый ужасный асемитизм, говорит он, гораздо более благоприятная почва для правового решения еврейского вопроса, чем безисходный бой, мертвая схватка антисемитизма с филосемитизмом».

«И право, асемитизм, сочетаемый с ясным и трезвым пониманием известных моральных и политических принципов государственности, необходим. Гораздо более нужен и полезен нашим еврейским согражданам, чем дряблый, сантиментальный филосемитизм, не говоря уже о филосемитизме, вынужденном или симулированном».

В. В. РОЗАНОВ

Я перехожу теперь к русскому писателю, высказавшему по еврейскому вопросу чрезвычайно глубокие и оригинальные суждения. Этот талантливейший и самобытный писатель, создавший свой совершенно особый, неповторимый «розановский» литературный жанр, свой особый «розановский» язык, внес и в трактовку еврейского вопроса свою оригинальную точку зрения. В известных кругах за В. В. Розановым установилась прочная репутация махрового антисемита. И он сделал всё, чтобы эту репутацию оправдать. Во время процесса Бейлиса, когда лучшие русские люди, до тех пор никогда не интересовавшиеся еврейским вопросом, сочли и почувствовали своим долгом и честью русской совести выступить против этой инсценировки правительством средневекового процесса, В. Розанов помещает в грязном погромном листке «Земщина» ряд статей, доказывающих существование у евреев ритуального убийства; он цинично говорит о Бейлисе, как убийце Ющинского. В брошюре «Евреи и Европа» Розанов писал:

«Поднимается третье освобождение Европы; может быть самое мучительное и самое трудное, но совершенно необходимое — от евреев, от семитизации европейского духа, европейской литературы, всего европейского склада жизни, всей так называемой европейской культуры. И дело Бейлиса, которое самим именем закрыло кровавое дело младенца Ющин-

ского, есть лишь толчок, от которого как ураган развивается колоссальное движение — освобождение от семитизма».

«Евреи встали во весь рост и неосторожно распахнулись и все в России увидели и очень скоро увидели во всей Европе черное тело и черную душу еврейства. Суть в беспардонном эгоизме всего решительно в жертву своему единственному, родовому, национальному «Я». Требуя от нас, от немцев, от французов космополитизма и общечеловечности, они даже не едят одной пищи с нами и это не личное у них, а национальное: национализм и национальные статуты у евреев, вводя знаменитое отныне «кошерное» мясо, строжайше запрещают всем своим даже есть из одной миски суп с христианами, брат мясо с одной сковородки с христианами, с этими просвещенными французами, с этими республиканцами французами, с этими русскими братьями. Явно, что ни проповедание европейское, ни республики европейские, ни родное русское братство, им не нужны. На самом донышке, у самого образованного еврея лежит затаенное чувство: 'Россия всё-таки пройдет, а евреи останутся'. Примеры Греции, Рима, Египта не могут не действовать».

«С каждым кошерным куском еврей проглатывает как бы заговор и зарок против русских, чтобы сказать всем понятным языком, он проглатывает погромную против русских прокламацию, но которая не просто прочитывается и бросается, а переваривается у него в желудке и с кровью входит в плоть и kostи еврея, в кровь еврея, в мозг еврея. Тихая, вкрадчивая, но именно ядовитая ненависть к русскому, к немцу, к французу, к англичанину, ко всем — вот что такое статут и религия о гоях, о чем все знали только глухо и отдаленно, обще и смутно. Теперь (после процесса Бейлиса) все это ясно прочитали».

Под этими розановскими строками охотно подписался бы сам Гитлер. И если бы Розанов писал о евреях только такие и подобные слова, то только и оставалось бы, как это и делают черносотенные поклонники его таланта, отвести ему видное место среди буйных антисемитов и пожалеть о том, что такой большой и оригинальный русский писатель опустился до уровня вульгарного антисемитизма.

Но всякий, кто от чтения брошюр и газетных статей Розанова перейдет к чтению его книг и исследований, его переписки, его писем, написанных перед лицом смерти, будет бесконечно поражен, как это из под пера одного и того же человека могли выплыть эти вульгарные антисемитские строки

в роде выше приведенных и эти проникновенные гимны еврейству, увлекательное и волнующее прославление европейской религии, европейской семьи, европейского быта, европейской святой плоти и всё это в противопоставлении христианству.

Прежде всего всех, кто лично близко встречался с Розановым, поражало его непреодолимое «влечение, род недуга» ко всем евреям и ко всему еврейскому. Точно и свои антисемитские строки он писал для того, чтобы избавиться от европейского искушения, европейского наваждения, отреститься от греховной страсти к еврейству, отучить и отлучить себя от европейского соблазна. Известная русская писательница-христианка З. Н. Гиппиус пишет в своих воспоминаниях «Живые лица», о Розанове, которого она очень близко знала:

«Всю жизнь Розанова мучили евреи. Всю жизнь он ходил вокруг да около, как завороженный, прилипал к ним, отлипал от них, притягивался-отталкивался».

«Евреи, в религии которых была для Розанова так ощущительна связь Бога с полом, не могли не влечь его к себе».

«Он был — говорит далее Гиппиус — к евреям «страстен» и, конечно, пристрастен, он к ним вожделел».

«Влюбленный однажды, полуушутя, в еврейку, он говорил мне: «Вот рука, а кровь у нее там какая? Вдруг — голубая? Лиловенькая, может быть? Ну, я знаю, что красная, а все-таки не такая, как у наших».

«Когда на Розанова нападали за его ереси по отношению к христианству, вспоминает Гиппиус, он защищался Библией, Ветхим заветом, пламенно защищался еврейством, на сторону которого всецело становился, как бы религиозно сливался с ним. С одним известным поэтом-евреем Розанов при мне чуть не подрался. Поэт и философ, совсем не приверженный к христианству, доказывал, что в Библии нет личности и нет духа поэзии, пришедшего только с христианством, что евреи понятия не имели о нашем чувстве влюбленности в мир, женщину и т. д. Надо было видеть Розанова, защищающего «Песнь Песней», и любовь, и огонь еврейства. Принялся упрекать поэта в измене еврейству, тот ему ответил, что во всяком случае Розанов больше еврей, чем он сам».

«Розанов никогда не переставал страстно, телесно любить евреев».

Таково свидетельское показание известной русской писательницы, верующей христианки об «известном антисемите» Розанове.

А вот и другое показание известного русского писателя христианина, лично знавшего Розанова — А. М. Ремизова.

В своей книжке: «Кукха. Розановы письма». (Берлин, 1923) Ремизов пишет: «Проще всего привести к Розанову еврея. Спросишь по телефону, назовешь, никогда не откажет: какое-то особенное пристрастие и любопытство к евреям и весь вечер проговорит. И уж, конечно, ни с кем не спутает. Я лично мало знал Розанова. Встречался с ним в Литературном клубе на Фонтанке, но долгое время мы жили неподалеку друг от друга — он на Пушкинской, я на Коломенской, являющейся, как известно, продолжением Пушкинской. И мы часто встречались на улице и после краткого обмена политическими или литературными новостями, он начинал с жадным любопытством расспрашивать, хотел бы даже сказать: разнюхивать насчет той или иной черты семейно-сексуальной жизни евреев, с какой-то наивной или невинной бесцеремонностью, входя в самые интимные подробности. Так как я был весьма плохо осведомлен о том, какое освещение и в особенности освящение дает еврейская религия тому или другому из семейно-сексуальных вопросов, то он был обыкновенно очень разочарован и при этом глубоко убежден, что я не хочу его «гоя» посвящать в святая святых еврейской религии. И он лукаво покачивал головой — не хочет рассказывать гою эти таинственные и так глубоко его волнующие вещи. Все попытки отвлечь его внимание на политические или литературные темы успеха не имели. Он не любил политику, не придавал ей никакого значения, защищал сегодня то, что опровергал вчера и цинично говорил, что изменить свои взгляды для него все равно ‘что плонуть’».

Розанов любил и благословлял живую немудрствующую жизнь во всей ее плоти и крови, во всей ее животности. Пантеист до глубины души, он боготворил все сущее и всеми пятью чувствами привязан был к жизни и его тянуло и волновало заглянуть в самую суть еврейской религии и ею освящаемого семейного обычая и быта евреев. И этой сокровенной сущностью о еврейской религии для него являлась половая, сексуальная жизнь еврейской семьи, то что он называл и чтил у евреев как «святую плоть». Он считал, что у евреев, в отличие от христиан, эта сторона человеческой жизни не только не считалась грешной, не только едва терпелась, как людская слабость, но окружена была религиозным сиянием, была свята и благословенна. И вот эта-то гармония плоти и духа, свяности

и эроса так восхищала Розанова в еврействе, так тянула неудержимо к нему, так заставляла завидовать, или, как выражалась З. Гиппиус, «вожделеть» к еврейству. Да, этот «известный антисемит» Розанов, автор погромных статей в грязном листке «Земщина», статей, которые отказывалось печатать даже антисемитское небрезгливое «Новое Время», этот самый Розанов весь тянулся к иудейству и завидовал евреям, имевшим религию, освящающую и благословляющую жизнь плоти, не знающую христианского дуализма между явлениями религии и велениями плоти. Мы увидим ниже, как эта «святая плоть» европейской религии диктует Розанову самые яркие и увлекательные страницы его книг и порой с глубокими философски-религиозными прозрениями. Порой он испуганно спотыкается, начинает неистово открешиваться от этого европейского наваждения, великого искушения и соблазна, запускает в евреев (как Лютер — чернильницей в дьявола-искусителя) грязной антисемитской статьей, и страстно припадает к Христу. Но это ненадолго. Его вновь притягивают и покоряют мотивы ветхозаветной жизни, предустановленная нерушимая гармония пола и религии, и он вновь отворачивается от христианского аскетизма, от креста и Голгофы, и его писания вновь наполняются европейской «песнью песней» Ветхого Завета.

Словами немецкого поэта Розанов мог бы сказать о себе: «Две души живут в груди моей и одна хочет отделиться от другой». Одна душа тянула его, насквозь русского человека, к традиционному православному быту, к русской церкви, русской семье, русской земле, которые он так нерушимо любил. Все это было нераздельно, связано с Христом, с православием, со всем русским бытом. В. Розанов не в силах был от всего этого оторваться. Он ненавидел евреев, поскольку они в его представлении являлись разрушителями этого традиционного русского быта, с самодержавием, народностью и бытовым православием. Но другая его душа вожделела к евреям, соблазнялась картинами ветхозаветной европейской жизни, в которой, по его представлению, царила полная гармония между божественным и телесным, богом и полом, которая не знала ни Голгофы, ни креста и устраивала праведную жизнь на земле. Евреи в глазах Розанова как бы двоятся. Он ненавидел реальных, сегодняшних евреев в их деловой, политической, а пусть все-го революционной ипостаси. Он ополчился на них за непрошенное стремление переделать чужую жизнь. Эти житейские евреи являлись для него бродильным началом в бесконечно для

него дорогой и любимой во всей своей патриархальности и неизменности русской жизни. И когда он говорит об этой деятельности евреев, у него выливаются строки самого яростного антисемитизма. Он тянулся к живым евреям лишь потому — поскольку через них для него просвечивал религиозный уклад жизни древнего иудейства, поскольку он через них мог соприкоснуться с таинственным и неудержимо его тянувшим миром интимной, семейной жизни евреев, как ему казалось нерасторжимо связанной с еврейской религией, с Ветхим Заветом и потому такой неотразимо притягательной. Одна из излюбленных тем Розанова это — сопоставление Ветхого и Нового Заветов и тем самым иудейства и христианства. Осью, вокруг которой всегда вращается мысль Розанова, является семья, брак, всё то, что связано с вопросами пола и семьи и отношением к ним религии.

«Вся природа благоухает весной, — пишет Розанов, — ну, ведь это же от Бога, никто этого не оспорит, но мало замечают, что и человек также начинает благоухать гением в весну своего возраста. «Вот окружение» ковчега завета. Его нет давно. От храма иерусалимского осталась одна «стена плача», но плоть израильская не только живет, но решительно не угасает, не тускнеет именно в плотском своем свете. Четыре тысячи лет и никакой жизненной усталости, ни тени пессимизма и до сих пор какой-то «Хаим из Вильны», бредя домой с удачной или неудачной покупки и увидев свет в окне, хотя бы язычника, останавливается и произносит: Благословен Бог, сотворивший свет».

«Присматриваясь к Библии, без труда можно заметить, что заботы и обряд обрезания господствуют в ней над вниманием к пророкам, над Сионом и самой целостью двенадцати колен, что все это, вся четырехтысячелетняя река Израиля вытекла из маленького родничка этой старой операции».

«Древние народы, как и все семитские народы, говорит Розанов, не имеют наших наук, не захотели искусств, явно отворачиваются от государственности, они суть ткачи самой жизни, суть жизнетворцы. Но это ими постигнуты глубины, которые совершенно скрыты от арийцев и мы можем довериться достигнутой ими истине. Эти глубины обрезания не суть открывшаяся арийцу глубь, нам открыты глубины философских наук, права, широкой общественной деятельности, но мы без труда догадываемся, что все наши глубины плавают на поверхности этих семито-хамитических глубин».

Таинство обрезания всегда заставляло Розанова глубоко задумываться над сокровенным смыслом этой операции, сближающей вплотную вопросы пола с вопросами Бога. Вся европейская религия есть в глазах Розанова, религия святого пола, святого семени. В Библии, этой книге бытия, мы находим религиозное освящение пола, семени, в Новом же Завете, этой «книге небытия», как ее называет Розанов, отрицание семени, едва терпимое признание брака. Христианское сказание о беспорочном зачатии Девы Марии, как бы относит все зачатия к порочным. Сексуальная жизнь, пол, семья, брак, все это благословляемое и освящаемое иудейством, едва терпитсѧ христианством с его идеалом не от мира сего. Блаженны утробы не родившие и сосцы не питавшие — таково, по мнению Розанова, единственно подлинное из всех евангельских блаженств. Между Библией и Евангелием зияет пропасть, поглощающая весь христианский мир.

Библейский основной завет: «плодитесь и множитесь», такой близкий и понятный Розанову, такой осмысливающий и согревающий всю земную жизнь, чужд подлинному христианству, чужд ему в идеале и едва терпим в жизни, доказывает Розанов.

Таинство рождения, «колыбель» человека и всего животного мира поглощают все мысли Розанова, все его волнение в неизмеримо большей степени, чем вопросы смерти, гроба, креста.

«Миг сочетания Аврама с Саррой, говорит Розанов, из которого произшел Исаак, определил всемирную историю, насколько последняя вообще связана с европейской Библией. Какого могущества был глагол его зачатия (Исаака). Почему вообще сочетания полов не суть глаголы, но только на не-понятном нам языке и нам не слышны. Осмысленность рожденного слишком твердо говорит о мысли о зачатии, но не нашей мысли, а такой, для которой тела наши суть орудия, как мясистый язык есть орудие нашего слова. И как язык подневолен слову, «раб слова», так человек есть раб страсти, огненных словес которых ему никогда не разобрать, да этого и не нужно, но грамота, написанная этим пламенем, она пошлеется в века, не истлеет и тысячелетия будет говорить человеку, народам. «Грамота» это — дитя. Каждое зачатое дитя полновеснее и содержательнее всякого написанного, или сказанного человеком слова. Дитя есть ноумenalный глагол, а отсюда минуты спаянности полов не только не бессмысленны

и не животны (в порицательном смысле), но в эти минуты через нас, как через магнитическое железо проволоки, пламенем облаков, молнией грозы проходит на земле небесное слово: непостижимое, неразгадываемое, и столь же непонятное слияnnым существам, как телеграфной проволоке непонятна несущаяся по ней телеграмма».

«Пламя похоти (обычный нарицательный термин) оно в родстве с ночным благоуханием жасминов, раскрытыми чашечками цветов, ночными всемирными молитвами, с поэтическими грэзами, с самым поворачиванием земли на оси, особенно в связи с разверзающимися глубинами звездных небес. Все фосфорное в человеке вдруг зажигается, светится, его существо вдруг намагничивается страшным земным магнетизмом только что повернувшейся земли».

Мы привели эти строки, так как они самым непосредственным образом связываются у Розанова с его пониманием иудейства и его противопоставлением христианству. Конечно, эти и дальнейшие рассуждения Розанова вызовут живейшие возражения и со стороны евреев и со стороны христиан. Совершенно не касаясь христианства, относительно иудейства заметим лишь, что выделив из иудейства лишь один мотив, относительно его преувеличив и заглушив им все остальные мотивы, Розанов при этом сильно примешал к иудейству элемент пантеистического язычества. Но меня сейчас интересует не критика Розанова, а изложение его взглядов.

С точки зрения все того же страстного эротического пантезма, мистического сексуализма, В. Розанов подходит в дальнейшем и к сопоставлению христианства и иудаизма.

В. Розанов не приемлет тайну креста, Голгофы, для него вообще Бог-Сын, т. е. Христос принес в мир культ страдания, апофеоз смерти и умирания, отвержение полнокровной радости жизни, аскетический скелет жизни вместо цветущего здоровья и радости тела. Этот бунт против Христа и против христианского пренебрежения к плоти и противопоставление ему «святой плоти» иудаизма с особенной буйностью и силой оказались в нашумевших произведениях Розанова об «Иисусе Сладчайшем» и «Темном Лице», навлекших на Розанова гром и молнии со стороны христианских писателей; один из которых (Зеньковский) назвал этот Розанова об «Иисусе Сладчайшем» — «иудиным поцелуем».

В христианстве главный пафос направлен на страдания и смерть, рождение и радость жизни на земле его не прель-

щают. «Как кратко, — восклицает Розанов, — в христианстве, как бледно венчание, как краткоречивы и торопливы иоловедь и причастие. Но человек умирает и вдруг христианство выростает во всю силу: какая песня, какие слова, какая мысль и, повторяем, поэзия».

Умиляясь перед личностью Льва Толстого, В. Розанов не находит высшего для него комплимента, как сравнить его с истинным израильтянином. «Вся литературная деятельность Толстого, — пишет он, — вытянулась в тонкую и осторожную педагогику около «семьи» и «яслей», «Вифлеемской» стороны нашего бытия, но во всяком случае в направлении, абсолютно полярном Голгофе. Еще замечательно: похорон он нигде не описал, да и сам, как человек на шестом десятке лет, точает, ничтоже сумняшеся, сапоги: истый Израильтянин с шилом и около Ревекки». (В. Розанов. «В мире неясного и нерешенного». СПБ. 1904).

«У нас пол, — пишет Розанов, — есть моя частность, через Ветхий Завет пол каждого и каждый есть сокровище Израиля. Эта моя принадлежность к такому товариществу сладка, ибо крепкой мышцей держит меня не за горькое и болящее, а держит сладостью и за сладкое. И чем оно меня здесь крепче держит, чем я связанные, подневольнее, тем более во мне развивается теплая приятность. Вот союз и тайна Израиля».

«Здесь узел понимания его, еврейство отчуждено, например, от других племен, как первые муж и жена несколько отчуждены, отрезаны от другого мира. Мир содрогается от этого изма евреев. Не удержитесь и загляните внутрь его, это эгоизм своего ложа, не разделенного с другим, эгоизм в сущности величайшего целомудрия, как бы разливающегося на все дела и отношения. Нет вас для меня, есть возлюбленный жених — мое племя, возлюбленная невеста, заплеванная миром Хайка, которой пребуду верен и с ней в роды и роды».

Можно, конечно, спорить о том, верно ли изобразил здесь Розанов то, что он считает «узлом»; но сомнения нет, что в этих словах «известного антисемита» Розанова большие глубины и оригинальности в подходе к еврейской проблеме, чем в писаниях многих философов.

Когда в петербургском религиозно-философском обществе известный поэт и писатель, крещеный еврей Н. Минский, выпячивая свое свеже испеченное христианство заявил, что древние евреи отличались нетерпимостью и жестокостью и в доказательство привел избиение евреями камнями согрешив-

ших девушек, Розанов выступил, взволнованно доказывая, что подобное явление могло быть у евреев только редким исключением. «А общим и настоящим явлением был там брак, долгий и верный, чистый и святой... Это было великое учреждение. Вот что значит истинное человеколюбие, выраженное в законах, в противоположность прописному человеколюбию, о котором нам говорят в проповедях и от которых никому не тепло и не холодно».

«Кого же побивал Минский в Ветхом Завете? — спрашивал Розанов. — Израильяне весело бы ответили ему: «на что нам любовники, когда у нас преизбыточествуют мужья?»

В. Розанов был человеком глубоко религиозным. Но религия его вся была проникнута мистико-пантеистическим характером. Все его искания, взлеты и падения, все это было связано с мыслию о Боге и о молитве... «Выньте из самого существа мира молитву, — говорит он, — сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучились словам ее, самому делу ее, существу ее, чтобы я этого не мог, и я с выпущенными глазами и с ужасным воем выбежал бы из дома и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить. Без молитвы безумие и ужас».

Но жаркие молитвы Розанова неслись к Богу-Отцу. Ему он оставался всегда покорен и верен. Иное дело Бог-Сын-Христос. С ним Розанов всегда находился в борении. Не в силах навсегда отвернуться от Христа, постоянно о нем думая и к нему возвращаясь, он, однако, никогда не мог принять его с крестом и Голгофой, и его неудержимо вновь тянуло к ветхозаветному иудаизму, создавшему и богоугодную и счастливую жизнь на земле. Я не могу здесь входить в рассмотрение огромной темы, поставленной Розановым, меня интересует только та ее сторона, которой она прикасалась к иудейству и заставляла Розанова прославлять ее и тянуться к ней.

Чтобы охарактеризовать настроения Розанова, заставлявшие его отходить от Христа и противопоставлять ему иудейство — так, как он его понимал, я приведу лишь выдержку из слов известного русского писателя, верующего христианина, близко знавшего Розанова, Д. Мережковского:

«Послушайте, Василий Васильевич, заметил я ему как-то после яростных нападок его на Христа, которые могли бы казаться кощунственными в других устах, но Розанов никогда не кощунствует, — ну, а если бы вы увидели пред собой живого Христа, ведь вы бы не посмели прямо заглянуть ему в глаза?

— Посмел бы, видит Бог, посмел бы: я ему и в лицо сказал бы все, что вам говорю». И такая сила была в этих словах, что Мережковский подумал: кто знает, а пожалуй, с негосталось бы.

«Я знаю, признавался как-то Розанов в глубокой и сердечной беседе, я знаю, как бы я ни нагрешил, чего бы ни сделал, Бог меня всегда любит и никогда не покинет.

— За что же Бог вас так любит?

— За то, что я простой и добрый человек. А

— Христа не любите?

— Не люблю.

— Почему?

— Потому что он мне кажется и не простым и недобрый»
(См. Д. Мережковский, «Не мир, но меч». СПБ. 1908).

Эти слова, написанные таким христианином, как Мережковский, показывают, как глубоко и далеко зашло христоборство Розанова. А его христоборство было тесно связано с его тяготением к иудаизму... Ту нелюбовь к конкретному, ближнему человеку и его земному счастью, которую он отмечал у Христа, и ее осуждал, он брал с положительным знаком у древних евреев и противопоставлял Христу.

Отрекаясь от Христа, Розанов порой сам пугался своей дерзости и начинал неистово откращиваться от еврейского искушения и наваждения. Так, когда он выпустил свой знаменитый «Темный Лик», где он подвергал страстной и пристрастной критике христианство и доказывал, что Христос испортил людям жизнь, он сам вдруг испугался этой своей дерзновенности и, в особенности, когда он увидел или, вернее, когда ему показалось, что он увидел, что будто бы его приятели евреи чрезвычайно обрадовались этой книге. З. Гиппиус в своих воспоминаниях рассказывает со слов Розанова, что после того, как появилась его книга «Темный Лик» — «как зачавкали губами,—рассказывает Розанов,—и идеалист Борух («Борӯх» это небезизвестный в то время еврей-философ Б. Столпнер) и такая милая Ревекка Ю-на, друг нашего дома, когда прочли «Темный Лик», тут я сказал себе: назад. Страхись (о моем отношении к евреям)...»

Но вернуться назад к христианству и преодолеть соблазн иудаизма Розанов не мог, так как это находилось в нерасторжимой связи со всем его мироощущением.

Он мог вымешивать на евреях современных свое увлечение древним иудаизмом, мог запускать в них грязной антисемит-

ской статьей, которой, впрочем, не придавал особого значения, как и вообще газетным статьям, но затем опять отходил и начинал умиляться мудрости, простоте и доброте ветхозаветной жизни.

Человек религиозный, насквозь русский, выросший в русском бытовом православии и сросшийся с ним, Розанов напрягал все усилия ума и души, чтобы оставаться верным Христу и каждый раз кончал бунтом против «темного лика». Христианские писатели подвергли розановскую концепцию христианства в «Темном Лике» резкой критике. Они восстали против его нападок на Христа. Но еврейские писатели подвергнут розановское прославление иудаизма тоже справедливой критике, поскольку они вообще обратят внимание на Розанова, чего они до сих пор не делали, к сожалению. В еврейской литературе имя Розанова совсем неизвестно, или связано с представлением об «известном русском антисемите».

В. Розанов тонко подметил и очень ярко изобразил всё различие между мироощущением и богосозерцанием христианства и иудейства. Но он при этом рассматривал всю ветхозаветную жизнь еврейства, как какой-то завершенный процесс, как какое-то остановившееся и недвигающееся вперед совершение блаженной, и Богу и человеку угодной жизни. На самом деле еврейская жизнь представляла безостановочный творческий процесс и всегда была полна движения и искания. С точки зрения Розанова, не понятны все обличительные, страстные речи еврейских пророков, всегдашнее напряженное искалье, ожидание мессии, весь, и этический и социальный пафос проповедей пророков и наконец, борьба евреев с несправедливостью жизни человека на земле. Все это яркие показатели того вечного стремления евреев к новым достижениям моральной и социальной жизни. Все это очень далеко от того застывшего и остановившегося жизненного блаженства, которое Розанов видит в древнем еврействе. При этом Розанов, высказав ряд очень ярких и оригинальных мыслей о роли эроса во всем религиозном и житейском миропонимании, благословленной Богом сексуальной и семейной жизни и тут, однако, впал в односторонность и забыл о чрезвычайно характерном и сильном аскетическом элементе в еврействе и стремлении подняться к горным вершинам над земными заботами.

Одна из больших заслуг Розанова заключается в том, что он в противоположность Соловьеву, Бердяеву и другим благожелательным к еврейству христианским писателям, стра-

стно доказывает, что еврейство не ошиблось, не заблудилось, не принял Христа за ниспосланного ему и так долго жданного, но не узнанного Мессию. Розанов доказывает, что еврейство знало, что делает, отказываясь признать в Христе жданного и желанного Мессию. Хорошо или плохо было учение Христа, но во всяком случае оно требовало от еврейства отречения от всего миро- и богопонимания. И Розанов, конечно, прав, ярко подчеркивая все неустранимое различие между христианством и иудаизмом.

В своем «Апокалипсисе нашего времени» Розанов наспех записывает отрывистые строки, вкладываемые им в уста еврейского народа, обращающегося к Христу:

«Ты (Христос), — говорит здесь Розанов, — дал все унижение и взял себе всю славу. И вот, неужели ты не понимаешь, почему на тебя восстал праведный Израиль? Он восстал, понимая «что что-то не то». Что «не то?» Да похулил созданье Божье, ты более всего похулил, похулил особенно и страшно — отца Иеговы. И он не понимая «что» и «за что», восстал на тебя. Вот разгадка, вот разгадка, вот разгадка». В этих отрывистых и не очень вразумительных строках Розанов подчеркнул еще раз свою мысль, что еврейский народ инстинктивно понял, что Христос принес ему «что-то не то» и отверг его учение. И Розанов заканчивает словами, обращенными к Христу же:

«Вообще все очень мило в твоем создании, поистине особом создании, особом от Отца. Люди более не посягают, не любят, не множатся. Все слушают тебя, как бедная Мария. О, бедная, бедная...»

И, конечно, Розанову был гораздо ближе и родственнее образ обо всем хлопочущей Марфы, чем образ бедной, бедной Марии, слушающейся и слушающей покорно проповеди Христа о жизни не от мира сего.

Повторяем, Розанов очень односторонне осветил еврейство, но эту одну сторону он осветил чрезвычайно ярко и оригинально и показал, что в учении и быте древних евреев были заложены великие начала для развития человечества по пути гармонического сочетания земного и духовного, по пути обретения счастья на этой земле.

В. Розанов умер в Сергиевом Посаде 22 янв. 1919 года. Он умирал долго, тяжело, жестоко голодая и холодая в самом прямом жестоком смысле слова. Страшно читать его последние письма и вечным укором лежит на русском обществе эта

голодная смерть необычайно оригинального и талантливого русского писателя, которого не сумели уберечь и просто прокормить в эти страшные годы России.

В своих последних письмах он пишет: «Полное отчаяние... Мы гибнем... Ради Бога, помохи. Ради Бога, спасите. Беда. Лютая беда. Ради Бога...»

Но, голодая и погибая в условиях ненавистной ему революции, в которой по его убеждению евреи сыграли такую большую и печальную роль (еще в 1915 г. в «Опавших листьях» Розанов говорил, что евреи губят и погубят Россию), он перед лицом смерти вновь глубоко задумывается над «тайной Израиля» и его вновь неудержимо тянет к себе древне-библейская жизнь и ему вновь начинает казаться, что это она разрешила вопрос, о том, как должен жить человек, ведя жизнь праведную и не мучая себя вопросами Креста и Голгофы. Незадолго до смерти он пишет своему другу, христианину Э. Голлербаху: «Есть гениальный иудаизм, пророки, весь Ветхий Завет и Иов и Руфь. Это уже не реклама, а глубина и поэзия». (Письма Розанова к Голлербаху, Берлин. 1922).

«Историки ни о чем не подумали, пишет он там же, а Розанов догадался, что то, что в Афинах было тенью, в Иерусалиме было существом, что собственно за спиной Иерусалима держало весь античный мир, все эти Баалы, Астарты, Дионисы и прочая дребедень».

И он пишет своему издателю Ховину: «Я решил стать великим в евреях».

Когда смерть уже закрывала глаза Розанова, перед ним всплывали соблазнительные картины «гениального иудаизма», нарисованные Библией и манящий образ «древнего израильтянина около своей Ревекки» и газетные антисемитские статьи, которыми он грешил, должны были ему представляться жалкой суетой сует.

Я привел лишь отдельные места из писаний Розанова по еврейскому вопросу, их можно бы было сильно умножить, как по линии антисемитских рассуждений, так наоборот, и из области восторженного прославления иудаизма.

Это резкое противоречие у одного и того же писателя, заставило многих говорить о двурушничестве и неискренности Розанова. Но вопрос этот гораздо сложнее. Если вдуматься глубже, то убеждаешься, что Розанов был искренен и тогда, когда писал антисемитские статьи и тогда, когда прославлял «гениальный иудаизм». Ведь это прославление ему ничего,

кроме неприятностей, не приносило. Евреи отворачивались от него за его безобразные антисемитские статьи и не читали его произведений, в которых он так превозносил иудаизм. Христиане же за многие его мысли считали его вероотступником. У самого же Розанова эти два противоречивых взгляда на еврейство мирно уживались потому, что проходили, так сказать, по разным плоскостям его души. Он несомненно самым искренним образом не любил и даже ненавидел современных евреев за их, как он считал, разрушительную роль в Европе вообще, а в России в особенности. Они его интересовали и притягивали лишь постольку, поскольку в современном еврее, в его крепком семейном быту, в его верности заветам древнего еврейства, просвечивала Библия, просвещивал Ветхий Завет. Вероятно, он ничего не имел бы против, чтобы все евреи исчезли с лица земли, но при условии, что христиане прониклись бы той соблазнительной гармонией тела и духа, пола и Бога, которая рисовалась ему в таких привлекательных красках в старозаветной жизни евреев и которую он считал разрушенной учением Христа, «испортившим человечеству» жизнь, так чудесно налаженную Богом-отцом у евреев. Он хотел бы, чтобы люди жили по Ветхому Завету и были гармоничны, счастливы на земле, как древние евреи, и не слушались бы тех заветов Евангелия, которые «портят» человеку жизнь и стремятся превратить его в существо не от мира сего. Розанов несомненно завидовал евреям в том, что жили они по ветхим заветам Бога-отца, которому он всю жизнь оставался верен, а христиане устроили свою жизнь по новому завету Бога-сына, т. е. Христа, с которым он так мучительно боролся.

П. Берлин

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ОТЕЦ ВАСИЛИЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ

5-го августа в Париже скончался декан Парижского Богословского Института отец Василий Зеньковский. Умер о. Василий после долгой и тяжкой болезни, как праведник. В похоронах его приняли участие епископы различных православных церквей. На панихидах и отпевании его оплакивали бесчисленные друзья. Присутствовали и представители инославных церквей.

Имя о. Василия стало в последнее время известно по всему миру, всем интересующимся русской мыслью, ибо его двухтомная «История Русской Философии» вышла на трех языках и была даже переиздана в Советском Союзе, хотя чтение ее разрешено на нашей родине только партийным. Однако, слава о. Василия в Православной Церкви в Европе была меньше всего связана с этой его книгой. Его знали как человека, обладавшего исключительными духовными качествами, как одного из самых значительных церковно-общественных деятелей, замечательного ученого и писателя.

Сейчас об о. Василии пишется много статей. Не сомневаюсь, что вскоре выйдут о нем и книги. По просьбе редакции «Нового Журнала» я могу высказать только самые общие мысли об о. Василии. Я знал его больше 35-ти лет. В течение 10 лет он жил в одном со мной доме и приходил ко мне два раза в день, к завтраку и обеду. Разумеется, начиная с двадцатых годов, я читал все его произведения. Со мной и со всей моей семьей он был связан узами глубокой дружбы.

По происхождению своему он был с Украины, из Подольской губернии; гимназию кончил в Киеве; там же окончил историко-филологический и естественно-математический факультеты. По самосознанию он был русским украинцем, т. е. считая себя украинцем, он в самом украинском народе видел ветвь и неотъемлемую часть русского народа. Враждебное противопоставление русского украинскому было ему совершенно чуждо. Говорил он по-русски, хотя и с типично южно-русским акцентом.

Отец Василий был чрезвычайно предан своей семье. Всю свою жизнь он самоотверженно помогал своим родным, особенно матери, которая оставалась после революции в России. Ради помощи ей он однажды продал всю свою библиотеку; кроме книг у него никогда ничего и не было. Он, вообще, всегда жил в бедности, не жалел денег, когда они у него бывали. Тем не менее у него всегда было достаточно средств (хотя и в обрез!) и на пропитание, и на покупку 2-3 книг в месяц, и на лечение, и на поездки, и на подарки, которые он неизменно делал всем своим друзьям, и на помощь нуждавшимся близким и дальним. Одевался он легендарно бедно, жил в комнате убого обставленной, никогда не имел даже квартиры. В его жизни, как и в жизни многих других верующих, исполнялось на деле обетование Христа, что «ищущие Царство Божие» будут иметь всё для них необходимое.

Отец Василий не только лично был привязан к своим родным, но и вообще был убежденным почитателем семейного начала. Он считал семью великим благом, видел в ней естественную, дарованную Богом, полноту жизни; радовался всякой хорошей свадьбе, всякому новорожденному, с охотой крестил, любил посещать семьи и быть в семейной атмосфере. Он постоянно старался помогать семьям, улаживать семейные нелады.

С такой же трогательной заботливостью, как к родственникам, отец Василий относился и к старым школьным товарищам.

Отец Василий был оставлен при Киевском университете, но магистерскую диссертацию защитил в Москве в 1915 году. Она была написана о психической причинности и, насколько я знаю, остается лучшей работой на эту тему в русской, если не в мировой науке. К сожалению, книга эта мало известна, является сейчас библиографической редкостью и не переведена на другие языки.

С самой молодости о. Василий принимал участие в общественно просветительной деятельности.

В первые годы революции он неожиданно стал министром исповеданий у гетмана Скоропадского. К этому побудил его не украинский сепаратизм и не политикачество, но желание помочь церкви. Опыт быстро кончился. С тех пор о. Василий не принимал никогда деятельного участия в политике.

В эмиграции отец Василий был сначала профессором в Белграде, потом переехал в Прагу, где основал Русский Пе-

дагогический Институт. В 1925 году он приехал в Париж в связи с основанием там Богословского Института. В Париже он жил все последние 37 лет своей жизни. Впрочем, о. Василий часто отлучался из Парижа по многообразным своим делам; в 1926 году он провел несколько месяцев в Соединенных Штатах. Путешествовать он любил, тем более, что мог говорить по-французски, по-немецки и по-английски.

Заграницей жизнь отца Василия делилась между церковно-общественной и ученой деятельностью. Как общественник, отец Василий принадлежал, условно говоря, к демократическому типу. Если бы в России установился демократический строй, вполне вероятно, он был бы одним из виднейших его представителей. Он не навязывал своих идей или мнений другим, не требовал послушания, не предавал исключительного значения дисциплине, но умел, как никто, объединять единомыслящих, сглаживать разногласия и проводить то, что он считал нужным, путем уговоров, словоров, переговоров и, так сказать «парламентских маневров». К тому же, от обществ, которыми он руководил, он никогда не требовал большего, чем они, по его мнению, могли в то время принять и осуществить. Если он встречал решительное несогласие, он уступал с огорчением, но без ссоры. Отец Василий не был «демократом» в том смысле, чтобы признавать большинство всегда правым; он даже считал вполне допустимым обойти большинство и добиться своего окольным путем. Но он признавал неизбежность разногласий и противоречий и не умел и не хотел не только принуждать, но даже слишком настойчиво понуждать или осуждать инакомыслящих.

В этом была и его сила и его слабость: сила, потому что он мог сотрудничать и с людьми, с которыми во многом существенно расходился; слабость потому, что его руководству не доставало последней четкости и энергии, и его сторонники неоднократно с горечью жаловались, что он, по их мнению, слишком легко уступает противникам. Если бы отцу Василию было свойственно больше твердости и больше воли к борьбе, он занял бы в Церкви не только то большое место, которое он занимал, но и великое место. Но тогда он перестал бы быть отцом Василием, каким мы его знали, т. е. человеком исключительной мягкости, желавшим и умевшим быть в дружественных отношениях со всеми, кто только этого хотел.

Общественная деятельность отца Василия распространялась по меньшей мере на десяток разных организаций. По-

всюду он был благожеланным членом, руководителем и советчиком. Но больше всего он был занят Христианским Движением и Богословским Институтом.

Русское Христианское Студенческое Движение не было в России основано отцом Василем, но заграницей оно возникло при ближайшем его участии и почти сразу было возглавлено им, как бессменным его председателем. Движение только частично было студенческим: оно включало в себя интеллигентных людей всех возрастов. В Прибалтике оно начало привлекать и крестьянскую молодежь. Повсюду организовывались «юношеские группы» для лиц до-студенческого возраста. Отец Василий говорил, что все члены Движения студенты, потому что они стремятся к просвещению.

Движение было в сущности организацией православной интеллигенции, разростающейся постепенно в объединение деятельно-настроенных православных мирян. В двадцатых годах интеллигенция, как тогда говорили, возвращалась в Церковь. Те, кто были уже верующими, стремились осознать свою веру и принять более деятельное участие в церковной жизни. Движение заграницей началось в пасхальном восторге сознательного приятия веры и Церкви. Расплывчатая религиозность была преодолена признанием Церкви, как основания жизни.

Отец Василий сделал все возможное, чтобы утвердить эту идею. Он сам говорил мне, что прошел через сомнение в вере в гимназические годы, но уже юношей он стал сознательно верующим. С тех пор, до принятия священства он несомненно прошел долгий путь религиозного развития, в котором, однако, не было никаких кризисов. Корни его религиозности были с одной стороны в семье и в церковном быте, с другой — в религиозной философии и вообще в религиозном гуманизме. Несмотря на распространение либерализма и атеизма, корни христианства были всегда очень глубоки в русских душах. Возвращение к вере не было в этом отношении удивительным. Более неожиданным была любовь к церковному быту, которая стала даже предметом философствования у людей поколения отца Василия. Вспомним теории «бытового исповедничества» и прославление быта, как особенно дорогого и близкого русскому Православию! Отец Василий не особенно увлекался этими идеями, но формы церковной жизни принимал без колебаний, с любовью и не без умиления.

В христианском гуманизме, несомненно, заключалась сущность русской классической культуры. Не мудрено, что люди воспитанные на ней были открыты вере. Среди русской интеллигенции было, однако, естественное стремление философии осмыслить христианство, и ответом на эту потребность стала русская религиозная философия. К сожалению, славянофильство оборвалось после первого же поколения великих славянофилов, хотя влияние его на русскую мысль никогда не прекращалось и не прекратится. Либеральная интеллигенция не могла быть особенно расположена к славянофильству: оно было для нее слишком традиционно и консервативно. Поэтому она скорее склонялась к соловьевской школе с ее неопределенным эклектизмом и расплывчатой эrotической мистикой, которая с последних лет девятнадцатого века входила в моду по всей Европе. Сама русская литература, до того бывшая столь трезвой, попала в плен к этой мистике.

Отец Василий прошел через влияние соловьевской школы. Он освобождался от него с каждым годом, но никогда открыто не порвал с ним. Так, например, хотя он и не соглашался с богословием о. Булгакова или с философией Бердяева, но он никогда открыто не отмежевался от них... В личной религиозной жизни отца Василия западническая религиозная философия не имела слишком большого значения; он только считал своим долгом, особенно до сороковых годов, благожелательно относиться к самым разным идеям и не осуждать никого за заблуждения; во второстепенном он сам иногда держался мнений, чуждых православному Преданию. Но во всем существенном он уже и в двадцатых годах жил церковным Православием и звал именно к нему, а не к каким бы то ни было религиозно-философским, эстетическим или психологическим теориям, даже если он сам их отчасти ценил.

Между 1925-м и 1935-м годом Движение работало необычайно успешно. В Прибалтике оно продолжало расти до самой второй мировой войны. Оно приняло там более простую, народную и бытовую, более эмоциональную и сентиментальную форму чем оно имело среди русской эмиграции в Западной Европе. В то же время на родной почве оно было крепче и жизненнее чем в искусственных условиях эмиграции. Опыт прибалтийского Движения, мне кажется, может служить примером того, какой успех, форму и силу могло бы иметь религиозное движение мирян в России при наличии настоящей религиозной свободы.

Однако в Западной Европе Движение, начиная с середины тридцатых годов, пережило настоящий упадок. Причина его была не случайна: в эмигрантское Движение было включено много разнородных до несовместимости направлений. В Движении было правое крыло, в котором ген. Миллер, глава Белой Армии, похищенный впоследствии большевиками, был далеко не из самых правых. Тогдашнее младшее поколение не только впадало в романтический монархизм, но увлекалось и фашизмом и крайним национализмом тоталитарного типа. Людям этого направления не хотелось, тем не менее, порвать с верой; часть из них ушла из Движения в разные, так называемые, национальные организации, но часть осталась, вызывая бесконечные споры, с которыми отец Василий не умел справиться.

Было в Движении и левое крыло сознательных сторонников религиозного свободомыслия и прогрессивных идей. Вождем его был Бердяев. Все это крыло откололось от Движения и образовало новую организацию, почему-то названную «Православным Делом», хотя среди членов его защита чистоты Православия громко осуждалась.

Отца Василия и справа и слева осуждали за «мягкотельность». Справа еще подозревали в тайной левизне и масонстве. Небезынтересно, что отец Василий всегда считал себя монархистом, хотя и конституционным.

На самом деле, та «широта», на которой было первоначально основано Движение, была просто не жизненна. Отец Василий, вероятно, это понял, но не любил открыто признавать. Он был убежденным сторонником аполитичности Церкви. Но если Церковь выше всего мирского, то она должна объединять людей прежде всего в чисто-религиозном плане. Движение было постоянно занято темами государства, культуры, современных идеологий; следовательно оно могло сохранить единство, только достигнув хотя бы относительного единомыслия в этих вопросах. Поскольку это оказалось невозможным, наиболее непримиримые в идеологических вопросах должны были уйти... Отец Василий здесь не проявил достаточного ясновидения и последовательности: он был горячим проповедником идеи христианизации и оцерковления всех сторон человеческой жизни, но если такое оцерковление возможно и желательно, оно должно привести к общим решениям главных вопросов жизни; христиане тогда должны объединиться не только в вопросах богословия, но и в понимании всех существенных форм жизни. Вместе с тем

отцу Василию казалось возможным одновременно звать людей к конкретному, воплощенному в мире христианству и допускать самое широкое разномыслие.

Так или иначе, Движение в эмиграции в конце тридцатых годов к немалому огорчению отца Василия стало ослабевать. Война нанесла ему повсюду страшный удар. В Прибалтике оно было разгромлено большевиками; главные руководители его мученически пострадали за веру; при немецкой оккупации группа движенцев старалась помочь возрождению церквей в России. На Западе Движение было закрыто немцами; сохранилась только движенская церковь в Париже. Движенцы по возможности поддерживали между собой личную связь.

Вторым большим делом отца Василия был Парижский Богословский Институт. В свою очередь, он не был главным его основателем, но быстро стал одним из его «столпов». Преподавал он философию, психологию, педагогику, апологетику и историю религии. Все эти курсы были сравнительно краткими и отец Василий читал свои курсы быстро, кратко, почти-что сухо. Главное значение его в Институте было не в лекторстве. Во-первых, он имел большое личное влияние в совете профессоров; благодаря его мудрости и умеренности влияние это было ценным и положительным. Во-вторых, он больше всех заботился о финансовом благосостоянии Института: хлопотал о деньгах, составлял бюджет, следил за его проведением в жизнь, иногда бывал арбитром в решении деликатных финансовых вопросов. И в Институте отец Василий старался всем — профессорам и студентам — делать добро. Но почему-то он не уделял достаточного внимания студентам Института; вероятно, это происходило из-за его занятости; он жил далеко от Подворья; к тому же по должности он не был обязан заниматься жизнью студентов.

Парижский Богословский Институт имеет большое значение в истории православного богословия. Он сохранил русскую богословскую школу в то время, когда она была разгромлена большевиками. Он дал Церкви много пастырей и ряд ученых. Богословское образование в Америке существует в значительной мере благодаря бывшим профессорам Парижского Института. Все это не исключает, к сожалению, и отрицательной стороны дела. В Парижском Институте почти не было профессиональных богословов старых русских академий. В силу этого Институт не был, строго говоря, прямым преемником русского богословия. Случилось так, что боль-

шинство профессоров Института были раньше профессорами в светских школах и преподавали не богословские предметы. По направлению мысли они в большинстве принадлежали к соловьевской и либеральной, западной школе. Часть профессоров продолжала православную богословскую традицию; часть была настроена более или менее умеренно-либерально; некоторые же или развивали явно неправославное учение или уклонялись в такого рода политические выступления, которые вызывали недоумение в русском обществе.

Ректор Института, митрополит Евлогий, и большинство профессоров заняли в возникавших по этой причине конфликтах примирительную позицию. Институт так и продолжал существовать в некой богословской нейтральности; тверже была его политическая линия. Отец Василий всецело примкнул к большинству, что соответствовало мягкости его характера, но трудно видеть в этом заслугу.

Несмотря на свою непомерную общественную нагрузку, отец Василий никогда не забывал ученого труда. В двадцатых и тридцатых годах он написал три больших книги* и множество статей на самые разнообразные темы. Какова бы ни была его тема, он подходил к ней с религиозной точки зрения... Отец Василий обладал огромной эрудицией благодаря исключительной, широкой любознательности и трудоспособности. Он прочитывал по несколько книг в месяц, делая выписки и заметки. Некоторые упрекали его в том, что он иногда не замечал в книгах наиболее существенных и острых идей. Но по недостатку времени он не мог позволить себе роскоши изучать каждую книгу, и естественно был склонен запоминать в них то, что ему лично казалось важным. Если отец Василий пропускал наиболее заостренные и агрессивные идеи, то потому что не любил ничего агрессивного.

По складу своего ума отец Василий сам себя считал историком. Свои личные мнения и теории он высказывал осторожно и мягко, стараясь найти умеренный синтез уже ранее высказанных идей. Были у него и свои излюбленные идеи, но не относящиеся к самым главным вопросам бытия. Книги и статьи отца Василия полезны и поучительны, но их надо читать внимательно, принимая во внимание некото-

* «Русские мыслители и Европа», «Психология детства», «Проблема воспитания в свете христианской антропологии».

ную односторонность автора и склонность его к смягчению и синтезам, подчас едва ли не эклектическим.

Историзм отца Василия, как он сам его объяснял, заключался в том, что всякое явление он старался понять в исторической перспективе и оценить его столько же с точки зрения Истины, сколько в свете исторической обстановки. Так идеи какого-нибудь автора он оценивал, исходя из его жизни, мировоззрения, задач и того места, которое он занимает в истории. И тут сказывалось общее стремление отца Василия «понять и простить», но абсолютная объективность его суждений от этого страдала, понижалась и его требовательность к людям и явлениям и в прошлом и в настоящем.

В 1939 году, в первый же день войны отец Василий был арестован и без всякого суда, разбирательства дела или даже простого обвинения был заключен в концентрационный лагерь. За него заступались ученые и епископы, но все оставалось напрасным. Вероятно, полиция считала себя в праве расправиться, как ей угодно, с русским эмигрантом. Никто, никогда так и не узнал в чем была мнимая вина отца Василия; потому что вины и не было, а был, вероятно, пустой донос.

В концентрационном лагере отец Василий пробыл около года, и был освобожден оттуда уже при немцах. И в лагере он старался вести просветительную работу и нравственно поддерживать заключенных. Вернулся он из лагеря похудевшим, истощенным, но вполне спокойным. После лагеря ни в характере отца Василия, ни в его жизни не произошло резкого перелома, но вскоре он сделал важный шаг вперед, став священником. Существенная перемена заключалась в том, что из общественного деятеля он стал пастырем Церкви.

С этого времени отец Василий становится углубленнее, сосредоточеннее,тише, смиреннее. Он теряет даже ту свою «общественную умелость», которая в двадцатых годах способствовала его успехам в делах и, вместе с тем, иногда раздражала его друзей и врагов. Он пользуется меньше чем мог бы своим влиянием и упорно отказывается от епископского сана. Этот отказ он объясняет нелюбовью к парадной и церемониальной стороне епископской деятельности, а так же тем, что он и без того служит Церкви, как священник, профессор, декан Института и председатель Движения. Он боится, что в качестве епископа он не сможет отдавать достаточно времени своим прежним делам, за которые чувствовал особую личную ответственность.

Как бы не были убедительны эти объяснения, отказ от епископства был несомненно ошибкой отца Василия. Он не дооценил исключительной важности епископства, особенно в наших условиях жизни Церкви. Церковь пострадала от его отказа.

Отец Василий был почти совершенным пастырем. Он служил отлично, благоговейно и просто в лучших традициях русского духовенства. Проповеди его, как и все его речи, имели иногда один только недостаток — были слишком мягки и деликатны. Но главное достоинство отца Василия было в бесконечной доброте. Несмотря на то, что он занимал такое высокое положение в Церкви и науке, несмотря на крайнюю занятость бесчисленными делами, отец Василий никогда, ни в чем никому не отказывал, если только фактически мог это сделать. Он не только принимал всех и вся, за всех хлопотал, всем помогал, служил для всех требы, крестил, венчал, хоронил, но он готов был тратить и час и два и три для того только, чтобы навестить кого-нибудь на полчаса или отслужить на загородном кладбище панихиду. Он был со всеми беспредельно внимателен и ласков; обращаясь к людям, он любил называть их «голубчик»; никогда никто не слышал от него не только грубого, но даже резкого слова; он любил шутить, но только добродушно, почти по-детски. Терпению его с людьми не было меры; он мог кротко выслушивать десятки раз речи самых нудных и глупых посетителей с их бессмысленными или невозможными просьбами. Хотя он жил один, убого и неудобно, он любил угождать приходивших к нему чаем с вареньем и булками, сам все приготовляя. Многих он принимал только для того, чтобы дать им у него посидеть, душевно отогреться и подбодриться. Я знал целый ряд людей, большей частью пожилых и одиноких, которых он принимал у себя с этой целью ежемесячно. Подарков он делал множество, никогда не забывая ничьих именин или дней рождения; можно было удивляться, откуда у него всегда на это находились средства. На письма он отвечал сразу и сам писал всем охотно.

Отец Василий принадлежал к тем редким людям, у которых на все есть время и которые все делают во-время и никогда не опаздывают. Такие люди очень редко не исполняют своих обещаний. Объяснить это можно не только доброй волей и самодисциплиной, но и исключительной трудоспособностью. Отец Василий работал без преувеличения 16 часов в сутки, не теряя даже и пяти минут времени между двумя

делами или визитами; он мог читать среди шума, в толпе, например, в метро или автобусах. Он не избегал разговоров о людях, иногда судил и критиковал их, но никогда не осуждал и не клеймил. Для него не было «конченых людей», с которыми он отказывался бы иметь дело.

Люди, близко знавшие отца Василия, часто спорили о нем, как о советчике. Все ходили к нему за советами, но некоторые оставались неудовлетворенными полученными от него советами. В громадном большинстве случаев советы его были правильными. Если в них были недостатки то, мне кажется, они происходили или оттого, что у самого отца Василия не было в данном случае личного опыта, как например в вопросах семейной жизни, или от его чрезмерной мягкости и нетребовательности к людям. Многим хотелось получить более резкий и требовательный совет, быть осужденным за свои поступки, недостатки и энергично поощренным на борьбу с собой или на какой-нибудь подвиг. Но отцу Василию действительно не было свойственно клеймить грехи и звать к героизму. Он даже говорил подчас, что мы должны «терпеть» свои грехи, имея ввиду опасность отчаяния или уныния от грехов или бесплодность пустого сетования, к которому мы все так склонны. Что касается подвигов, то он думал, что большинство людей все равно к ним неспособно, а те, кто способны, не требуют особых поощрений. Отец Василий говорил, что никогда ничего не ждет от людей, но благодарен за всякое добро, которое в них находит и сожалеет о всяком в них зле.

Смолоду отец Василий был влиятельным церковным деятелем. Он был в близких отношениях с митр. Евлогием, к которому был близок и по духовному складу. Когда митр. Евлогий стал склоняться в сторону Москвы, отец Василий разошелся с ним, хотя и не порвал личных отношений. После кончины митр. Евлогия отец Василий сделал всё, чтобы утвердить Западно-Европейский Русский Экзархат на прежнем пути. Вскоре он занял высшее для священника место в епархии — председателя Епархиального Совета в сане протопресвитера.

Ученая деятельность отца Василия за последние 20 лет достигла высшего развития. Он писал ежегодно по несколько статей и брошюр. Кроме того он написал книгу о Гоголе, курс «Апологетики» и упомянутую мною выше, прославившую его как ученого «Историю Русской Философии». Последняя книга — плод труда всей жизни отца Василия; в ней он лучше

всего выразил тот «исторический подход», который он признавал особенностью своего мышления. В «Основах христианской философии» он выразил свои любимые богословские идеи. Вообще богословие занимало в творчестве отца Василия все большее место. В книге о Гоголе и в многочисленных статьях о литературе о. Василий запечатлел свой всегдаший интерес и любовь к русской литературе.

Я не могу сейчас дать хоть сколько-нибудь полный очерк ученых трудов и миросозерцания отца Василия. Главнейшей идеей его было без сомнения религиозное основание всякого бытия. В том, что он обычно называл «секуляризмом», т. е. в изгнании Бога и религии из мира и жизни, он видел радикальное зло, чреватое всевозможными бедствиями. Бытие Божие он принимал совершенно, во всей бесконечности его значения. Связующее звено между Богом и миром он находил в идеальных, хотя и искаженных злом, началах, в образе Божием в человеке, во Христе и Церкви. Он знал лучше многих все недостатки церковной иерархии и церковного общества, но он верил в Церковь, как в Царство Божие на земле, хотя и скрытое под мирской оболочкой. В Церкви он видел разрешение всех вопросов жизни и знания. Отсюда его горячая любовь к замыслу оцерковления жизни во всех ее формах.

Все главные идеи отца Василия были вдохновлены христианством в православной его чистоте. Если в его мировоззрении есть недостатки и ошибки, то главным образом по отсутствию в основе его ученой деятельности и мышления целостного богословского образования, т. е. систематического и обстоятельного знания Св. Писания и патристики, литургики, духовной литературы и других форм Предания. Все это отец Василий постепенно изучил не хуже всякого богослова, но все же миросозерцание его выросло из синтеза чистого христианства с секулярной культурой, к которой сам отец Василий относился так отрицательно. Это не могло не отразиться на характере и качестве его творчества. Этот недостаток он разделяет со всем западническим течением русской религиозной мысли, хотя он сам в конце жизни относился к нему более чем сдержанно.

Из сказанного мною, я думаю, достаточно очевидно и для тех, кто не знал отца Василия, что он был большим, замечательным и редким человеком. Но что в нем было наиболее ценно: ученость, общественная деятельность, возглавление Движения, работа в Институте? Без сомнения всего этого было бы уже достаточно, чтобы прославить его. Но почему

он был окружен такой любовью? Почему вся Церковь проводила его в загробный мир так торжественно и трогательно? Не хочу навязывать своего мнения другим, но я лично убежден, что самое ценное в отце Василии была его святость. «Несть человек, иже жив будет и не согрешит». У него были недостатки, ошибки и слабости, но по существу, в особенностях к концу своей жизни, он подлинно стал праведником.

Отец Василий обладал целостной, твердой верой. Он жил верою. У него не только не было колебаний или сомнений, но и в мысли и в делах он никогда не был вне веры и судил себя всегда в свете веры. Вера для него была предстоянием перед Богом, «богопереживанием», и вместе с тем он никогда не отделял живой веры от ее осуществления в жизни. Среди церковных людей так часто встречаешь лицемерие, двоедущие, даже цинизм. Отец Василий жил по вере, сколько хватало у него сил. Отсюда и исключительная преданность его идеи оцерковления жизни. Он не развивал ее только теоретически, не проповедывал ее только другим, но «оцервлял», т. е. старался сделать христианской, прежде всего свою собственную жизнь. В этом отношении его духовному характеру была свойственна, так сказать, «коренная целостность». Как все мыслители он рассуждал о христианстве, но видеть в христианстве только мировоззрение, которое можно законно отделить от своей личной и общей жизни, было ему совершенно чуждо. Ему в голову не приходило, что он может быть христианином по профессии, а не в самой сущности жизни. С такой же точки зрения он рассматривал и все в мире, что не мешало ему видеть немощь и зло мира и иногда относиться к ним снисходительнее многих.

Я много говорил о доброте отца Василия. Обобщая, можно сказать, что доброта и вера определили все отношения его к людям, по слову ап. Павла, что в Иисусе Христе имеет силу только вера действующая любовью. Прибавлю, что отец Василий сам говорил мне, что не может выносить, когда обижают людей. В связи с этим стоит остановиться на упреках, которые некоторые делали ему, что он недостаточно защищал иных друзей от нападков. Справедливость требует сказать, что он, стараясь уладить миром всякое дело, не порывал с «обидчиками», даже если ему не удавалось добиться мира. Готов также признать, что миролюбие затемняло иногда в отце Василии сознание необходимости открытой борьбы со злом.

Отец Василий не был слаб в отношении самого себя.

Он был всегда спокоен и выдержан, а если делал себе поблажки, то самые невинные, не могшие никому повредить. Об этом свидетельствует его терпение и почти сверхчеловеческая трудоспособность. Поэтому, если отцу Василию было чуждо героическое и воинствующее христианство, то не по личной слабости, но по особому складу его души, хотя надо признать, что тут проявлялась в нем односторонность, которая ограничивала ценность и плодотворность его общественной деятельности, поскольку иногда может быть было более правильным открыто бороться со злом, даже ценой разрыва с близкими, чем искать примирения путем компромиссов.

Отец Василий был человеком исключительной нравственной чистоты. Во всей его жизни не было поступка, который можно было бы осудить с точки зрения христианской нравственности, как «нечистый»... Особым достоинством его было искреннее смиление и скромность. Он не любил говорить о себе. Общаясь с отцом Василием, вы никогда не чувствовали, что он занят собой. Он никогда не искал ни славы, ни почета, легко прощал даже самые резкие грубости и обидные нападки на него и предпочитал не защищаться. Простодушно и без всякой злобы он рассказывал мне, как тюремный сторож, когда он был в тюрьме, ударил его за то, что он не убрал постели, как полагалось по правилам.

Хочется упомянуть еще про глубокую любовь отца Василия к культуре. Среди христиан всегда, конечно, было много культурных людей. Но у отца Василия, как в древности у отцов Церкви или в девятнадцатом веке у славянофилов, христианство органически соединялось с высокой образованностью и любовью к культуре. В наше время миллионы людей относятся к культуре или с практической точки зрения или снобистически. Подлинное христианское отношение к культуре основано на убеждении, что в ней творчески отражены та единая истина, добро и красота, которые могут быть ведомы и созерцаемы всеми людьми просвященными Божественной Мудростью и Логосом, хотя бы они даже ясно не сознавали источника своего знания и творческого гения. Культура, поскольку она действительно является носительницей и выражательницей истины, добра и красоты, не может не быть предметом любви и вдохновения для христианина; в эту меру она естественно становится частью жизни христианина, возбуждая и его собственные творческие силы. Таково было отношение к культуре и отца Василия.

Итак, как мне кажется, главное достоинство отца Василия было в том, что сердце его принадлежало Богу, что вера, убеждение и жизнь у него не разделялись. Его личная духовная жизнь и отношение его к людям были подлинно христианскими. Будучи замечательным общественным деятелем и исключительно творчески одаренным и культурным человеком, он отдал всю свою жизнь на служение Церкви. Ограниченностъ его была в его «мягкости», которая проникала все его существо и всю его деятельность и еще в том, что умственно и идейно он вырос не на чистом основании христианства, но на почве, соединившей в себе разнородные элементы русской и западно-европейской культуры. Эту «разнородность» он преодолевал в течение всей жизни, как преодолевал и личные недостатки, чтобы в конце своего земного пути стать истинным христианином и светом правды и любви для всех.

Проф. С. Верховской

Г. Г. КУЛЬМАН

12-го ноября 1961 года в Лондоне скончался Густав Густавович Кульман. Имя его известно многим русским: образ и судьба его были необычны.

Швейцарец по происхождению, родившийся в Голландии, детство свое с 8 лет он провел в Цюрихе, где в 1913 году окончил классическую гимназию. Высшее юридическое образование получил в Цюрихе, Берлине и Берне. В 1918 году ему была присуждена степень доктора юридических наук. Сразу после этого молодой Кульман получил работу по своей специальности, открывающую ему обеспеченную карьеру в своей стране.

Но в его характере были черты, звавшие его на более широкие просторы. И на этом пути главной встречей Густава Густавовича была Россия. Ее он встретил впервые через ту простую и удивительную книгу, которая является не только для него, но и для многих русских ключом к русской человечности. Эта книга была — «Детство и Отрочество» Толстого, которую он прочел лет 12 и ощущил, что в русском мире известные реальности являются «наичеловечными из человечных» и зовут к корню и сердцу вещей. Так через эту повесть о матери, о трепетном детском сердце, Россия позвала его впервые к своей «духовной земле». В особенностях русского духа он как бы провидел то новое, что могло обогатить старую европейскую культуру. И когда в 1918-ом году он услышал об открывающейся возможности работать в YMCA в отделе помощи иностранным студентам в Швейцарии, он бросил свою юридическую карьеру и вступил на новый путь. Среди студентов, с которыми он работал, особенно привлекла его группа русских, оторванных революцией от своей родины. В 1919 году та же организация пригласила его в Америку для изучения американской социальной работы с молодежью. Пребывание в Америке было большим вкладом в жизнь Г. Г. в смысле понимания американского мира.

По возвращении в Европу в 20 году Г. Г. в течение года изучал русский язык, чтобы приготовиться к ответственной

должности секретаря УМСА для развития культурно социальной помощи русским в Европе. В 21 году в Германии, в лагерях бывших военнопленных Г. Г. создал культурные центры, в которых желающие могли завершить профессиональное или университетское образование. Одним из достижений Г. Г. было устройство 1.500 русских студентов в немецкие университеты. Ведя эту работу он близко познакомился с психологией и характером русских людей.

В это время произошло большое событие, по своим последствиям имевшее не только русское значение. Бердяев Франк, Карсавин, Вышеславцев, Степун и другие русские ученые были высланы из России. Кульман сразу понял всю значительность этих людей. Он с вдохновением отдался задаче предоставить им возможность явить себя миру. Было в Кульмане, как в европейце с универсальным образованием, созвучие с представителями «серебряного века» России. Он был принят ими сразу как свой и явился звеном между русскими изгнанниками и зарождавшимся экуменическим движением, представленным такими выдающимися людьми как John Mott. Одним из главных последствий этой встречи было создание русской Религиозно-Философской Академии в Берлине. В эти же годы, во всех центрах русского рассеяния стихийно стали возникать студенческие христианские кружки. Благодаря помощи интерконфессиональных организаций в 1923 году представители этих кружков получили возможность собраться на съезде в Чехии, в Пшерове.

Главными докладчиками были Булгаков, Бердяев, Франк. В Пшерове произошла встреча молодого поколения, в огне и буре революции обретшего свою веру, с представителями старшего поколения, прошедшего сложный путь от марксизма к православию. Это было событием в русской эмиграции. Здесь было положено начало Русскому Студенческому Христианскому Движению. Г. Г. Кульман был под глубоким впечатлением русских мыслителей, и был захвачен литургической жизнью русского православия. Новая деятельность, начавшаяся внутри Движения проходила при непосредственном участии Г. Г. Результаты ее оказались впоследствии широко за пределами эмиграции. Ее плодами было англо-православное содружество, многочисленные интерконфессиональные встречи и наконец участие русской церкви в экуменическом движении.

Центром этой работы стал Париж. В 1925 году Г. Г. принял самое деятельное участие в создании Русского Богослов-

ского Института при Сергиевском Подворье. По его инициативе был основан журнал «Путь», одним из редакторов которого он был в течение многих лет. Этот журнал позволил русской творческой мысли иметь свой орган и распространять свои идеи за рубежом.

Средоточием кипучей работы в Париже стал многим известный дом № 10 на бульваре Монпарнас. В этом доме была как бы духовная лаборатория русской религиозной деятельности: кружки для взрослых, для молодежи, воскресная школа для детей, библиотека, содружества, клуб, летние лагеря, собрания Религиозно-Философской Академии, первые во Франции Экуменические встречи католиков, протестантов и православных, созванных опять таки по инициативе Г. Г. (Маритэн, Бёгнер, Бердяев), наконец создание домовой церкви — во всем этом Кульман был необходим всем и каждому, ведущему ответственную работу. Он одинаково откликался на идеи и жизненные задачи.

Для Рус. Ст. Христ. Движения большое значение имели съезды, собиравшие цвет русского духовенства, профессоров, писателей и молодежи. На них выступления Густава Густавовича были всегда полны блеска и глубины. Его выступления на разных европейских христианских конгрессах и в университетах часто были первым откровением западу о православной церкви. В жизни многих христианских деятелей встреча с Кульманом была духовно определяющей. Г. Г. имел настоящий ораторский талант, говорил ярко, динамично и умел держать внимание самых больших и разнообразных аудиторий.

Наряду со своими идеологическими выступлениями Г. Г. постоянно ездил в Англию, собирая средства для обеспечения русской религиозной работы и читал доклады в богословских школах. В план его деятельности входило также посещение православных в разных странах. Он бывал в Греции, Сербии, Болгарии, Румынии, Прибалтике, Польше и Финляндии. Посетил Афон. Эти поездки углубили его понимание не только русского Православия, но и Православия Вселенского.

Все сказанное относится к первому этапу жизни Густава Густавовича. Второй этап его жизни был посвящен служению человеку уже на иных путях. Отойдя от непосредственного участия в профессиональной христианской работе, он одновременно решился стать членом православной церкви, что и исполнил в 1929-ом году. Это было ответом на тот зов, который он впервые услышал на Литургии в Пшерове. Свою

новую деятельность Г. Г. начал с работы в качестве Директора международного института студенческой взаимопомощи в Дрездене. С этой целью он организовал 2 университетских съезда в Дрездене в 1929-ом году и в Варшаве в 1930-ом году. В 1931-ом году он вступил в секретариат Лиги Наций, в отдел интеллектуального сотрудничества. Тут началась большая ответственная деятельность Г. Г., в которой он применил свое совершенное знание четырех языков, знакомство с различными европейскими культурами, свои организаторские способности и умение находить точные формулировки юридических и философских проблем.

Во время своей работы в Лиге Наций Г. Г. продолжал читать лекции в разных странах мира. Приглашался в Англию, Америку, Южную Африку и Индию.

В 1936 году к его деятельности прибавляется работа с беженцами. Эта жгучая проблема современного мира постепенно занимает центральное место в жизни Г. Г.: он назначается представителем Генерального Секретариата Лиги Наций для связи с Нансеновским офисом и Верховным Комиссаром по делам беженцев из Германии.

Когда в 1938 году эти два рода беженцев — старых эмигрантов и новых из Германии — были соединены в одну группу, Верховный Комиссар, возглавлявший эту организацию, пригласил Кульмана быть его помощником в Лондоне.

Это назначение совпало с трагическими годами мировой войны, когда особо страшная участь выпала на долю евреев. Густав Густавович с большой жертвенностью посвятил себя служению помощи им.

В 43 году он взял на себя особенно ответственную миссию ехать из Лондона через оккупированную Францию в нейтральную Швейцарию для спасения человеческих жизней. Его задача была установить возможность эмиграции евреев из Германии и оккупированных стран. Помимо Швейцарии он с той же целью два раза посетил Португалию.

По окончании войны в категорию беженцев вошли новые национальные группы, произошло небывалое в истории, миллионное «перемещение лиц».

Чтобы разрешить эту мировую проблему, создавались новые международные, государственные организации, сменявшие одна другую. Во всех них участвовал Кульман, принося свой единственный опыт и знания вопросов эмиграции, накопленные с 20-х годов. Велики его заслуги в юридических форму-

лировках международных соглашений в целях защиты положения беженцев. Особенno много сил и труда он вложил в создание новых паспортов для эмигрантов. В окончательно образовавшейся организации верховного комиссариата для беженцев в Женеве при Объединенных Нациях — Кульман сделался главой юридического отдела.

Характерной чертой его работы было при ясном юридическом уме, отсутствие всякого бюрократизма, — умение за проблемами большого масштаба — видеть отдельного человека. Много найдется людей в разных частях земного шара, которые, ведая то или не ведая, обязаны устройством своей судьбы Густаву Густавовичу.

Он служил людям своим умом, волей, а главное сердцем. Во всю свою деятельность Г. Г. всегда привносил это сердце. Но на здоровье его эта изнурительная работа сказалась. Уже с войны его силы были подорваны, но неотложность задач, стоявших перед ним, не позволяли ему ослабить свою работу.

Однако в 1953 году, по настойчивому совету врачей он попросил перевода на более спокойную работу. Он был назначен представителем комиссариата Объединенных Наций при английском правительстве в Лондоне. На этом посту он пробыл до 55-го года, когда по достижении 60 лет ушел в отставку. Но и тогда Густав Густавович не остался безучастным к окружающей его жизни. С группой друзей он принял участие в создании международных общежитий для молодежи приезжающей в Лондон со всех концов мира. Он с воодушевлением участвовал в создании Пушкинского Клуба в Лондоне, посвященного вопросам русской культуры. Но деятельность эта вскоре прервалась сердечной болезнью. Болезнь свою он переносил с великой кротостью. Вера, которая была двигателем деятельного периода его жизни, дала ему и силу переносить долгую и тяжелую болезнь. Всегдашняя вера его в Воскресение — привела его к кончине в свете. Он умер в сознании, знал, что умирает, простившись с миром.

Милица Зернова

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В БАКУ

Письмо в редакцию

Глубокоуважаемая редакция,

В № 60-ом «Нового Журнала» были опубликованы письма М. О. Гершензона к Владиславу Ходасевичу. В письме от 28 мая 1921 г. из Москвы в Петербург Гершензон пишет: «Вяч. Ив. в Баку, кажется — замнарком тамошнего просвещения, но сам об этом не пишет. Я получил от него письмо дня 4 тому назад, пишет только, что ездил в Персию...» Из уважения к исторической и биографической точности считаем долгом своим засвидетельствовать, что отец наш, Вячеслав Иванов, никогда и нигде замнаркомом не был.

Увидя это опровержение, Вы, вероятно, удивитесь: письма вышли в 1960 г. Почему же мы целых два года молчали и теперь вдруг вздумали возражать. Дело в том, что на вышеприведенные слова Гершензона мы тогда не обратили большого внимания: нам казалось, что сообщения его не имеют значения, тем более, что он сам снимает с себя за них ответственность предваряющим их — «кажется». Да и мало ли что рассказывали про Вячеслава Иванова! Про него говорили и говорят, напр., что он был префектом Ватиканской библиотеки и кардиналом. Мы, конечно, никогда не занимались опровержением таких легенд.

Но вот недавно мы узнали (в свое время это как-то ускользнуло от нас), что в 4-ом томе Советской Литературной Энциклопедии, в статье о Вячеславе Иванове, написанной Б. Михайловским, говорится следующее: «В. И. с 1921 — в Баку, где был профессором, некоторое время ректором университета и замнаркомпросом Азарбайджанской ССР. С 1924 г. — в Италии.» В настоящее время начинает выходить новое издание Лит. Энциклопедии, вышел уже первый том. В одном из следующих томов о В. И. будет сообщено опять что-нибудь в этом роде. Во избежание повторных ошибок мы думаем, что своевременно и необходимо дать точные справки о пребывании В. И. в Баку.

Осенью 1920 г. мы трое (Вячеслав Иванов, дочь его Лидия и сын Димитрий) получили разрешение выехать на Кавказ. Поселились мы в Кисловодске. А через месяц весь край стал ареной военных действий, и нас эвакуировали в Баку. В Баку В. И. сразу отправился в новообразованный Университет спросить не найдется ли для него работы. Там его ждала радость. Из-за изгнания из Тифлис-

ского Университета всех русских профессоров, в Баку собралась группа настоящих серьезных ученых. В. И. был с восторгом принят тамошними ректором и профессорами. Ему предложили кафедру классической филологии и предоставили помещение в Университете. Ректором был хирург проф. Девиденков. Наркомом Просвещения Азербайджанской ССР был Буниат-Заде, тюрк, человек крепкий, самородок из народа, старый коммунист. При нем состоял замнаркомпросом проф. Томашевский. Томашевский занимал кафедру сравнительного языковедения, был деятельным партийным работником, убежденным коммунистом. В течение четырехлетнего пребывания В. И. в Баку и наркомпрос, и замнаркомпрос несменяя занимали свои правительственные должности. Профессором по классической филологии В. И. был с конца 1920 г. по май 1924 г. Ректором он мог бы быть, т. к. ректор Университета свободно выбирался советом профессоров, но ректором был не он, а проф. Девиденков. Замнаркомом Наркомпроса В. И. не был и никак не мог быть, т. к. все наркомы и замнаркомы были коммунистами, а В. И. членом партии никогда не состоял.

Но если б даже в первую пору революционного хаоса и собирались бы почему-нибудь поручить важную правительственную должность не коммунисту, то всё-же кто решился бы в разгар пропаганды безбожия назначить на пост наркома народного просвещения человека, который во всеуслышанье непрестанно провозглашал свои религиозные убеждения, который на страницах «Записок Мечтателей» в конце 1918 г. утверждал, что Россия только тем спасется, что строит «невидимый храм», там же, тогда же горько жаловался на судьбу, на свою судьбу: «немеет лира безотзвивная в пустыне обезбоженного мира», который (будучи вызван из Баку в Москву, для произнесения речи на торжественном заседании по случаю исполнившегося 125-летия со дня рождения Пушкина) летом 1924 г. в переполненном зале Большого Театра изложил свою старую статью «О ‘Цыганах’ Пушкина» и долго говорил о рабстве злобы и насилия и о «луче религиозной идеи», которая — (она одна) — освобождает человека, очищает, высветляет его сознание, является «заглом его величия».

Мы просим Вас, глубокоуважаемая редакция, эти наши сообщения, точность которых легко может быть проверена по документам, сохранившимся в Баку, опубликовать в «Новом Журнале», полагая, что они окажутся не бесполезными для избежания ошибок в будущих энциклопедиях и историях литературы.

Примите уверения в нашем совершенном уважении

*Лидия В. Иванова
Димитрий Иванов*

УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЯ 12-ти КНИГ

«НОВОГО ЖУРНАЛА»

с 59-ой по 70-ую

(1960–1962)

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ 12-ТИ КНИГ
«НОВОГО ЖУРНАЛА», с 59-ой по 70-ую
(1960—1962)

ПРОЗА

- Берберова, Н.* — Страшный суд, 69.
Бунин, Ив. — Записи, 61. Десятого сентября, 64. Портрет,
«Когда я впервые», 66. Модест, Паломница, 67. Ривьера,
Тучи, 68. Аля, Паломница, 69. Коренной, Лев, 70.
Варшавский, Вл. — Мечтание, 65.
Газданов, Г. — Панихида, 59. Из блокнота, 68.
Давыдов, К. Н. — Тетеревиный ток, 70.
Замятин, Евг. — Мученики науки, 67.
Иванников, М. — Лорд, 67.
Ильинская, Н. — Диана Вашингтонская, 68.
Корвин-Пиотровский, Вл. — Два рассказа, 60. Два рассказа,
62.
Кторова, Алла — Кларка террористка, 63.
Лапикен, П. — Соловей, 66.
Максимов, Сергей — Фома Погребцов, 62.
Мережковский, Д. — Св. Иоанн Креста, 64, 65.
Нижальский, Н. — Фарт, 59. На Араксе, 61.
Пастернак, Борис — Безлюбье, 62.
Петров-Скиталец, Е. — Полет, 61.
Ржевский, Л. — Через пролив, 65. В бинокль, 69.
Саниньян, Сурен — Ксения, 64. Философ, 66. Продажа, 68.
Сапронов, Анатолий — Революция, 66.
Солсбери, Х. — Дело Северной Пальмиры, 70.

- Таубер, Ек.* — Сосны молодости, 59. Чужие, 70.
Темирязев, Б. — Рваная япопея, 59, 60, 61.
Туроверов, Н. — Конец Суворова, 62.
Ульянов, Николай — Сириус, 67.
Штейнгель, П. — Кавказская степь, 63. За дрофами, 66.
Яновский, В. С. — Заложник, 60, 61, 62, 63, 64.

СТИХИ

- Адамович, Георгий* — Отрывок, 59.
Алексеева, Лидия — 60, 63, 68.
Алексина, О. — Стихи из СССР, 70.
Анстей, Ольга — 62. 70.
Берберова, Н. — 59, 67.
Бумаги, В. — 70.
Бунин, И. А. — Из литературного наследства, 59, 60, 62, 69.
Величковская, Т. — 67.
Величковский, А. — 61, 64, 68, 69.
Волин, М. — 70.
Гиппиус, Зинаида — 64, 66.
Глинка, Глеб — 69.
Елагин, Иван — Льдина, 66, 67, 68. Семь стихотворений, 70.
Злобин, Владимир — Из черновой тетради, 63. 66. 69.
Иванов, Вячеслав — 61. Из «Римского Дневника 1944 года», 69.
Иванов, Георгий — Посмертный дневник, 59, 61, 63.
Ильинский, Олег — 60. 64. 66. 70.
Кленовский, Д. — 61, 63, 65, 68, 69.
Корвин-Пиотровский, Вл. — Калифорнийские стихи, 65. Стихи о звездах, 67. Тени, 69. 70.
Лахман, Гизелла — Из Эмилии Дикинсон, 68.
Ляпин, Виктор — 62.
Маковский, Сергей — 59.
Можайская, О. — 59, 69.
Моршан, Николай — Ямбы, 60, 62, 66, 67. 70.

- Одоевцева, Ирина* — 60, Разностопные ямбы 61, 63, 64, 65, 70.
Померанцев, К. — 65, 67.
Реннит, Алексис — 64, 68.
Ростовский, А. — 69.
Смоленский, Вл. — 64, 67.
Стихи из СССР. — 69.
Странник — 62.
Туроверов, Н. — Смерть, 61. Конь, 65.
Форштетер, М. — 61.
Чехонин, М. — Индейские мотивы, 66.
Чиннов, Игорь — 59.
Эмот, Т. С. — Поэмы. Перевод Н. Берберовой, 68.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Адамович, Г.* — Наши поэты (Ирина Одоевцева), 61.
Адсон, Артур — Об эстонской прозе, 70.
Арбатский, Ю. — О Бородине, 68.
Берберова, Н. — Великий век, 64. Ключи к настоящему, 66.
Фон Додерер и его романы, 67.
Вейдле, В. — О ранней прозе Пастернака, 64, Похороны Бло-
ка, 65. Ходасевич издали-вблизи, 66.
Гольдштейн, Д. — Переделка писем Достоевского, 65.
Домогацкий, Борис — Н. А. Малько 66.
Ершов, П. — Толстой-драматург, 63. Символическая лирика
на сцене, 67.
Завалишин, Вяч. — Борис Зайцев (к восьмидесятилетию), 63.
Зеньковский, В., прот. — Л. Толстой как мыслитель, 61.
Зуров, Леонид — «Тамань» Лермонтова и «L'Orgo» Ж. Занд,
66.
Иванов, Вячеслав — Мысли о поэзии, 69.
Иваск, Ю. — Бодлер и Достоевский, 60.
Ледницкий, В. — Л. Н. Толстой, 63.
Лосский, Н. — «Война и мир» Толстого и «Доктор Живаго»
Пастернака, 61.
Лурье, Артур — Вариации о Моцарте, 67. О мелодии, 69.

- Маковский, С.* — К. Случевский, предтеча символизма, 59.
Мацкевич, Иосиф — О «сказочном» времени, 67.
Нароков, Н. — Оправдание Обломова, 59.
Одоевцева, Ирина — О «Ремизове» Натальи Кодрянской, 61.
Офросимов, Ю. — Против течения, 61.
Петровская, Тамара — Об эstonской поэзии, 66.
Плетнев, Р. — Об одном чешском поэте, 60. О животных в творчестве М. Ю. Лермонтова, 65. Негош, Пушкин и Мицкевич, 68.
Раннит, А. — Рильке и славянское искусство, 70.
Таубер, Ек. — «Розы или рожь», 64.
Трубецкой, Н. С. — О двух романах Достоевского, 60. Ранний Достоевский, 61.
Ульянов, Н. — Д. Кленовский, 59. Алданов-эссеист, 62.
Фогельман, Л. — Шолом Алейхем, 59.
Чехонин, Михаил — Ворон, 68.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

- Адамович, Г.* — Мои встречи с Алдановым, 60. Table talk, 64, 66.
Анненков, Ю. — Воспоминания о Ленине, 65. Троцкий, 67.
Аронсон, Г. — Записки провинциального журналиста, 61.
Белобородов, А. — Работа во дворце кн. Ф. Юсупова, 70.
Бенуа, Александр — Письма, 62.
Берберова, Н. — Конец Тургеневской библиотеки, 63.
Бертенсон, С. — В. И. Немирович-Данченко в Холливуде, 60.
Бочарникова, М. — Бой в Зимнем Дворце, 68.
Брешковская, Ек. — Ранние годы, 60. Как я ходила в народ, 62.
Бунин, Ив. — К моему завещанию, 66.
Бурцев, В. Л. — Воспоминания, 69.
Вендзляольский, К. — Савинков и Керенский, 65. Савинков, 68. 70.
Врангель, Л. — «Русское Богатство» и «Мир Божий», 69.
Галин, Н. — Пик Сталина, 67.

- Гершензон, М. О.* — Письма к В. Ф. Ходасевичу, 60.
Давыдов, К. — М. М. Пришвин, 68.
Зайцев, Бор. — Давнее, 61.
Зубов, В., исп. — Страницы воспоминаний, 61.
Зуров, Леонид — Литературное завещание И. А. Бунина, 66.
 Воспоминания, 69.
Иванов, В. И. — Письма к В. Ф. Ходасевичу, 62.
Ильин, И. С. — Комуч, 65.
Иренин, К. — В Хибинах, 68.
Кауфман, Л. — Мой отец — Шолом Алейхем, 66.
Милюков, П. Н. — Дневник, 66, 67.
Муромцева-Бунина, В. Н. — Беседы с памятью, 59, 60, 62, 63,
 64. То, что я запомнила о Нобелевской премии, 67.
N. N. — Дневник разочарованного коммуниста, 64.
Нижальский, Н. — «Кавказский пленник», 60. Рыбий Бог, 62.
Одинцов, Б. — Высшая школа в 1918-22 г.г., 65.
Одоевцева, Ирина — На берегах Невы, 68.
Пастернак, Л. — Из записок, 69.
Петров-Скиталец, Е. — Об отце, 63.
Седых, А. — М. А. Алданов, 64. Бунин, 65.
Цветаева, М. — Письма к Г. П. Федотову, 63.
Черетели, И. Г. — Воспоминания о Февральской революции,
 68, 69.
Штеппа, К. — Ежовщина, 59, 60.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

- Аронсон, Гр.* — С. М. Дубнов, как историк, 64.
Берлин, П. А. — Русские мыслители и евреи, 70.
Билимович, А. — Объединяющаяся Европа, 69.
Бурцев, Вл. — Азеф и ген. Герасимов, 63.
Валентинов, Н. — О предках Ленина и его биографиях, 61.
Варшавский, В. — Заметки о прочитанном, 68. 70.
Вернадский, Г. В. — Повесть о Сухане, 59. Из древней истории
 Евразии: Хунну, 62. Человек и животный мир в истории
 России. 68. Усть-Цилемские рукописные сборники, 70.

- Верховской, С.*, проф. — О Гоголе, 66.
- Гинс, Г.* — О возможностях предвидения и будущем России, 63.
- Давыдов, А.* — Декабристы и крестьянский вопрос, 59.
- Денисов, Б.* — Назад к Ленину? 59. Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум), 63.
- Денике, Ю.* — Вместо комментария, 59. К диагнозу современного кризиса, 61. На темы дня, 63. Труд поработленной мысли, 65. Из европейских впечатлений, 66. За фасадом 22-го съезда, 67. Купеческая семья Тихомирновых, 68.
- Зеньковский, В., прот.* — Мифология в науке, 66.
- Иванцов, Д. Н.* — Легенды о советской деревне, 62. О сельскохозяйственных затруднениях в СССР, 68.
- Карпович, М. М.* — Два типа русского либерализма, 60.
- Кучеров, С.* — Правовой режим космического пространства и СССР, 67.
- Левицкий, С.* — Толстой и Шоненгаузер, 59.
- Марюлин, Ю.* — Интеллигенция в лагере, 62.
- Мережковский, Д.* — Что сделал св. Иоанн Креста, 69.
- Нароков, Н.* — Старые мехи, 62.
- Некрасов, В.* — В. И. Вернадский, 61. Московские чудаки, 64.
- Нижальский, Н.* — Эволюция Павлова, 65.
- Петров-Скиталец, Е.* — Кронштадтский тезис сегодня, 59.
- Поливанов, М.* — Земство и демократия, 67.
- Реймерс, Н. А.* — Логика смысла и логика истины, 69.
- Солнцев, К. П.* — О новом издании Ключевского, 63.
- Станка, Владас* — В. С. Войтинский, 61.
- Степун, Ф.* — Москва — Третий Рим, 60. Россия между Европой и Азией, 69.
- Тимашев, Н. С.* — М. М. Карпович, 59. Вместо комментария, 60. Ломка советской школы, 62. Вместо комментария, 63, 64. Сталинский террор и перепись 1959 года, 65. Судьбы России, 66. Три мнения о России, 68. Два юбилея, 69.
- Троянов, Т. И.* — Новый уголовный кодекс РСФСР, 64.
- Шеман, А., прот.* — Церковь, государство, теократия, 59.
- Шуб, Д.* — Европейский социализм и советский коммунизм, 66.

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги на русском языке

- Г. Адамович* — В. А. Маклаков, 59 (*А. Гольденвейзер*).
Лидия Алексеева — В пути, 63 (*Ю. Офросимов*).
Г. Аронсон — Россия накануне революции, 69 (*Д. Шуб*).
Проф. А. З. Архимович — Растениеводство СССР, 67 (*А. Билимович*).
Н. Белавина — Синий мир, 65 (*Л. Алексеева*).
«Воздушные пути», 65 (*Вл. Варшавский*).
Артур Дж. Гольдберг — АФТ-КПП: Рабочее единство, 69 (*М. К.*).
В. Дудинцев — Новогодняя сказка, 59. (*Роман Гуль*).
Борис Зайцев — Тихие зори, 67 (*Ек. Таубер*).
Е. А. Извольская — Американские святые и подвижники, 60. (*Роман Гуль*).
Олег Ильинский — Стихи, 65 (*Л. Алексеева*).
Книга о русском еврействе, 60 (*Д. Шуб*.).
«Культура» — русский номер, 60 (*Роман Гуль*).
И. Курганов — Нации СССР и русский вопрос, 65. (*Н. Тимашев*).
Ю. Лавриненко — Розстріляне Відродження. 59 (*О. Анстей*).
«Литуанус», 66 (*Влч. Завалишин*).
Ю. Марголин — Еврейская повесть, 66 (*Г. Аронсон*).
Владимир Марков — Гуриевские романсы, 61 (*Ю. О.*).
В. Марченко — Основные черты хозяйства послесталинской эпохи, 67 (*Д. Н. Иванцов*).
С. П. Мельников — Мартовские дни 1917 г., 67 (*Н. С. Тимашев*).
«Мосты», 59 (*Влч. Завалишин*).
Ирина Одоевцева — Десять лет, 67 (*Влч. Завалишин*).
Л. Т. Осипова — Явное рабство и тайная свобода, 64 (*Влч. Завалишин*).
Очерки по истории Первого Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова, 65 (*Юрий Арбатский*).

- H. Оук* — Жизнь и смерть. Современники. Литературные очерки, 66 (*H. Ульянов*).
Борис Пастернак — Собрание сочинений, 67 (*Роман Гуль*).
Л. Ржевский — Двое на камне, 62 (*Вяч. Завалишин*). Показавшему нам свет, 65 (*Роман Гуль*).
Н. Рутыч — КПСС у власти, 66 (*Б. Прянишиников*).
Андрей Седых — Далекие и близкие, 69 (*Вяч. Завалишин*).
Странник — Странствия. 59 (*В. З.*).
Б. С. Тельпуховский — Великая отечественная война Советского Союза 1941-45 г.г., 59 (*Б. Прянишиников*).
Л. Н. Толстой — Христианство и церковь, 62 (*Роман Гуль*).
У истоков русского книгопечатания, 62 (*К. Солнцев*).
Игорь Чиннов — Линии, 65 (*Роман Гуль*).

Книги на иностранных языках

- Geoffrey Bailey*—The Conspirators, 62. (*Б. Прянишиников*).
Robert Vincent Daniels—The Conscience of the Revolution, 64. (*Д. Шуб*).
N. Gourfinkel—Dostoevski, notre contemporain, 67. (*Е. Каниак*).
Dr. Boris Ischboldin—Economic Synthesis, 62. (*Д. Викор*).
Isaac Don Levine—The Mind of an Assassin, 60. (*В. В.*).
J. Mackiewicz—Der Weg ins Niergendwo, 69. (*Ф. Степун*).
The Penguin Book of Russian Verse, 68. (*Вяч. Завалишин*).
Aleksis Rannit—Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis, 65. (*Артур Адсон*).
Leonard Schapiro—The Communist Party of the Soviet Union, 62. (*Д. Шуб*).
Antoni Słonimski—Nowe Wiersze, 59. (*Зоя Юрьева*).
Fedor Stepun—Der Bolschewismus und die Christliche Existenz, 59. (*В. Франк*).
Turgenev in English, 68. (*В. З-и*).

- Andrzej Walicki*—Osobowość a historia, 65. (*Ричард Пајпс*).
Abraham Yarmolinsky—Literature under Communism, 64.
(*Вяч. Завалишин*)
N. Zernov—Orthodox Encounter, 69. (*Н. Тимашев*).

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- Арбатский, Юрий* — Humanitas Heroica, 64.
Билимович, Александр — О бюллетене русской зарубежной печати, 65.
Вельмин, А. — Американская помощь голодающим в Киеве, 59.
Восьмидесятилетие Б. К. Зайцева. (Редакция), 63.
Иванов, П. К. — Н. А. Бердяев и В. А. Тернавцев, 60.
Ивановы Л. и Д. — Вяч. Иванов в Баку (письмо в редакцию) 70.
Ижболдин, Б. С. — Русские историки о татарском иге, 65.
Историк — О предках Ленина. (Письмо в редакцию). 63.
Чернов, В. М. — Из детства, 60.
Шлеман, А., прот. — Умер Пастернак, 60.
Шуб, Д. — По поводу письма «Историка» и статьи Н. Валентинова о предках Ленина, 63.

ПАМЯТИ УПЕДШИХ

- Бертенсон, С. Л.* 68. (*К. Аренский*)
Васильев, С. А. 68. (*Э. Рейнольдс Ханиуд*)
Дахин, Д. Ю. 67. (*Р. Г.*)
о. *Зеньковский, В. В.* — 70 (проб. *С. Верховской*).
Ефремов, Н. Е. 69. (*Р. Г.*)
Коварский, И. Н. 69. (*Р. Г.*)
Кульман, Г. Г. 70 (*М. Зернова*)

Отдельные оттиски указателя содержания «Н. Ж.» стоят: с книги 1-ой до 58-й — 1 долл.; с книги 59 до 70-ой — 50 центов.

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Наталия Логунова — Ирина. Изд. «Сеятель». Буэнос Айрес, 1962.

Сборник статей, посвященных творчеству Б. Л. Пастернака — Институт по изучению СССР. Мюнхен, 1962.

Священник Александр Ельчанинов — Записи. YMCA-Press. Париж. 1962.

М. Кааратеев — Караб-Мурза. Исторический роман. Буэнос Айрес. Аргентина. 1962.

К. В. Мочульский — Валерий Брюсов. YMCA-Press. Париж. 1962.

А. Слонимский — Техника комического у Гоголя. Петроград. Изд. «Академия». 1923.

Reprinted by Brown University Press. Providence, R. I. 1963.

Василий Гиппиус — Гоголь. Изд.-во «Мысль». Ленинград. 1924.

Reprinted by Brown University Press. Providence, R. I. 1963.

Н. Ватанов — Метелица. Сборник юморист. рассказов. 1962.

Dissonant Voices in Soviet Literature — Edited by Patricia Blake and Max Hayward. Pantheon Books, New York, 1961.

The Slavic and East European Journal — Published by the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Fall 1962. Vol. VI, Number 3.

Tuvia Ben Sholem — The Truth about Israel. American Israel Publishing Co., Inc. New York. 1962.

В этой книге Н. Ж. в отделе библиографии должны были быть напечатаны отзывы Д. Шуба о документах Временного Правительства, изданных проф. Браудером и А. Ф. Керенским; его же отзыв о книге проф. Киндерсли о легальных русских марксистах; отзыв Зои Юрьевой о книге проф. Рива об Александре Блоке; Б. Прянишникова о книге М. Джиласа «Разговоры со Сталиным»; Вяч. Завалишина о книге Камиллы Грэй о новом русском искусстве; Р. Гуля о «Записях» св. А. Ельчанинова; Ю. Иваска о книге Г. Вытженса о П. Вяземском и др. К сожалению из-за недостатка места все эти отзывы переносятся в книгу 71 «Н. Ж.» РЕД.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ
ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ
Поэма

Изд-во «Мост»

Цена 1 дол.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ
1943-1958
СТИХИ

Вступительная статья Романа Гуля
Издание «Нового Журнала»

Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН
НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА
к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати Л. Л. Домгер
Издание «Нового Журнала»

Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ
СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)
Издательство «Мост»

Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ
АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «Мост»

Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1—№ 9. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 центов пересылка), начиная с книги № 26 — 2 долл. 25 цент. (10 центов пересылка).

“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1963 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

**The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.**

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

**Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня**

